Семен Бобров * Рассвет полночи * Херсонида

2

Семен Бобров

Рассвет полночи
*
Херсонида

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Семен Бобров

Рассвет полночи
*
Херсонида

В двух томах

Том второй

Издание подготовил
В.Л. КОРОВИН

МОСКВА НАУКА 2008

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Б72

Ответственный редактор
Д.П. ИВИНСКИЙ

ТП-2007-I-259

ISBN 978-5-02-035591-0
ISBN 978-5-02-035667-2 (т. 2)

ХЕРСОНИДА,
или
КАРТИНА ЛУЧШЕГО ЛЕТНЕГО ДНЯ В ХЕРСОНИСЕ ТАВРИЧЕСКОМ.

Лирико-эпическое песнотворение.
Вновь исправленное и умноженное

Часть четвертая
Рассвета полночи

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕМУ, ДЕРЖАВНЕЙШЕМУ

ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ

ИМПЕРАТОРУ

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ

ГОСУДАРЮ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМУ

и прочая, и прочая, и прочая.

Всеподданнейший Семен Бобров.

Живейшим солнцем озаренна
Страна *Престола* ТВОЕГО, –
Благоцветуща, – оживленна
Влияньем неба своего,
Прекрасна в ужасах *Таврида,*
Где чада славились *Атрида,*
Где *предок* ТВОЙ увидел свет, –
Должна ли в сей дышать картине,
Как в лоне естества цветет? –
МОНАРХ! – и слабый образ ныне
И дивный *подлинник* его
Ждут токмо взора ТВОЕГО.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Вот некоторое изображение *Херсониса* – в лучший, летний день! – и туда луч *рассвета полночи* недавно проникнул и воззвал его из мрачности. – Неоспоримо, что в сем опыте найдется много старого и уже известного; но сыщется ли в свете вещь, которая вдруг бы теперь приняла тело новое и от естественного отличное? – Разве было бы таковым одно исчадие природы или некое воздушное явление. Давно твердят, что под небом нет ничего нового. Всё, как прежде, так и ныне, подобно самому себе? – Покрой одежды только переменяется, а сущность всегда постоянна в наготе своей. – Такового изменения в сем опыте требовала самая вводная повесть о *магометанском* мудреце, который из утра, полудня и вечера составил для воспитанника своего нравственную жизнь; а свойство *азиатских* собеседований несколько подкрепило намерение пера, хотя также не новое. Не меньше и *Гений Таврических* старожителей способствовал к сему. Если бы некоторые лица, сколь они слабо или точно ни выставлены, не отживляли сего сочинения тенями своими, то бы тогда, конечно, было только сухое или голое описание красот Таврического дня.

Сие творение писано белыми стихами. Но я не отрекался счастия, если оно произвольно снабжало мое перо, как неким подарком, равнозвучием, которое само собою иногда выходило. – Известно, что славнейшие английские писатели *Шекеспир, Мильтон, Аддисон, Томсон, Экензайд* и мудрый певец ночей священных *Юнг,* также некоторые немецкие – *Клопшток* и другие, давно пренебрегли сей *готический* убор стихов. Клевещут, будто бы они были не в силах сочинять стихов с рифмами. – Сим великим, обширным и творческим умам рифма стоила непреоборимых трудов! – можно ли поверить? – их образцы всегда неподражаемы. Но что

нужды? – я при слабых силах покусился им следовать. Кажется, пример никому не отъемлем. – Правда, что слух наш, приученный к звону рифм, неохотно терпит те стихи, на конце коих не брящают равнозвучные слова; но мне бы казалось, что рифма никогда еще не должна составлять существенной музыки в стихах. Если читать подлинник самого *Попия*, то можно чувствовать у него доброгласие и стройность более в искусном и правильном подборе гласных или согласных букв при самом течении речи, а не в одних рифмах, так как еще не служащих общим согласием музыкальных тонов.

Бесспорно, что наш язык столько же иногда щедр в доставлении рифм, как *италианской*, после которого и признают его вторым между европейскими языками, наипаче по приятности. Но если кто из стихотворцов, хотя несколько любомудрствующих, чувствует ту великую тяжесть, что ради рифмы, особливо при растяжности слов, всегда должно понизить или ослабить лучшую мысль и сильнейшую картину и вместо отживления, так сказать, умертвить оную, тот верно со мною согласится, что рифма, часто служа будто некоторым отводом прекраснейших чувствований и изящнейших мыслей, почти всегда убивает душу сочинения.

Один из таковых парнасских слово-судителей торжественно объявил, что рифма, кажется, не что иное, как ребяческая побрякушка или простонародное трёньканье при работе. Когда дружное брящание стекол или черепьев в руках двух забавников бывает слышно вместе или в каком-то сообразии, то малоумные дети прыгают от радости; также, чем живее бывает трёньканье между простолюдинами, тем, говорят, дружнее выдерживается ручная работа; и потому-то чем богатее и чище рифма, тем дивнее искусство для простодушного слушателя или читателя; но какой это, – продолжает он, – завидной способ и нарядной пример для нашей словесности? – разве это ручная работа!

Сие сравнение слово-судителя несколько смело. Можно сказать о рифмах умереннее и заключить о них по крайней

мере то, что совместнее, кажется, им шуметь в имнах или песнях, каковые случатся быть предметом в роде эпопеи. Так поступал *Флориан* в некоторых своих образцах прозаических поэм; но и тогда рифма не должна владычествовать над областию мыслей или связью предложений. *Буало* давно сказал: *La Rîme est une ésclave et ne doit qú obéir* – рифма, как рабыня, должна только повиноваться.

Таким образом, и в сем опыте песнотворения, представляемом в белых стихах, конечно, лучше можно было употребить рифмы там, где их требовали иногда песни, имны и другие подобные статьи оного, если бы только сей образ нравился вкусу наших читателей.

Впрочем, не благодарить ли судьбе просвещения за то, что некоторые из наших отважных и бойких умов согласились оставить и сей образ *готической* прикрасы? – Сия отвага учинена, может быть, для попытки или забавы; но сожаления достойно то, что они и в сем случае из одной крайности поскользнулись в другую. – Начав употреблять *дактило-хореи*, ясно доказали, что они едва еще ведают точные законы *римской* древней меры. Как же это? – У них в стихе короткие буквы часто тащат за собою двух или трех согласных, как будто слепые ведут зрячих. Известно же, что две согласные требуют предыдущей стопы долгой, так как зрячим лучше идти напереди слепых. Признаюсь, что, храня правило легкости в течении слова, я не осмелился бы последовать столь недостаточному примеру не только в знании *римской* меры, но и в употреблении *русской* прозы, кольми паче по образцу некоторых смельчаков пуститься на дактило-хореические слоги с рифмами. Мне казалось, что тогда слышно будет только скорое, но неловкое бряцание без силы и знания точных *римских* правил; почему я и узнал, сколь было бы тяжко и вредно вплетаться в сии неразвязные оковы, из которых после надлежит вырываться с отчаянием! – Римляне разумели великую тонкость в стихотворческой музыке; напротив того мы, так слабо судя о сем искусстве, находим в своих руках токмо недостроенную их лиру, или арфу. Как ни

стараемся показаться бойкими умами, даже в не принадлежащих нам статьях; но всегда в глазах мастеров видны будут, так сказать, недоросли не только римского пера, но и своего. – *Рассвет полночи* в сем случае доселе еще остается некоторым сумрачным рассветом. – Шаг ума – не есть еще шаг Исполина, шаг Аполлона, или шаг Солнца, пока не возвысится *полдень* над главами.

Читая в праотце велеречия и парнасского стройногласия *Омире,* а особливо там, где он в подлиннике изображает морскую бурю, раздирание парусов, треск корабельных членов и самое кораблекрушение или во время битвы стремление сулицы, либо стрелы, пущенной из рук богатыря; также читая в знаменитом князе златословия и сладкопения *Виргилии* полустишие: Vorat aequore vortex; или в *Горации* сии *плясовые* стопы: ter pede terra, – я тотчас чувствую чистое и свободное стремление гласной буквы, или короткой стопы, перед гласной же, либо одной согласной, или долгой стопы, и вопреки тому, а с сим самым стремлением и тайную гармонию, которая, конечно, происходит от благоразумного подбора буквенных звуков, чему единственно учит наипаче знание механизма языка. Словом: чрез самое произношение действительно ощущаю, каким образом шумит буря, крутится водоворот и поглощается корабль; или как стрела, пущенная из сильных рук, жужжит в воздухе, и проч.

Отец российского стопотворения, беспримерный *Ломоносов,* показал в том лучший и поучительнейший для примера опыт, который в следующих стопах виден:

Только мутился песок, лишь белая пена кипела.

Но сия образцовая легкость, сие согласие и чистота меры, кажется, осталась без всякого примечания и едва ли принята в пример чистых дактилей, не потому ли, что сей пример краток и не похож на систему? – жаль!..

Мне скажут, для чего я, имев столь долгое и, так сказать, ропотное рассуждение о сем, – не избрал в облегчение себе

прозу? – Не спорю, что это было бы лучше для сил. – Но всегда ли парнасское парение, без коего иногда нельзя обойтись, может терпимо быть столько в прозе, сколько в стихах? – При всем том менее ли также нужна гармония в первом, как и во втором случае?

Кому не известна *Геснерова* проза в прекрасных идиллиях или *Фенелонова* во французском *Телемаке*? – Кто не почувствует превосходства оной в сравнении даже лучших стихов? – Таковые прозы едва ли подражаемы?

Да не помыслит читатель, что я осмеливаюсь сими представлениями отвратить сотрудников от приятного навыка к парнасским нарядам! употребление, равно как и приученный к чему-нибудь слух, подобен тирану. Можно ли малосильному смельчаку восстать против тиранических сил оного и преодолеть их в короткое время? – Надобно, чтобы веками уполномочена была смелость *Гения,* которая бы противустала готическому введению. Время открывает глаза; время есть беспристрастный судия вреда или пользы; время истолковывает, что хорошо или худо в прежних обычаях. Любимое злоупотребление в словесности, так как и в прочих частях философии, и даже странность в самых общих модах долго, – долго сохраняется, пока самый вкус не наскучится тем и тончайшее око узнает нелепость введения. Но скоро ли это? – давно говорят, что навык – вторая природа. Однако рассуждать о возможных вещах – неужели преступление? Итак, из сего единственно вывожу, что, избрав род четверостопных белых стихов, я имел то намерение, дабы испытать ход моего песнотворения на четырех стопах и купно облегчить себя от наемных уз, и тем лучше привести в ощутительность меру сего, так сказать, едва не прозаического стопостремления.

На сем-то основании построено мною сие небольшое здание. Я ведаю, что вкус и разборчивость просвещенной души не ищет в сей (простите мне сие выражение) *готической* штукатурке ничего такого, в чем иные льстятся найти славу пиитического ремесла. Следственно я уже и спокоен, когда

сие онемение рифм не огорчит приученного к обыкновенным звонам их слуха и не заставит о них сожалеть. Читатель! позволь мне признаться в шутку! у меня *таврическое* ухо; а *таврические музульмане* не любят колокольного звона.

Равным образом не противны будут здесь некоторые вновь составленные речения. Словоискусники могут уверится, что если многим, особливо неизвестным вещам не дать нового и особого имени, то нельзя и различить их с другими в свете. При том же обыкновенные, слабые и ветхие имена, кажется, не придали бы слову той силы и крепости, каковую свежие, смелые и как бы с патриотическим старанием изобретенные имена. По сей самой причине я часто выводил отметки как для известной точности и объяснения вещи, так и для избежания труда в продолжительных поверках, каковых бы требовали некоторые не весьма знакомые, там встречающиеся собственные и существительные именования.

Гораций без сей сколь необходимой, столь и полезной отваги, с каковою он созидал новые определительные названия вещам, всегда бы на парнасском своем отличном пути находил отчаянную бедность в своем языке. – Сие, по моему мнению, одолжение недостаточному языку гораздо простительнее, нежели суетный ввод многих чужестранных слов без нужды, как то: *рельеф, барельеф, мораль, натура, девиз, фронтиспис, ангажировать, азард, фрапировать, пикировать*, так же как и странный перевод чужих речений при достатке и силе своих. – Известно, с каким негодованием и нетерпеливостию просвещеннейшие из *англичан* чувствуют, когда иностранные слова празднуют у них в чужом покрое; они тотчас перерождают их в собственные, хотя и весь язык их, правду сказать, почти заемной. Мы пред ними имеем в том превосходнейшую выгоду; напротив того, и в сем случае не уважаем себя и не жалеем еще быть учениками, или сами не хотим сбросить повязки с глаз своих, чтоб учиниться мастерами. Кстати при сем можно упомянуть, что мы, пренебрегши драгоценный вкус нашей древности, по крайней мере

вырывающийся из-под развалин старобытных песен или народных повестей и особенных поговорок, – пренебрегши самое богатство древней нашей словесности, которую, кажется, вместо присвоения чужих сокровищ, лучше бы можно было ныне с помощию времени вновь усыновить, – пренебрегши все сии драгоценности, не перестаем по сию пору пресмыкаться в притворе искусства и, никогда не растворяя собственных красок, пишем чужою кистию, и даже с надменной радостию и жадностию хватаем чужие слова, как будто клад, и присвояем вкус не только в иноземной одежде, но и свое родное одеваем на чужую стать. Я говорю о точном национальном вкусе. Сумнительна и подложна та красавица, которая к природным прелестям еще занимает пригожство от румян, притираний и проч. – Можно сказать, что мы в сем отношении, так сказать, ленясь протвердить отечественные зады, пленяемся более складками чужих азбук или чужими уроками. Забывать вовсе коренный, матерний славенский язык с неким горделивым небрежением есть то же, как своенравно подвергаться участи блудного сына или бесчувственности осляго жребяти. Неблагодарность к родителю всегда гибельна. О! если бы собственное святилище познания и вкуса поспешило открыться, а мера и осторожность только бы управляла!..

Наконец должен я признаться, что примечаемая в сем песнотворении, особливо же к концу оного некоторая унылость в слоге не будет угодна многим весельчакам; это правда; – но если сие не что иное, как естественное действие обыкновенного оборота дня, которое трогает чувствительную душу, то кто действительно ощущает силу утра, полдней, наипаче же вечерних часов и сумрака, тот оправдает сей плод чувствования – сие излияние пера.

Что касается до нынешней перемены названия книги, то я для того сделал оную, что прежде данное имя ей *Таврида* некоторым образом смешивало понятие как о песнотворении, так и о самом полуострове; ибо имена *Таврида* и *Таврия,* употребляемые иногда как одно и то же, означают

полуостров; следовательно здесь слово *Таврида* не может уже не произвести некоторой обманчивости в понятиях. Сей-то ради причины я превратил *Тавриду* в *Херсониду,* тем более что и *Илиада* не значит страну *Илионскую,* но песнь об оной.

Итак – вот возможная корысть, которую при случайном обозрении сей *скифской* страны взоры мои некогда приобрели, память соблюла, воображение дополнило, а особенный некий дух назидания одушевлял и учреждал! – вот образ труда, коего снисходительное принятие обратится мне поистине в торжественное знамя воздаяния и коего венец, может быть, ожидает еще в мрачной отдаленности будущего! – наконец – вот некоторое изображение Херсониса – в летние сутки!

К ЕДИНСТВЕННОМУ ДРУГУ ПРИРОДЫ

Пускай *Гельвеция* блаженна,
Чистейшей твердью осененна,
Под благотворною звездой
Пленяет дщерей *меонийских*
Вершинами хребтов *Альпийских,*
Покрытых вечной сединой,
Пленяет звучными брегами
Своих излучистых ручьев
Иль сребряными зеркалами
Пучинородного *Лемана*! –
Пускай *Сатурнова* держава,
Где *Тибр* и *Эридан* шумит,
Возможны краски истощит
Для тонкой *Аддисона*[1] кисти!
Пусть Темзы на брегах туманных
Взор тайный *Экензайда*[2] ищет
Равнин *Фессальских,* толь желанных,
Или селений сил лесных,
Где нимфы ликовали тайно
В часы златые с древним *Паном*
На сено-лиственных брегах! –
Я в *Херсонисе* много-холмном
Под благодатным небосклоном,
Где и тогда, – как *Водолей*
В других пределах обретает
Замерзший в чаше ток своей, –

---

[1] *Аддисон,* славный английский писатель, в одном изящном своем письме к лорду *Галифаксу* с лучшим стихотворческим искусством изображал красоту *Италии.*

[2] *Экензайд,* другий знаменитый английский сочинитель, писавший поэму о удовольствиях воображения.

ХЕРСОНИДА,

ИЛИ

КАРТИНА ЛУЧШАГО ЛѢТНЯГО ДНЯ

ВЪ ХЕРСОНИСѢ ТАВРИЧЕСКОМЪ.

Лирико-Эпическое пѣснотворенїе

Вновь исправленное и умноженное.

Часть четвертая

РАЗСВѢТА ПОЛНОЧИ.

сочиненїе

Семена Боброва.

Съ дозволенія С. Петербургскаго Гражданскаго Губернатора.

ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ,

въ Типографіи И. Глазунова. 1804 года.

Херсонида. Титульный лист издания 1804 г.

Нередко дух весны летает,
Нередко ландыши растут, –
Там я, уединясь в долинах,
Или на сланцовых вершинах,
Найду *Гельвеции* места,
Найду *Сатурновы* брега,
Найду *Темпийские* луга.

Доселе *музы* перст трелистой
Не строил арфы здесь сребристой;
Быть может, – ни один ток чистой
Парнасских плясок не твердит,
Ни ключ кипящий не струит
Певицы песни, сердцу лестной,
И в мере не бежит небесной,
Какую чувствуя в стихах,
Находим нову жизнь в словах. –
Быть может, – скрылись в давни веки
Иные не воспеты реки;
Ключ нем их, – ключ их спит незримо;
Но лоно тоще, – неключимо;
Но по искусству *муз,* конечно,
Уснувший ключ шумел бы вечно. –
Быть может, – ни одна скала,
Ни холм не высит здесь чела,
Ни лес, что злаком их венчает,
Ни сад пустынный завсегда
Зеленых глав не воздымает,
Которые бы иногда
Особенно воспеты были
Устами пылких песнословов. –
Живущий гул средь горных кровов
Еще не повторяет мер
Девяточисленных сестер,
Сей гармонической дружины,
Сих милых дщерей *Мнемозины.*

Блаженна будет *муза* та,
Что испытает силы духа,
Да возвеличит иногда
В восторг потомственного слуха
И в изумление очес
Сей живописный мир чудес,
Сии бессмертные долины,
Сии ключи, скалы, пучины.
Они бессмертны; – в сих летах
Не сами ль зрели очесами,
Как несравненная в царях
ЕКАТЕРИНА с полбогами,
На полдень славы поступив,
Подобно *Ольге* возрожденной
Иль внуку *Ольги* просвещенной,
До черных волн свой путь свершив,
Стопой священной их почтила,
И светом взоров озарила? –
Бессмертны, коль монархи вновь
Прольют на редки толь картины,
На тучные холмы, долины
Со взором творческу любовь.

Сладкопоющая *камена*![1]
Дай *Аддисона* меру сил!
Дай ту воображенью цену,
Что *Экензайд* в стихах открыл!
Дай *Томсона*, – жреца природы, –
Дорический напев и строй! –
Когда сии друзья свободы
Из мрачной *готфской* сети той, –
Что своенравна рифма ставя

---

[1] Так называется *муза* по искусству в пении; и потому *камена* значит *певицу*.

И столько сил твоих убавя,
К паденью клонит иногда, –
Тебя изъяли навсегда,
Дерзну ль сии расторгнуть узы,
Сии железа нежной *музы,*
Что с убиеньем красоты
Доныне с стоном носишь ты?
Дерзну ль в дыхании свободном
Тебе отверзти лучший путь,
Дабы твоя младая грудь
Была в движеньи благородном? –
Дерзну ли гладкий след просечь
Без ужаса укор суровых,
Дабы удобнее протечь
С тобою поле зрелищ новых,
С тобою рай красот другой
И живописей мир с тобой?

Сладкопоющая *камена*!
Тебе иный убор готов;
Сия постыдна разве смена!
Восстань! – изыди из оков!

А ты, – природы друг отменный,
Услыши глас ея смиренный!
Она здесь с скромностью берет
Приморску арфу в робки длани;
Она поет сердечны дани;
Она предметы те поет,
Что злато-пурпурна денница,
Что полдень, облеченный в зной,
И что вечерня червленица,
Покрыта рдяной темнотой,
В пределе сем усыновленном,
В сем *Херсонисе* оживленном
Могли в ея биющусь грудь

С влияньем пылким *Льва*[1] вдохнуть.
Благотворящая природа, –
Что на торжественных хребтах
В часы приятнейшие года,
Что на цветущих берегах
Карасских, Альмских и Качинских[2],
Что при живых струях *Салгирских,*
При пышной злака пестроте
И средь источников гремучих,
Из уст бегущих скал дремучих,
Ликует в полной лепоте, –
Снабдила красок разнотою,
Чем оттенить я не забыл
Рисунок слабою рукою
Твоих садов, что ты взрастил,
Твоих пригорков, рощиц юных,
Твоих ключей сереброструйных,
Где бдительный твой тихий взор
Объемлет прелестей собор
Иль в лучшие часы спокойны
Находит зрелище *Помоны,*
И где досуг бесценный твой
Сретает года труд златой.

О друг природы, – обратися!
Зри сей рисунок! – усмехнися! –
Воззришь, – тогда коральный холм,
Салгирский брег, – уклон гор мшистый, –
Дубрав благоуханных сонм,
Кизилы, тополы тенисты,
И манноносная ясень,
И сосна, мещущая тень,

[1] Изображение летних суток на сем полуострове относится ко времени месяца июля.

[2] В Крыму известнейшией протоки *Кара-су, Альма, Кача* и *Салгир.*

И величавые раины
В оттенках неких сей картины
Толико ж будут возникать,
Расти, – дышать и процветать,
А шумные ключи священны
И их потоки искривленны
Такою же начнут стопой
Скакать средь песни сей простой,
Как в подлиннике беспримерном,
Неподражаемом, – бессмертном.

Хвались, *камена,* ты судьбой,
Хвалися долей непреложной,
Что кроткой мудрости рукой
Плод кисти твоея возможной
Толико будет оживлен,
Толико будет возвышен!

⟨ПЕСНЬ ПЕРВАЯ⟩

Содержание

Утро в Херсонисе. – Путешественники. – Меккские и мединские паломники. – Омар, шериф анатольский, с питомцом. – Соленые озера. – Растения при оных. – Птицы. – Картина гор. – Назначение Чатырдагской вершины точкою зрения.

Как там чело зари алеет? –
Какой та́м пурпур пламенеет
Средь сих пустынь, – средь сих долин,
Средь шумных тростников пучин,
На коих спят, с небес ниспадши,
Ночных останки облаков,
Объемля стебли бледно-злачны
И от огней сверкая хладных? –
Но чада естества ослабши
Не все из моря вышли снов;
Не все еще они сретают
Пришествие царя светил. –
Одни недремлющие птицы,
Сладкоречивы *филомелы,*
И бдительны бессмертны *музы*
В тени *лицеев* многоцветных[1]
Возносят ранню песнь к востоку;
Одни толпящись караваны
Среди излучистых дорог

---

[1] *Лицей,* так названный у древних афинян сад и место учения, где славные философы преподавали ученикам высокие свои уроки.

Влекут со скрыпом плод торговли;
Верблюды, вознося главу,
Не быстрым, – но широким шагом
Пути дневные сокращают;
За ними сильные тельцы
Ступают медленно, – но твердо
И движут на колесах холм
Под буковым своим ярмом.

Восток во пламени сильнее;
Заря белее; блеск алее;
Огнистее горят тенисты
Владыку ждущи облака. –
Бегут пред ним и тонут бледны
Средь бездны света лики звездны. –
Се! наконец исходит день
На реющих конях эфирных
Среди своих колес румяных! –
Час утра бьет; – колеса быстро
Крутятся на туманных осях.

Се! – златопламенно чело
Подъемлется из-за холма,
Чело великого царя!
Се! в полной лепоте исходит,
Одеян в огненну порфиру,
Жених из брачного чертога!
Его рубиновы власы, –
Чтоб мира обнажить красы,
До верхних облачков вздымаясь
Из-под янтарного венца, –
Рисуются живой картиной
В объеме взора пробужденна! –
Восточны ветерки бегут
Вокруг алмазной колесницы,

Сопровождаемой куреньем. –
Смотри! – какие там скользят
Между зубцов *Кавказских гор*
Златые полосы косые?
Протягши нити света резки
Сквозь тихи здешни перелески,
Преследуют пужливу ночь,
Сгоняют спящи тени прочь
С тополевых листов сребристых;
А там, – где дремлют стены мшисты
Пустынных храмин под холмом,
Дым ранний, серым вьясь столбом,
Дерновы кровы покрывая,
Крутит его в туманну твердь
Иль стелется в сырой долине.

Все восстает теперь из тьмы:
Равнины, долы и холмы.
Лишь нежна роскошь токмо спит;
Она, протягшися, храпит,
Страшась простуд от ранних рос,
Отвсюду ложе заключает
И, нежась на коврах *персидских*
Или в мехах драгих *сибирских,*
Во глубине пуховиков
Часы драгие задушает. –
Не тщетно ль утреннее солнце
Проникнуть силится лучами
Роскошны таинства любви
Сквозь ухищренные подзоры? –
Оно лишь мудрости сынов
Сретает средь святых трудов,
Иных – под тенью низкой кровли
С собой беседующих тихо,
Других – с резцом или серпом;

Иных же в странствиях полезных,
Что, встав с пристанищей ночлежных
Или из перепутных *ханов*[1],
Идут в далекие страны
И свежу росу рассекают;
Или, воздвигшись от одра
Еще до утренних минут,
Останавляют голень томну
И избирают первый холм
В отдохновение себе.

Там, где в сгущеннейших толпах
В пути зрю движущися сонмы,
Иные по святым обетам
И по пророческим заветам
Спешат еще на полдень в *Мекку*;
Другие путь уже обратный
Оттоле в дом отцев прияли. –
Какая радость, восхищенье
Написаны на их челе? –
Как тяготу путей своих
Они умеют облегчить
И долготу их сократить! –
Почерпнутые из *Корана*
Отрывки умиленных песней
Их шествие сопровождают.

«О солнце, брат Пророка дивный,
Горящий в куполах *Медины*!
Когда полмесяц в мрачну нощь
Осеребрял навесы рощ,
Какая тишина желанна

[1] Так называются в Таврии гостиные, или постоялые дворы, уготовленные на перепутье, или ночлег для проезжающих.

Дышала, всюду разлиянна?
Тогда ни кедр не унывал;
Тогда ни кипарис священный
Не сетовал, не воздыхал,
Как он слезится, возмущенный,
В иных несчастливых странах
Среди пустыни на гробах. –
Здесь осребренный он в блистаньи
С весельем шум свой простирал,
Что персть святую осенял,
В небесном спящую сияньи. –
Лик Божий! – озари ты там
Великого Пророка храм
И освети поля святые,
Где под бесценною стопой
В его дни иногда младые
Иссоп, тюльпан, нарцисс, алой
Ежеминутно возрастали! –
Там были мы, – всё созерцали;
О братья! – все мы зрели там –
Гроб, – жизнь, – персть, – небо, – вечный храм;
Ах! – тамо благодать купили;
Там небо, – вечность мы пленили!..
О путь, – о путь наш, сократись!
О дом отцев, – скорей явись!
Каким восторгом упоенны
Высокогруды наши жены,
И черновласые сыны,
И чернооки наши дщери,
Исшед из скромныя стены,
Исшед из одичавшей двери,
С дрожащей сретят нас рукой
И распрострут на наши чела,
На утомленны члены тела
Благоуханный свой алой?

О путь, – о путь наш, сократися!
О дом отцев, – скорей явися!»

Так странники теперь поют,
Спеша в пути благословенном
Иль сидя на пригорках мшистых
Или под тенью осокори.

Кто там сидит на белом камне
Подле младого человека,
На тисовый опершись посох,
В печально вретище одеян,
С главой, открытой пред востоком,
С брадой, сединой убеленной? –
Чалма зелена покрывает
Морщинное чело его;
По образу столетний век
Вложил в его чело бразды;
Смиренны взоры говорят,
Что укрощенный верой дух
Исполнен неким вдохновеньем;
Он часто очи обращает
К единому предмету – небу;
Лазурна твердь – то пища взоров,
А храм Пророка – царство мыслей.

Тогда питомец благородный,
С которым он, как друг-отец,
Напутствуя его для жизни,
Ходил в священную *Медину,*
Тогда младый *Мурза,* восстав
И зря наставника в томленье,
Остановляет мысль его
И, персты к персям приложа,
Почтенье воздает ему.
«О мой *Омар,* – вещал *Мурза,* –

О мой возлюбленный *Шериф*[1],
Потомок мудрый чресл Пророка!
Сиди – и отдыхай на камне!
Сложи здесь время поприщ дальных!
Твой дом отсель еще далек;
Сиди – и отдыхай на камне!»

«Да осенит тебя, сын плоти! –
Вещал *Шериф* ему смиренно, –
Да осенит сей ранний облак,
Грядущий с пурпурна востока!
Да воссияет на главе
Свет тихий, ныне восходящий
До запада сумрачных дней!»

Таков был утренний привет
Сего почтительного старца. –
Признательный *Мурза* не мог
Сердечных чувствий утаить. –
Но старец продолжал еще:
«Нет, – добродушный мой *Мурза*!
Нет, – не далек мой дом; он близок;
Он близок всем земнорожденным. –
Еще с начальным мы дыханьем
Яд смерти черпать начинаем. –
Лишь первый бой отдастся в сердце,
То бой косы уже звучит. –
Мы, давши в мир сей первый шаг,
Уже шагнули к царству смерти. –
Но ты восточный сей багрец,
Предтечу пламенна владыки,
Зреть в жизни будешь долго-долго...

---

[1] Шерифы происходят от поколения Магометова. Они одни имеют право носить толстые зеленые турбаны. По большой части упражняются в распространении учения своего праотца и законодателя. – Сей некогда поселился в *Анатолии*.

Сие светило благотворно
Чрез много лет катиться будет
По тверди над твоей главой;
А я, – о быстрое светило! –
Почто толь скоро ты бежишь
И приближаешь вечер мой? –
Ах! – можешь ли еще помедлить? –
Нет, – скоро я не буду видеть
Сея небесной красоты;
Знать, зрю последнюю денницу;
Я вижу ясно пред собой
Грозящу времени десницу;
Я слышу, – слышу глас зовущий,
Зовущий важно, – а куда...»

Тут старец, речь свою пресекши,
Был долго в мыслях углублен. –
Слеза покрыла томный зрак;
Небесный некий огнь играл
В сверкнувшей влаге глаз его;
Потом он паки возопил:
«Ужасна мысль сия младым;
Не так ли, – юный мой *Мурза*?
Сия тяжеловесна мысль
Ниц вержет их полет перунный; –
Но гроб есть первый наш учитель...
Ты после, – после всё узнаешь;
Теперь часы под сень зовут. –
Мурза! – пойдем на южны горы!
Се! – Пилигримы в юг идут,
Конечно, Богу песнь воспеть
И восприять покой врачебный! –
И мы, уединясь в скале,
С благодареньем вознесем
К ближайшим небесам мольбу!
Потом – в селениях твоих

Сойдем провесть грядущу ночь,
А наконец, *Мурза*, – проститься, –
Ах! – может быть, уже навек!»

Так старец, небом вдохновенный,
Вещал – и с камени восстал;
Озрелся – и пустился в путь.

Как быстро ласточка летает
Вокруг грядущего отшельца?
То над главой его порхает,
То окрест вьется и щебечет,
То отстает, – то упреждает,
И долго в оборотах сих
Сопровождает ушлеца.

Пойду я к гладкой той равнине,
Где сребро-серы нежны агнцы
Под ясным и открытым небом
Годичну пажить продолжают,
Питаясь сланцом, лебедой. –
Здесь, – здесь на злачном берегу
При озере слано-кристальном
Я сяду с утреннею арфой;
Здесь будут странствовать глаза
При разноте несметных зрелищ.

Куда я взор ни обращу,
Повсюду торжество ищу;
Воззрю ль на мшистый холм? – гордится;
Воззрю ль на тихий дол? – ложится
И дышет врачевством прохлад. –
Воззрю ль на дальний луг? – смеется;
Воззрю ль на плоскости струисты? –
Там вьются легкие пары
Над неподвижностью озер,
Где сланы хрустали, оседши,

Во образе граненых камней
Сребристым черепом лежат. –
Едва золотогривый *Лев*[1]
В свое приимет ложе солнце
И с раскаленного языка
Испустит знойные истоки,
Пары подъемлются с озер,
Вода во глубине скудеет,
А слано вещество густеет,
Сребристым становяся льдом.
Се! – быстрый луч скользит от солнца! –
Какой багрец в сребре сем скачет? –
Какие пламенные розы?

Меж тем как белоперый лунь
Плывет по синей высоте
И ищет быстрыми глазами
Добычи меж бессильных птиц
Иль как неясыть утлогорлый
Купается в водах Босфорских,
Нырок по сланым берегам,
Всплеснувши пегими крылами,
Напрасно взором ловит рыб. –
Сколь часто, как сии озера
Еще в кристалл не превратились,
Еще окрепла недовольно
Их жидкость пред лицем лучей,
Несчастный сей нырок стремится
И, очарован бывши влагой,
Пускается, – садится в влагу?
Ах! – видно, он навек садится;
Напрасно перышки пестреют;
Они от соли леденеют. –
Там темноперый легкий аист

[1] Знак Зодиака.

Шагает по кристаллам гордо
И, длинный нос подъяв высоко,
Рубинными глазами любит
Взирать на сланы зеркала;
А здесь журавль черноголовый,
Прекрасный видом, цветный в перьях
(Живет в высоких он горах),
Как велегласно восклицает
И тонким гласом брег пронзает?[2]

Вокруг меня пестреет царство
Благоухающих цветов. –
Какое множество сиренов[3]
И бархатцов в полях мелькает! –
Там горда солнцева сестра[4],
Донник[5], врачебный зверобой[6],
Ясмины дики, ноготки
Блестят от солнечных лучей;
Вербейник[7] с белою полынью[8],
Лоскутник тучный[9], иль курай,
Приносят лакомство овцам;
А чабр душистый и катран[10]
Для гладных зайцев сладку снедь.
Пушисторунный кроткий кролик,
Исторгшись из земной норы,

---

[2] Помянутые птицы видны бывают при соленых озерах.
[3] Lylas.
[4] Chicorée Sauvage.
[5] Melillot.
[6] Mill-pertuis.
[7] Salicot.
[8] Artemisia alba.
[9] Centaurea.
[10] Choix marin, Crambe orientalis.

Куренья летораслей роет
И под согбенной ветвью глода
Чело под корнями их роет.
Жабрей[1] и лено-листный *тезий*[2],
Седой главою помавая,
Готовят ради легких птиц
Тенисты малые беседки.

Но можно ль тьмы цветов исчислить,
Что здесь блистают при очах,
Что, быв унизаны жемчугом
И бодрое чело подъяв,
Пьют слезы матери *Мемнона*?[3] –
Колико их еще сокрыто
В затишии глубоком гор? –
Острейши взоры ботаниста
Должны в счисленьи утомиться,
В разборе видов их и красок,
В различьи запаха и вкуса. –
О! – Сколь врачебное куренье
Средь мусикии щебетливой
Воздушных ликов неисчетных
От них восходит в небеса? –
Мне мнится, – я теперь сижу
При разноте очарований
То в облаке багоуханий,
То посреде пернатых хоров!

Как сильно перепел в ковыли
Коленчаты выводит клики?
Как нежно жаворонок дикий,
Хохлом гребнистым потрясая,

[1] Linaire.
[2] Род ковыли; Thesium linophyllum.
[3] Мемнон был сын Авроры, которая по утрам якобы плачет о убиении его под *Троей*.

На кровле хижины взывает? –
Но сколь ни возбуждает сладко
Там перепел мой жадный слух;
Сколь нежно ни пленяет дух
Поющий жаворонок тамо;
Все здесь уныло, – все здесь пусто;
Лишь пестрый *потатуй*[1] сидит
На сих развалинах деревни
И с напряжением гласит
Свое печально *у-ду-ду*.
Вблизи зловещая кукушка
Осиплым криком назначает
Пред отроками меру дней;
А важный, чернокрылый вран,
Сидя на обгорелом пне
Перуном раздробленна бука,
Плаченым криком выкликает
Сокрыту некую погибель.

Но тамо, – где *Салгирский* ток
В стремленьи сякнуть начинал, –
Я, правда, зрел, как *скиф* младый,
Близ рощи тополов пасущий
Своих овечек серошерстных,
Выигрывал простую песню
На дудочке своей бузинной;
Выигрывал он нежно, сладко,
Но вместе томно и уныло, –
Обычный вкус угрюмых *скифов*! –
Мне мнится, – он в уединеньи
Вздыхал иль сетовал в свирели
В то время по своей любезной...
Да, – подлинно, – под сими теньми
Едва, – едва уловишь взором

---

[1] То же, что *удод*.

Младую *скифянку* страшливу,
И то – как некий полуобраз...
Покрытый бледным покрывалом,
Здесь всюду грусти дух летает
И, мнится, царствует давно
Средь милых ужасов природы.

Ах! – здесь мою объемлет грудь
Унынья дух и тайна грусть! –
Какая всемогуща сила
На очи мрачность ниспустила? –
Что значит? – иль печальны птицы,
Меж тем как прочие певицы
Пленяли трелию волшебной,
Теперь уныние вдохнули? –
Ах! – *Марсова* стопа железна,
Знать, некогда и здесь звучала! –
Развалины – отломки стен,
Бугры – хранилища костей,
Пни голы – не следы ль его?
Колико тысяч тут легло?
Коликие полки тут спят?
Пусть спят! – ужели *Марс* еще!..

Мне мнится, что оставил я
По ту страну сея пустыни
Любезный зрак моей богини;
Лишь в ново царство я вступил,
Увы! – здесь не видать ея? –
Но вот, – идет по сей долине
Прелестна нека тень в кручине! –
Почто, задумавшись, она
Без соучастника, – одна
Вздыхает? – грудь ея трепещет.
Нет, – он грудь к груди не прижмет, –
Друг сердца к ней уж не придет

И жарких уст не погрузит
В ея уста среди ланит;
Не будет там зараз пить сладких!
Все пусто здесь, – и сердце пусто. –
Да, – здесь поля в очах красивы;
Ток журчалив, – прелестен холм,
Здесь вольны птички говорливы, –
Смеется все; – но что мне в том?
Нет здесь сердечныя подруги...
Нет здесь *сужденной* мне *Сашены...*
Без ней поляны не красивы,
Без ней ток нем, – печален холм,
Без ней и птички не болтливы, –
Все сетует; – так что ж мне в том?
Природа, – а с природой сердце
Без ней – уединенны здесь...

Недолго утрення прохлада
В долине будет провевать. –
Нет, – арфа очень рано может
В открытом поле утомиться.
Кипящий час уже бежит
Излить горящу урну зноя
И будет понуждать меня
Искать прохлады в недрах гор.

Се там на южной стороне,
Меж западом и меж востоком
Я зрю простертую картину
В иных оттенках и цветах! –

Там серой мглы завеса тонка,
Что стелется слоями долу
Над сей равниной освеженной,
Подъялась в твердь, – свилася в клуб;
Се! – гор амфитеатр открылся
С курящимися их верхами!

Прекрасный! – славный полуостров!
С какой ты славою восстал
Теперь из утренних сумраков? –
Ты, выникнув из темной бездны
И к бездне обратясь лицем,
Вздымаешь гордое чело
Над зеркалами трех пучин. –
Как пышно каменны твои
Слои, от северных равнин
В громадны мышцы возрастая
И в юге кончася скалами,
Возносят в область облаков
Остроконечные главы?

Твои слои, листам подобно,
Как бы обрезанны рукою,
По направлению брегов
Все сложены, взгромождены
Пред пасмурным лицем *Нептуна*. –
Они, конечно, суть ничто,
Как книга с тайными словами,
Где испытатель естества
Очами может то прочесть,
Что служит к разрешенью тайны,
Как сей составлен шар земный
Иль как могла произойти
Цепь внешних сих слоев утесных,
Лежащих косо друг близ друга.

Что медлить? – поспешим отсель
На те уступы осененны,
Что остроглавыми верхами
Сафирной тверди досязают? –
Кто может различить в дали
Вершин, слиянных с облаками?
Сии надменны высоты,

В небесных крояся туманах,
Едва не растоплены зрятся;
Лишь феб златые вьет власы
По темно-серым их концам. –
Но чем я ближе, – тем они
Восходят предо мною выше;
А чем я выше, – тем они
Ко мне склоняют выю ниже.

Се! – многоглавый гордый стан,
Шатер камнистый распростертый,
Одетый стланцовым[1] платном,
Величественный *Чатырдаг*[2]
В безмолвии своем ужасном
Возносит смуглое чело
С гордыней важной над горами,
Которы кажутся лишь токмо
Пред ним ползущими буграми!

Где *Агермыш*[3] туманноглавый?
И ты, *Темирджи,* холм пустынный,
Где, прозябая, колкий *еж*[4]
Кустами стелется по камню? –
Они глубоко низложились
Перед надменным *Чатырдагом,*
Неразличаемы в пригорках.

Он, будто прочих презирая
И недостойными считая
Нималого с собой общенья,

---

[1] Стланец то же, что шифер.

[2] Ныне называется *Палат-гора*, или шатер, по сходству положения своего на величайшую некую палатку. Самое слово *Чатыр* значит шатер или палатку. Прямостоящая высота ея полагается в 1100 сажен.

[3] Гора близ Старого Крыма.

[4] *Еж-трава,* Statis Echinos, только на горе *Темирджи* растет.

Стоит, особо отделясь,
И, пред полками звезд гордясь,
Свое заносит тускло око
В жилище божества высоко.

Другие две *Яильски* горы,
Противны видом и челом,
Венчанны бреньем темно-красным,
Придвигшись к чреслам *Чатырдага,*
Восходят острыми столпами
В пределы тверди возвышенной;
Но горних мест не достигая,
Куда возникнул старший брат,
Как меньшие ему ревнуют,
И мнится, – за такую ревность
Еще издревле претерпев
Насилие громов подземных,
Теперь стоят с главой изрытой.

Во мраке древности забвенной, –
Бытийственный вещают книги, –
Как богомерзки Исполины
Предел небесный осаждали,
Несметны горы выспрь метали,
Но сих хребтов не премогали. –
Беснуясь, в злобе растирали
В пыль мелку толщу скал других;
Но сих не возмогли одних. –
Коль скоро в буйстве уставали,
В часы ночные угонзали
В сей утлый каменный шатер,
Что токмо пыщил чрево тоще,
И там – до утра отдыхали! –
Как сердце горно содрогалось
От их мычащего храпленья? –
Как страшен самый сон их был?

Но если не вмещались все,
Тогда за душной теснотой
Валилися в утес другой. –
Потом – в пещерах сих громад,
Где бог хромый ковал перуны
И лил для нужд богов чугуны,
Труждались однооки дивы. –
Как страшно в час работ скрыпучих
От жиловатых мышц нагбенья,
От много-ревного крехтенья
Шаталися стопы сих гор? –
Нельзя понять, – лишь помнить можно;
Шатались – и еще стоят.

Еще сии три горды горы,
Как три подпоры *Херсониса* –
Или как три столпа грозящи,
Поддерживают свод небес,
Над полуостровом висящий. –
Как *Осса, Пелион, Олимп,*
Нагнувшись, с тверди осеняют
Темпийски славны долы древни
И брань Гигантов вспоминают, –
Так те, низвесясь из-за облак,
Стоят незыблемо над зыбью
И длинной тению волнистой
В минуты ранни иль вечерни
Заемлют страшну часть *Эвксина*.

Взойду ли я на *Чатырдаг,*
Где новый мир красот высоких
В уединеньи ожидает,
Где взор обширнее обымет
Торжественны явленья всюду?

⟨ПЕСНЬ ВТОРАЯ⟩

Содержание

Восход на Чатырдаг. – Обращение к Творцу. – Горные прозябения. – Звери и птицы. – Перемены воздуха в горах. – Реки и источники. – Водопад Акар-су. – Три Темпийские долины – Ялтовская, Бейдарская, Судацкая. – Парфенитский мыс. – Переход к Судаку

Как нежно, – как прекрасно скромный
Певец, – сей жаворонок горный
На крыльях сребряных парит
И дику песнь свою трелит?[1] –
Я сяду здесь – на мшистом камне –
Среди сей площади зеленой
И буду слушать, – зреть, – чудиться –
И райску ощущать прохладу;
Пой, птичка! – здесь я сяду...

Доселе перст природы скромный,
Переменяя дел позор,
Лишь силы разверзал неполны;
Но здесь, – средь сих ужасных гор,
Он исполинскому подобен
И вышний вид открыть способен.

«Неизглаголанный! – велик,
Велик в природе Ты несметной;
Твой блещет благолепный лик
Среди долины многоцветной,
Средь кринов, средь лилей млечных;
Твой благодатный глас в живых
Зефирах шепчет тонкокрыльных,

[1] В *Крыму* находится род белокрылых жаворонков, особливо около гор.

Порхающих в младых лугах;
Твое дыхание в обильных
Повсюду веет купинах.

Но здесь, в громадных сих скалах,
Твое величество и слава,
Твоя премудрость и держава
В священном трепете грядут
И велегласно вопиют!
Твой глас глаголет всемогущий
В сих сенолиственных дубах;
Твой дух взывает всеборющий
В сих, – сих свистящих вихрей силах,
Сражающихся между гор. –
И кто на высоте ужасной
Не ощу́тит стопы всевластной,
Что, шествуя сквозь кровы туч,
Звучит, как пламенно железо?
Кому не явит славы луч?
Кто здесь не внемлет гласу в громе?
Ты дхнешь, – дубов столетний лес
Косматым корнем вверх ложится;
Гремишь, – и каменный утес
Дрожит, – трещит, – падет, – крушится;
Блеснешь, – и утлый сей хребет
В своем метальном основаньи
Растопиться, – сгорит, – и нет...
Как воск от ярости огней,
Как в тверди облако дебело,
Проникнутое от лучей,
Иль как от зноя снег блестящий,
На теме сей горы лежащий;
Но что я рек? – восхощет Бог,
На ломкой оси мир шатнется,
А Твой престол, Святый чертог, –
Сион – во век не потрясется. –

Творец! – и здесь, – и здесь Твой храм;
Сафирный свод небес палящих,
Мне мнится, – приклонен сюда;
Стопы его – древа столетни;
Курение – цветы *Альпийски*;
Симфония – хор птиц в дубах;
Красивость – пестрота в цветах,
А верх камнистый, возвышенный
Являет жертвенник священный. –
К Тебе, – к обители Твоей
Приближиться с дрожаньем смею
И в немтованьи песни сей
К Тебе, Отец, – благоговею...»

Оставь свои холмы блаженны,
Божественна моя *камена*! –
Пусть будет *Чатырдаг* священный,
Сей дивный слепок естества,
Твоим любимым храмом песней! –
Здесь зришь ты в ясном *глазо-еме*[1]
Весь край вечерней сей страны,
Окрестны горы осененны
И их вершины униженны,
И *Евпатории* равнины,
И три шумящие пучины,
Которые небесный свод,
Спустя эмалевые краи,
Объемлет, слившись в цвет един. –
Все прелести сии открыты
Тебе в единой точке зренья.
Уже другой здесь воздух веет,
Всегда прохладен, чист, яснеет.
Ты, смежный черпая эфир,

[1]Можно, кажется, сим словом определительнее назвать *горизонт*.

Главой касаясь небесам,
Гордыню нову ощущаешь
И мнишь, что самый небожитель
Тебе в сии минуты друг. –
Где ж те надменны облака,
Которых высоте ужасной
И их косматому лицу
Внизу дивится сын долины? –
Они теперь уже не странны;
Они, как тень, – как тонкий пар,
Влачатся мимо глаз твоих,
В мозгу закруги не рождают.

Ты видишь здесь под небом рощи;
Там, на *Яильских* высотах
Дубравы на брегах *Салгира*
Широки листья потрясают;
Здесь белотелая гробина,
Пахуча липа, гибка верба
Струят врачебное куренье;
А там широкоствольны *буки*
И *вязы,* с важностью стоящи,
Спускаются к подошве ниже. –
Уже трехсотая весна
В их дышет разрезных листах,
Подобно как в дрожащих лёгких. –
В их тени былия целебны –
Проломник[1], *черный сладко-корень*[2],
Серебряник, наперсник камней[3],
Горящий *звездо-цвет*[4], *подлески*[5] –
Лелеются в роскошных ложах;

---

[1] Androface villosa.

[2] Polypodium vulgare.

[3] Сие белолиственное былие растет на поверхности камней.

[4] Aster Alpinus.

[5] Violette.

Здесь с белым *буквица* листом[1],
Избрав проталину в снегах
И ране всех растений зрея,
Всегда предшествует весне;
А там густый *многоголовник*[2],
Выставливая из ущелий
Свои головки красно-цветны,
Венчает каменно чело. –
Там *денежник*[3], уединясь,
Растет с *сокольим* перелетом. –
Какие там еще былины,
Альпийских летораслей роды,
Прозябли средь чужей вершины?
Но воздух черпают родной.
Какие бисеры слезящи
Дрожат на гибких их листочках? –
Но капли бисерны сии,
Паря из чашечек пушистых
И в тихи куревы претворшись,
К небесным сводам возникают. –
Не их ли длань зари роняет?
Не их ли бдящий месяц видит?
Не их ли солнце утром крадет?

Здесь под густыми теньми древ
В утесы *барсук* полосатый[4]
Тяжелый шаг свой напрягает.
Ему служила темна ночь
Для похищения добычь;
Но яркий свет его вгоняет
В расселины глубоки гор.

---

[1] Prime-vere.
[2] Asplendium trichomanoides.
[3] Thlaspi saxatile.
[4] Blereau; сих зверей число там не велико.

Там дики кони ветроноги
Или сайгаки кривороги[1],
Столь нежны к вольности своей,
Ристают то по крутизнам,
То мчатся по пустым степям.
Как тщетно ловчий умышляет
Настигнуть легких тварей сих,
Коль стрел быстрее ноги их? –
А здесь ветвистороги *серны*
С утеса скачут на утес
Через вершины непомерны;
Иная, рогом зацепясь
За ветвь иль за отрог скалы,
Висит в отчаянье! – несчастна! –
Се здесь свистит свинец удачный, –
К тебе летит сквозь листья злачны!

Смотри! – как тамо величавый
Орел залетный белоглавый[2],
Крутых вершин *Альпийских* сын,
Подъемлясь с тяжкой ветви дуба,
Взор быстрый к солнцу простирает! –
Зри! – там другий сребристоперый
Египетский *пришлец* и гость[3]
Главу подъемлет желтокожну
И бурными звучит крылами! –
Какая бы из птиц дерзнула
Толь гордо, толь парить отважно,
Как их ширококрылый царь? –
Лишь белый *лунь* и *коршун* смеют
Гордиться пред толпою горлиц
Иль пред станицею *грачей*.

---

[1] Antîlop, или Hircus recuruis Cornibus.
[2] Vautour des Alpes.
[3] Le perinopter.

Таков и *россов* царский *Гений,*
Великий *Цезарь* полуночный,
Пред сонмищем владык других! –
Таков и *Пиндар* быстроточный
Перед толпой певцов иных! –
Небесна твердь – стихия их;
Их дух превыше человека;
Их реет жизнь обонпол века.

Меж тем как седоперый *сыч*
С огромным *филином* при корнях,
Смеживши взор, при свете дремлют,
Красивоперая *регчанка,*
Пламенногруда дщерь утесов[1],
Исторгшись из подземных гнезд,
И златоглазый дикий *гоголь,*
Баклан и хищный *хохотун*[2],
И сипоголосый с ним *шипун*[3]
Полощутся в морских зыбях
И ищут рыб неосторожных
Меж острых и густых осок;
А там стада *колпиц,* гусей,
Пустыно-любных журавлей
И белых легких *лебедей*
Парят над морем длинной цепью.

Всё здесь на высоте яснеет;
Здесь, здесь эфирну жизнь имеет;
Здесь всяко чувство крылатеет;
Но между гор в глубоких долах,
Где в темных тенях дремлют дебри,

---

[1] Tadorne; anas tadorna. – Горная утка, вся белая; голову и шею имеет сизую, а грудь желто-красную. – Живет в земле.
[2] Grand-goe-land; larus, Canus Major, Commun gull.
[3] Cigne; Anas, Cygnus; Swan.

Где *лютик* втайне созревает[4],
Росой медвяной умащен,
Еще зияют чада нощи;
Еще туманы неки спят. –
Иные же из них не скоро
Свое подъемля тяжко чрево,
Подобно езеру седому,
Хребта часть нижню омывают,
И сквозь прогалины тесняся,
Жемчужные кидают капли
На листвия дремучих древ. –
Но в те угрюмы, мрачны дни, –
Когда сын *Троев, Водолей,*
Исчерпав ароматный сок,
Небесны силы угощает;
А божества, возвеселясь,
Пируют в выспреннем Олимпе, –
Здесь долу бурный сын *Эола,*
Расторгши цепи, вылетает
Из глубины полнощи мрачной
И, чрез равнины нагоняя
Чреваты снегом облака,
Хребты пушит, кусты пушит
И Флоре издали грозит
Своим челом железо-льдистым.

Нередко облако иное,
В те даже дни, – когда *Телец*
Толчется юными рогами
В златую цепь весны цветущей
И *май* бальзамный за собой
Ведет на злачные поля, –
Нередко, утром пробегая
Скалы лесисты полосой,

[4] Rununculus acris.

Хребты препоясует средни
Пушистым поясом сребристым. –
Меж тем – как нижние древа,
Облиты голотью кристальной,
Качают перевязи снежны, –
Леса, растущи на вершинах,
В цветущем торжествуют злаке
Над зимней тучей ниц ползущей.
Тут пресмыкается *зима*
По дольней стороне хребта
И бледну мантию влечет
Позадь с оплечьем седо-рунным,
Тогда – как в полном блеске день
Над нею светит на вершинах,
Гордясь алмазным ожерельем. –
Сто сажен токмо разделяют
Полночный мрак с полдневным светом,
Холодну зиму с теплым летом.

Коль разновидно ликовствует
Природа в образе игры? –
То тихо на лугах смеется,
То исполинствует в горах,
То в нежных сгибах червя вьется,
То в воздухе парит орлом,
То преливает ярко злато
В каймах различных облаков,
То вдруг густой ложится тенью
По мшистым скатам землелогов.

Коль любопытно созерцать
По косогорам каменистым
Бегущи целы ночи теней,
Спущенные от туч густых?
Коль любопытно созерцать
Скалы, *Палат-горе* подвластны,

И те растущие холмы,
Приосененны темной чащей,
Отколь ключи гремучи бьются
Всегда с журчанием немолчным?

Я слышу долу рев глухой
Подобный грому за горой! –
То рев ручьев и водопадов,
Катящихся отселе вниз
По раковинам разноцветным! –
Здесь зрю я *Зую, Бештерек,*
Индал, Булганак и Бузук,
Что прыгают с крутого камня
Пенистой шумною стопой
И, дале по кривым стезям
Платно́м блестящим расстилаясь,
Сквозь тень развесных черноталей
Или сгущенных черноклёнов
В *Сиваш* тлетворный упадают,
Над коим вьется смрадный пар
И душит чувствие пришельца. –

Кристальна урна там *Салгира*
И плодотворныя *Альмы*,
Крутящая струи на полнощь
Сквозь рытвины между хребтов,
Сквозь рощи *ильмов* и *ясеней,*
Сначала в снеги облеченна,
А после в волны растопленна,
В прозрачном мчит сребре богатство;
А темноводный *Кара-су*,
Снегов похитив половину,
От сей вершины седоглавой
Бежит и множит плод с *Салгиром*
По злачным острова долинам,
Где жирные бразды, согреты

Созвездием благопоспешным,
Колебются волнистой нивой
Среди воздушного дыханья
И ободряют праздный плуг,
Чтоб он грядущею весной
Под благотворною звездой
Еще понудил круторогих
Тельцов разверсти ложесна
Всеобщей матери земли.

Не видишь ли, моя *камена,*
Как тамо в утучненных долах
Пестреют жирные овощи? –
Там прохладительная *спаржа,*
Здесь краснокожные *фасоли,*
Там сочны *яблоки любовны*[1],
Здесь *бадиджан*[2] и *кукуруза*[3]
Под небом благодатным зреют. –
Все здесь найдет владыка дому,
Что требует роскошный вкус.

Излучисты сих вод брега
Гордятся пестрыми садами,
Где разнородные древа,
Обремененные плодами,
Готовят общий пир в то время,
Когда крылата в небе *Дева*
Держаща пук златых колосьев
Низводит дни потливой жатвы. –
Там многоплодная *Альма,*
Кабарта и шумлива *Кача*

---

[1] Pomme d'amour; Solanum Lycopersium.
[2] Mayenne, ou Melongene; Solanum melongena.
[3] Ble´de Turquie; Zea-maye.

Текут под тенями златыми;
Потом, омывши землелоги,
Уходят в мрачно лоно бездны
И рассекают черну зыбь.

Чего брега их многоцветны
Из тучных недр не производят? –
То шелковицы, наклоненны
От полных кровоточных гроздов,
То с желто-цветными плодами
Изящны сливы, сочны груши
И красноцветные гранаты,
И дики *миндали* растут,
То тучны лозы винограда
С багроточивыми кистями
Взбираются с пещаных гряд
И дружно вьются окрест древ,
Объемля нежно стволы их;
И повители также им
В сих оборотах подражают.

Там черный *бедренец*[1], там *кервель*[2],
Плакун[3] и с ним *сине-головник*[4],
И там *красавица трава*[5],
В которой Рима дщерь прелестна
Помощницу себе находит
Во оживленьи красоты;
Там разнородны прозябенья
То пышный и изящный вид,
То с пользой врачевство дают.

---

[1] Pimpinella magna.

[2] Cerfeuille; Scandix Cerefolium.

[3] Salicaire; Lithrum Salicaria.

[4] Panicault, ou chardon à Cent tête.

[5] Красавица трава, бешеные шишки, beladonna, atropa beladonna. Имеет темно-красные, мохнатые и усыпительные листы, а ягоды чернолоснистые и ядовитые. – Италианки делают из нее умывание.

Когда бы мне в красах теряться,
То б мог я взоры простирать
От *Ифигениина* мыса[1]
До *Карадажской* высоты[2];
Но *Чатырдаг* и две *Яилли,*
А из долин *Темпийских* милых
Бейдара, Ялта и *Судак*
Сильней удерживают мысли.

Водимый шумом я протоков
Достигну ль тех ключей шумящих,
Отколь бежит *Акар с Баллой*? –
Ключи *Акарски* сребროточны[3],
Исторнувшись из самых уст
Седой главы крутой скалы,
Отвесным бурным водопадом
Стремглав стремятся прямо в бездну.
Они, по падям меловым
И по рассеянным кораллам
Взвивая к тверди легку росу
Иль дробные дожди туманом,
Подолы злачны омывают
И южный берег утучняют.

«*О нимфы!* дщери сих ключей,
Живущие при свежих урнах! –
Как? – вы из сих густых туманов,
Клубящихся под осью солнца,
Из сих высоких облаков,
Где сей крутый утес скрывает
Нахмуренно свое чело,

---

[1] Сей мыс подле *Георгиевского* монастыря.
[2] Сия гора, так называемая здесь *Карадаг,* стоит подле *Феодосии,* или *Кефы.*
[3] Источники *Акар-су* с верху каменистого утеса более 150 сажен падают прямо вниз.

Вы скачете в пучину прямо
И не страшитесь ничего! –
Сколь легки, смелы должны быть
Кристалловидны ваши ноги,
Которые летят с высот,
Не запинаясь за отрог;
Что ж побуждает вас к сему?
Какая сила гонит вас?

Или найти вы не могли
Спокойнейшего водоската,
Где вы в студеных бы струях
Свои сребристы ноги мыли? –
Иль поспешаете спасаться
От *Аполлоновой* руки,
Которая, с горящей тверди
Сквозь полости воздушны меща
Янтарные снопы лучей,
Палит ваш лик толико нежный? –
Так, – слышу вас печальный стон
Среди потоков их шумящих
И зрю, как ваши стопы бьются
Об остры камни, о кораллы;
Вас *Феб* преследует; – стремитесь!
Стремитеся с высот ужасных!
Как легки, смелы должны быть
Кристалловидны ваши ноги?»

Пусть ниц опустится мой взор
По сей серебряной стремнине! –
Ужасна, милая стремнина!
По ней сребро гремит и мчится,
Когда с горы огромна сосна,
Воспитанна под облаками,
Отторженна быв силой вихря,
С ея рамен падет в юдоль,

Какое сверху вниз пространство
Чрез ток мгновенно пролетает
Тогда ветвистый остов сосны?
Картина страшной быстроты! –
Так, мнится мне, представить можно
Стопы бессмертных быстролетны.
О суевер! – когда ты смотришь
С глубоких долов в первый раз
На ниспадающее диво,
Не можешь ли тогда помыслить,
Что божество ключей *Акарских*
Нисходит *Ялту* осчастливить?

Здесь я остановлюся мало
В прекрасной *Ялтовской* долине,
Где быстры два сии ручья,
Ведя изгибом за собой
Крутые красны бережки,
Сады и нивы орошают;
Хребты, обстав сию долину,
Полкругом пред лицем пучины
Приморску брега часть смыкают
И в виде сем на высоту
Идут уступами лесными,
Где вечная зелена ночь
Лежит на скатах каменистых,
Средь коих кедровидны *сосны,*
Качая на сучках тяжелы
Красночешуйчаты плоды,
Пускают сребряную смолу
И благовонный пар над долом, –
Средь коих гордые *каркасы*[1]
Далече в высоту подъемлют
Свои *главы* густоветвисты. –

[1] Micocoulier; celtis orientalis.

Там в знойные часы приморцы
На плоских высотах *Яильских*
Находят вешнюю прохладу,
А пажить их стада спокойну,
От оводов, слепней свободну,
Подобно как *испански* овцы
На *Астурийских* высотах. –
По влажным бережкам ручьев
Орешники долговетвисты
И стройны *тополы* сребристы
Под небом вечно разогретым
Стоят зеленой колонадой,
Где отдых и приятна нега
Под тень пришельца призывают;
И где, красуясь милым цветом,
Миндаль, гранаты и маслины
Пленяют вкус плодом изящным.

Куда ни обращу я слух,
Везде журчание гремуче
Меж говорливыми ручьями;
Везде стопа шумяща *нимфы*
Слышна, стучаща по кораллам.
Вотще горящий *Аполлон*
Истоки знойны проливает;
Сии струи хранят безвредно
Хлад зимний средь студеных вод.

Но что за сей стеной утесной,
За сей расколотой горой? –
О путник! коль стоишь на теме
Сея ужасныя вершины,
Кинь взор оттоле в оба края!
Что узришь ты в то время?
Два *рая* страшно разделенны
Утесным неким адским мостом. –

Ты зришь ли, как сей мост туда
Идет отлогостью уступной
И как нисходит он сюда
Отвесною крутой стеной?
Спускался ль ты когда с отвагой
По оной лествице ужасной,
Что по утесной сей стене
Как бы из облак вьется к низу?
Не чувствовал ли ты загруги,
Когда по омрачным ступеням,
Пробитым в каменном ребре,
Переставлял ты робко ногу?
Ты не обык; – почто ж идти?
Здесь горный, осторожный конь,
Привычный к облачным путям,
Твой вождь, и друг, и колесница.
Ты острану зришь пропасть, ад;
Но коль спустился ты счастливо,
То должен зреть ты рай Темпийский;
Ты видел *Ялту,* был в сем рае; –
Се первый Темпе Херсонисский!

О как природа здесь ужасна,
Строга, кичлива и прекрасна! –
Но какова за сей стеной,
За сей расколотой горой?

Ах! можно ли забыть тебя,
Честь песни, лучший глаз предмет,
Темпийский в *Таврий* дол вторый,
Бейдарский рай уединенный? –
К твоим пределам приближаясь,
Стремлюся выше, – паки ниже,
И дале – снова выше, – выше –
Между истоков, осененных
Орешником, кизилом диким,

В сие то время вображаю,
Что я уже под самым небом.
Вершины, мнится мне, покрыты
Не рощами, а муравами;
Смотреть ли с сих вершин на долы?
Дол, кажется, тогда усыпан
Не рощами, но мелким злаком.

Таков средь гор сих глазомер!
Там мнится, быв под самым небом,
Все смертное позабываю
И долу мир весь оставляю;
Но ниспускаясь в дол *Бейдарский*,
Вновь смертное, мне мнится, вижу,
Небесное позабывая. –
Но что? – сквозь мрачны тени вязов;
Сквозь тени тополов развесных,
Орешников, гробин, кизилов
Спустяся, вдруг я нахожу
В величьи скромном рай земный. –
Какие милы встречи там?
Там видишь дружные два древа,
Которые объемлясь вместе
Стоят на двух стопах надежных,
Но под одним зеленым кровом;
Там в сумрачны часы мелькают
Спокойны звездочки в ложбинах[1],
И малосильными огнями
Вечерний путь мой осветив,
Мне мнится, сыплют свет сухий;
Там следуют раины горды,
Стоящие в безмолвьи страшном
Над челами древес кудрявых.

[1] Это светящиеся червячки.

Благословенна буди вечно,
Долина красоты счастлива,
Собранье прелестей отличных
И неких ужасов природы,
Фессалии бесценный образ!
Коль еллинские барды пели
Фессальски лепоты издревле,
Едва ль их песнь не относилась
К *Бейдарским* пышностям твоим?
Здесь, – здесь незримый Ангел мира,
Тебя объемля, веет вечно;
Тебя опоясуют всюду
Высоки каменны утесы,
Где на приморских высотах
Всегда спасительны светочи
Горели в древни бурны ночи
Для заблужденных мореходцов. –
Здесь в тишине *Торгут* шумящий,
Из чресл утеса выпрядая,
То уклоняется от гор,
То, пробежавши луг дугой,
Вновь приближается к горам;
В толь своенравном извиваньи
То моет злачную долину,
То инде прячется под камни,
То инде он одушевляет
Игривость мельничных колес;
А тамо – *Черный ток* в углу
Выходит хладною стопою
Из *Дарской* серыя скалы
Меж *Толаком* и *Оксен-сыртом*;
Ниспадши камни орошая,
Еще в струях твердит то счастье,
Что некогда небесный взор
ЕКАТЕРИНЫ освятил
Уединенный *Оксен-сырт*,

Сей новый блещущий Олимп,
Отколь великая богиня
По стропотям *Толакским* зрела
Примерную сайгаков резвость,
Одушевленну скорость ног,
Цеплянье за отроги страшны
И их чрез бездны скок пернатый.

Окинь страну живейшем оком!
Ты зришь в окружности безмолвной
Рассеянные *скифски* веси,
Лежащи в тишине глубокой
То при подошвах гор внизу,
То по равнинам их хребтов,
Где луноглавые *мечети*
И каменны чалмы подъяты –
Надгробны знаки *мурз, пашей* –
При водомещущих ключах
Из-за раин белеют гордо. –
Там смуглы чада камней диких,
Враги мятежных козней света,
В блаженной простоте живут;
Но редко *скифянки* стопа
По злаку печатлеет след;
Лишь под ревнивым покрывалом
Выходит, – вновь бежит в *гарем*...

Когда же вздумаешь взойти
На *Сактикское* возвышенье,
Сию изящну точку зренья,
Все краше узришь, – удивишься. –
На сем приятном возвышеньи
Волшебна область алчных взоров
Распространяется живее;
Оглянешься, – и за тобой
В востоко-северной стране

Почти на равной высоте
Садовы рощи, разделясь
На угловату неку полость,
Картинну кажут перспективу;
Вперед посмотришь, – пред тобой,
В приятном виде раскидавшись,
Парельска рощица синеет. –
Отсель, – с сей точки глазо-емной,
С сей высоты средо-долинной,
Где, мнится, мог бы царь вселенной,
Сложа свой скипетр, обитать
Иль простоте помочь природы
Богатой силою искусств, –
Сама природа предлагает
Уклонну, – гладкую прогулку
Туда, к тенистому *Парелю,*
Где разны древеса гордятся
Бесчисленных родов плодами
И где в близи – по землелогу
Меж шелковицей и айвой
Развесистый орешник страшный[1]
Далече мещет сильны тени
И в ужасе стоит священном.
По ветвям древа растяженным
Птиц тысячи сидят рядами
И лик ведут разноязычный;
Издавна там четы гнездятся
И хищных сонмов не страшатся.
Сие там древо знаменито! –
Под тению его ужасной
Сто глав могли бы опочить,
Как под наметом сенолистным,
Как под шатром благоуханным.

---

[1] Говорят, что сей орешник в год приносит до 50 000 орехов, известных под именем грецких.

Какие непостижны виды
В час утренний и в час вечерний
Испытный взор еще обрящет
На сем долины возвышеньи? –
Едва в прогалины утесов
Лиющесь золото лучей,
Проникнув с силою победной,
Косой чертою упадает
На сопротивные хребты,
Тогда – явится вдруг очам
Единственна картина здесь. –
Вотще с утра висят туманы,
Доколе расточит их полдень;
Вотще над сумрачной долиной
Они в вечерний час слоятся;
Лучи светила, озлащая
Иль вдруг насильно облекая
Их в некий сребро-синий цвет,
Ткут из паров воздушных легких
Прекрасны седьмицветны нити. –
Какое зрелище бесценно? –
То пурпурны, то изумрудны,
То хрисолитны переливы
В воздушных полостях играют
Между ясенными тенями,
Среди орешников, средь тутов,
Среди раин высокоглавых.

Какая живопись природы? –
Меж тем как резвится она, –
Все здесь спокойно, все молчит;
Ручей в изгибах лишь журчит;
Иль птичка в листьях свиристит;
Иль там елень, сей горный житель,
Летит по чреслу гор отважно
И легкою ногой стучит

О звучный каменный отрог;
Или бузинная свирель,
Одушевленная устами,
Устами страстными, простыми
Под тенью дышет груш, кизилов.

Возможно ль, чтоб когда борей,
Исторгшись из пещер полнощи,
Ворвался в сей прекрасный рай,
Где юные всегда часы
И нежнокрылы ветерки
Рукою верной рассыпают
Красы спокойны *Елисейски*? –
Сей рай отвсюду огражден;
Борею вход тут возбранен;
Но иногда – дерзает он
В прогалины хребтов разверсты,
Хребтов, лежащих друг на друге,
Взглянуть с своим челом железным.
Он воет иногда ужасно;
И рай – дрожит, уныл и бледен;
Прекрасные древа трещат;
Раина гнется и крушится;
Мятели пышут из-за гор;
Крутятся вихри серебристы,
Бегут по выям древ стенящих
И мещут с крыльев дики зимы;
Рай погребается в сугробах. –
Но тут юг теплый, вылетая,
Не долго вихрям дуть дает;
Три дни – вот царство там зимы!
Все растопляется, – и вновь
Темпийски прелести смеются.

Забудешь ли, веселый странник,
По крайней мере день един
Дышать в эдемской сей долине?

Ей! – бывши в ней единый день,
Весь век помыслишь в ней дышать.
Она обильна чащей древ
Иль вертоградных, или диких;
Обильна долами, лугами,
Ущельями и гор ручьями;
Везде цветуща и прелестна,
Страшна, приятна, горделива,
Пленительна, кротка, кичлива,
Очаровательна, грозна,
Спокойна, завсегда удельна,
Непресекаема путями,
Прохладна и тогда ж – паляща
По разному ея уклону,
По разным высоты чертам
И положения ея;
Се краткий образ свойств долины!
Се дол вторый *Темпийский* в *Таврий*!

Благословенна буди вечно,
Счастливая красот долина;
Собранье прелестей отличных,
Почтенных ужасов природы,
Фессалии тенистый образ!
Благословенна буди вечно!

Как длинен *Парфенитский* мыс,
Лежащий тамо над пучиной? –
Возвысив свой хребет лесистой,
В своем паденьи самом зрится
Еще стоящею горою
И будто выпуклистый свод,
Подъяв чернокристальну грудь,
Покрыту черепом блестящим,
Растет из шумной глубины.
Хотя подземные перуны

Изрыли глыбами его;
Но чрез сие природа в нем
Для зодчего соорудила
Такое редко вещество,
Каким гордится в зданьях *Рим*[1];
Но тамо! – где *Ламбатски* горы
В уединении стоят,
Природа, разбудя Вулкана,
Стремнистые сковала гробы,
Где руды неизвестны спят;
А подле *Урсовских* хребтов
Содейством той же перемены
Чистейший воспитала *кварц*.

Пловцы! – когда в пути пенистом
Взираете с морских зыбей
На сей полдневный брег гористой,
Вы, мнится, видите тогда
То хижины, то зданья царски;
Нет, – то скалы обширны
Прямостоящие, стремнисты,
Изрыты, обнаженны, странны,
Как бы столпами иль вратами
Под неким кровом со стенами. –
Здесь много сих волшебств найдете;
О сколь приятно заблужденье?

Но я теряюсь в океане
Различных переменных видов. –
Здесь пресекается мой взор
На самом том же перерыве,
Который цепь сего хребта
В пространстве знатном разделяет

---

[1] Во всей Италии, а особливо в Риме употребляют для строения камень, называемый *пеперино*. На сем мысе также оной примечается.

Меж западом и меж востоком. –
Пускай мой утомленный взор
К стране восточной обратится;
И пусть отдохнет облегчен
На тишине других позорищ;
Я видел исполина гор;
Увижу исполина древ;
Я видел *Чатырдаг* меж гор;
Увижу меж древес раину;
Тот все утесы презирает;
Сия же сосны превышает.

Переходя *Ускютски* долы,
Где под целебными тенями
Блестящих *скапидарных* древ[1]
Природа редкости питает
Среди одров слоистых стланцов,
В которых рудослов находит
Сокровища остроконечны
И каплющие хрустали,
Какими столь давно восток
Пленяет страстный взор *Европы*, –
Я зрю еще два длинных мыса,
Из коих первый внутрь пучины,
Подобно как бы полуостров,
Простер высоки рамена,
Где смерти дом, *стражница древня*[2],
Теперь в развалинах лежит, –
Стражница, где лежащи кости
И черепы напоминают
О той бесчеловечной власти,
Которая, людей злосчастных

[1] Terebenthe, ou Pistachier Sauvage. Сие дерево дает бальзам, похожий на меккской.

[2] Во времена ханов бросали в сию башню с самого верха живых пленников или преступников.

От самыя крутой вершины
В ея пучину низвергая,
Не проливала слез о том,
Что там несчастны раздробленны
То без руки, то без ребра,
То с сокрушенными ногами
Дышали, – не хотя дышать,
А в гладе стон свой возвышая
К отверстой высоте столпа
И тратя стон в глухих стенах,
Снедали первого по силе
И вместо благодарных чувств
В толь страшном подкрепленьи сил
Свирепу проклинали *парку,*
Что с злобною она насмешкой
Еще нить жизни их щадила
От острия суровых ножниц; –
Бесчеловечная пощада!..

О странники! – когда случится
Сии места вам преходить,
Не позабудьте посмотреть
Сию плачевную стражницу,
Где жизнь боролась долго с смертью? –
Там узрите вы с содроганьем
Еще белеющи добычи
Жестокой времени секиры;
Еще услышите вы там
Стенящи волны у брегов
О страшной гибели несчастных;
Пролейте там горючи слезы! –
Потом взор грустный отвратя
Направьте далее свой путь!
Там узрите другой вы мыс,
Что, в твердь еще подъемлясь выше
И простираясь дале в волны,

Скрывает башни сей позор. –
Сколь страшен был сей башни вид,
Столь мил за мысом дол цветущий. –
Ах! – Там иной сияет рай?
За ним увидите средь скал,
Подъемлющих чертой отвесной
Железо-красные верхи,
Блаженное жилище *Флоры,*
Блистающий престол *Помоны*,
В прекрасном *Афинее*[1] *Темпе*
Иль Фессалийский третий дол.

Мне мнится, что природа хитра,
Намереваясь отдалить
От моря страшные хребты,
На то сей дол уединила,
Чтоб Мала *Азия* цветуща
В толь малый угол преселилась. –
Она решилась; – гром ударил,
Взревел в подземном лоне клокот;
Хребет сей скрыпнул, – отступил;
Тогда долина вдруг открылась,
Куда *Натолия* богата
Со всеми прелестьми вселилась.

Здесь рай цветущий, огражденный
С страны единой полукругом
Гребнистой каменной стены,
С другой – лазоревою бездной,
Здесь говорливые ручьи
С журчанием ключей гремучих
И щебетаньем разных птиц,
Здесь мне велят остановиться.

---

[1] *Афиней*, так названный в нынешнее время город *Судак*, где лучшие сады в целой *Таврии* находятся.

Сей *рай* природою не предан
Строптивости полночных бурь
И своенравию времен. –
Бузина, груша, черноклен,
Шиповник, паресклед, крушина,
Глод, терн, шептала, гордовина
И прочие кусты с шипами,
Безмолвно окружая рай,
Для путешественников служат
Предместием гостеприимным,
А от пернатых, хищных татей
Густой, колючею оградой.

Да, – должно здесь остановиться,
Пленяться, – заблуждать, – дивиться.
Здесь райские места красивы,
Потоки свежи, журчаливы,
Злак нежен, птички говорливы,
Одушевлен камнистый сонм;
Здесь дышет все; – но что мне в том,
Коль нет сердечной здесь подруги;
Нет суженой моей – *Сашены:*
Без ней не красен самый рай;
Без ней смеющись вертограды
Не могут в грудь вдохнуть отрады;
Без ней уныл весь райский край;
Природа, – а с природой сердце
Без ней – уединенны ноют.
Но – должно здесь остановиться
И без нея – смотреть, – дивиться.

⟨ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ⟩

Содержание

Судацкие, или Афинейские сады. – Разные древа, цветы, виноград. – Напоминание красавицам. – Изящный вид горной стороны с моря. – Мысли о трудолюбии. – Обращение к маетностям г. ⟨Мордвинова⟩

Восхить, *Помона* благолепна,
Леполанита солнца дщерь,
В сии уединенны тени,
В сии прекрасные *Лицеи*,
Где сквозь листы различных древ
И многих кущей наклоненных
Блистает разноцветный плод! –
Пусть я почию в томной неге
При корне *Вавилонской* ивы,
Которой гибки, нежны ветви
С зубчато-бледными листами
Дугою клонятся к земле,
Иль под висящими плодами
Черешней, вишней, слив и *груш*,
На коих дикий *виноград*,
Объемля ветви до вершин
И их приятный блеск сугубя
Своим сиянием багровым,
Растет без попеченья сам!
Иль где кудрявый можжевельник,
Исшедши из песчаной почвы,
Стоит под видом *кипариса*[1]

---

[1] Он называется также артыш (Savine, junipeus Sabina). – Листы похожи на кипарисные.

И пар дает благоуханный;
Но кипарисна тень его
Не представляла мне бы смерти! –
Иль тамо, где сквозь тень блистают
И милу зелень возвышают
Золотокожны *абрикосы,*
Айвы, пушисты *брусковины*[1],
Душисты *смоквы* и *маслины,*
Где устилающие дол
Кишнец[2], *гвоздика* и *кипрейник*[3],
Что очищает вредный пар,
Где *каперсы* кровоточивы[4],
Шалфей, что в раскаленный воздух
Далече мещет пар врачебный,
Приятный *пчельник, балзамины*
Курений облак разверзают! –
Пусть в сих пуховиках
Прелестной Флоры опочину,
Где никогда другой *Аконтий*[5]

---

[1] Дикие персики; Amygdalus Persica.
[2] Coriandrum.
[3] Epilobium.
[4] Caprier; Capparis Spinosa.
[5] В древние времена был один пригожий молодой грек с острова *Цея,* но бедный, по имени *Аконтий,* который, сильно влюбясь в некоторую красавицу знатной породы, именем *Кидиппу,* уже обрученную другому, и не предвидя желаниям успеха, написал на яблоке от имени ея клятву в том, что она клянется пред Дианою дать руку одному *Аконтию*; потом в храме сей богини в день праздника, улуча время, неприметно бросил оное к ней на грудь; неосторожная красавица схватывает яблоко, читает, вздыхает; клятва непременна пред толь строгой богинею, какова Диана; ибо всегда, как скоро приступала к браку с тем, кому уже прежде была обручена, была мучима лихорадкой, пока не избавилась от болезни, вышед за *Аконтия.*

Роптать не может на природу,
Что нет румяного плода,
На коем начертал бы клятву
Своей любезной для прочтенья.

Какой роскошный пир цветет
Для самых насекомых здесь!
Ты, проницающая воздух
Крылами светлыми пчела!
Ужели долго будешь виться
В воздушной тонкой пустоте!
Нет, – ты спускаешься к цветам
И похищаешь лучши соки. –
Не ропщут нежны дщери солнца,
Что ты их сладку кровь пиешь, –
Ты, мравий! – как в лучах крутишься,
Поднявшись с бархатца теперь! –
Давно ли видел я тебя
Во мраке брения ползуща
Меж плежущей твоей дружиной! –
Сия картина пременилась. –
Ты стар был, – ноги ослабели;
Природа щедрая, снабдив
Подпорой в слабости тебя,
Вложила живость юных дней,
Взрастила крылошки из спинки;
Теперь подъемлешься, – крутишься,
Гордишься над жилищем прежним! –
О таинство природы мудрой!

Ты, легкий сын росы, – кузнечик!
Ты сидя ножками звенишь,
По стебелькам былинок скачешь,
Пьешь росу, пьешь ты злачный сок, –
Нет беспокойств иных; – сверчи!

Вы, чада рощей и садов!
Любезны *пеночки, синички*!
Вы, *иволги* золотоперы!
Вы, *зяблицы, чижи* зелены!
Чиликайте трелисто в листьях,
Настроя горлышки свои!

Но солнце в половине неба. –
Се зной из тверди начинает
Струи кипящи ниспускать
И из растений извлекать
Бальзамный дух в тяжелом паре! –
Пусть буду шествовать по теням,
Где остроглавые *раины*,
Как самодержицы ветвисты,
Главою дубы превышая
И стебли к тверди простирая,
Вершину кончат обелиском!
Иль где восточные *меспили*[1]
И дики *финики*[2] растут!
Иль где *фисташи* краснолистны,
Жемчужны капли источая,
Дают бальзам неоцененный,
Что по своей целебной силе
Драгой ценою достается
Из дальной *Мекки* иль из *Хио*.

Еще бы с большим восхищеньем
Я мог гулять под тенью лавров;
Но лавр, вечнозеленый лавр,
На коем ягоды багровы
Дают врачам целебно масло,

---

[1] Azerolier du Levant; Mespilus orientalis.
[2] Дикие финики, или, лучше, курьма; Plaqueminier; diospiros lotus. – Листы сверху темно-зелены, а снизу бледно-пушисты.

Уже давно уединился
Под мирны стены деревень. –
Счастливый *Митсхор* и *Алупка*
Покоятся в тенях его. –
В таком благоуханном царстве,
Где *Нимфа, Флора* и *Помона*
В тени растущих виноградов
Вкруг *Вакха,* ухватясь, ликуют,
Возможно ль не играть в свирель?

Везде растут; везде пьют луч
Червлены *Вакховы* плоды
На берегах иных потоков,
Бегущих в северных равнинах,
Вокруг сребристого топола
Иль осокоревых древес,
По гибким ветвям извиваясь
И восходя то к их вершинам,
То паки к корням нисходя,
Иль расстилаясь по долинам,
Или взбираясь на утес.

Я видел то, – я видел всюду
Сию природы резву роскошь. –
Там, – где струи Салгира томны
В теченьи сякнуть начинали
И где цветущи открывались
Сады князей сарматских в долах, –
Я здравие и свежесть пил
Из ключевых сребристых струй. –
Я зрел в одном пути вечернем
При берегах *Альмы* тенистых,
Что извивалися далече,
Прелестну тихую долину,
Где горделивые раины
Под ясной твердию стояли

И вертограды охраняли,
Как бы на страже великаны.
Сколь многие из сих раин
По сгибистым чертам пути
Еще издалека не редко
Выглядывали на меня
Из-за хребтов косых камнистых?
Подобну видел я долину
При берегах студеной *Качи*. –
Ночь хладна и тиха была. –
Одни бессонливые сычи
В тополовых густых тенях
Там жалобно перекликались
До самых утренних минут.
Какая сладостна дремота
Под сей высокою райной,
Что осеняла жалки, страшны
Развалины мурзы жилища? –
Час утренний рассыпал розы;
Станицы птиц к востоку мчались;
Я пробуждаюсь, – окрест вижу
Орешник, утром озаренный,
Над коим всё еще стоит
Зеленый страж, задумчив, горд,
Сей величавый столп раинный. –
Так здесь роскошствует природа.
Но при *Бельбеке* тихо-шумном,
Что меж холмами извивался,
Еще пред изумленным взором
Долина длинна и прекрасна
Открылася навстречу мне. –
Там от одной страны холмы,
Покрытые нагбенным лесом,
А от другой все обнаженны
Представились моим очам.
Какие долу дремлют чащи?

То темны вязы, то гробины,
То ильмы, то тенисты клены.
Меж ними тополы гордятся
Своим прямым сребристым станом.
На лоснящихся их листах
Сребро дрожаще отливает
При солнце каждую минуту. –
Там плющ, иль дикий виноград,
Ревнуя их густому злаку,
По ветвям крадясь святотатски,
Их жизнь и кровь их задушает,
Жизнь благодетелей своих,
И сам тщеславно простирает
Свой некий своенравный злак. –
Садоводители! – вы спите;
Почто сначала вы не тщитесь
Изгнать из злачного гражданства
Сих вредных, хищных, странных членов,
Сих своевольных повителей? –
Они, объемля чресла древ,
Их тонки жилы подавляют
И самый дух их умерщвляют.
Стесненны древеса, повесив
Подобо-длинны ветви ниц,
От облежания томятся;
Однак еще спускают свой
Навес зеленый над путем,
Еще с усердием радеют
Прикрыть своей густотенистой,
Своею благотворной дланью
Пришельцево чело от зноя.

Но в сих местах, – в сих землелогах,
Где дикая природа спеет,
Красуется жезл Вакхов в силе.
Я зрел, – так, – я повсюду зрел

Роскошны жертвенники Вакха,
А паче на брегах сих токов;
Я зрел плоды его душисты,
Каких *Шампания* надменна
Не в силах лучше произвесть.
Везде встречались олтари
Сего румяна божества,
Доколь рукав, что в *Ахтиаре,*
Пресек своею глубиною
Ряд теней *Елисейских* сих,
А с ними – *Вакховы* плоды,
Растущи при потоках сих.

Но здесь, в долине *Афинейской*
Они всегда под светлым кровом
Лучей отвесных пред полуднем,
Из недр песчаных выходя,
Между широкими листами
Лелеясь, не боясь полнощи,
Качают полносочны грозды. –
Прохладны, животворны росы
Воспитывают, совершают,
А солнца смешенны лучи
Благим наитием своим
Багрец приготовляют в соках
И кравчему в разборе вкус.

Вы, розоперые *дрозды*
И темноцветные *скворцы,*
Здесь превитающи в тенях!
Стремитеся отселе вдаль!
Здесь лакомство вам стоит жизни;
Ни милый цвет, ни мило пенье
Не защитит дней ваших кратких;
Летите в горные леса
От сих стрегомых вертоградов!

Пускай осенняя свирель
Дождется радостных часов,
Как под созвездием Весов
Исполненных златым плодом
Возвысит в песнях цвет багровый
Созревших гроздов винограда!

Что слышу? – грудь моя дрогнула;
Я слышу треск в лесу *раин*. –
Как ярко выстрел сей раздался!
Знать, бедной птицы кровь лиется!..
Почто ты, страшный гул, твердишь
Сии смертельные разы
И тщишься повтореньем треска
Меня уверить о убийстве? –
Ты возмущаешь глас *камены*;
Она клянет звероподобну
Бесчеловечность человека...

Когда светообразна *Дева*[1]
С крутым полетом знойных дней
Успеет года труд сокрыть;
Весы на равных чашах взвесят
В одной снопы, в другой туман;
А *поздо-цвет*[2] меж бледным злаком,
Тюльпаном выходя, предскажет
Грядущу пасмурную осень, –
Тогда, возлюбленный *Филипс*[3],
Певец британския *Помоны*,
Живописующий природу
В ея прелестной простоте! –

[1] Знак зодиака, показывающий август месяц.
[2] Colchique; Colchicum Autumnale.
[3] Английнский стихотворец.

О! – если бы я мог играть
В свирель приморску толь же нежно,
Как ты певал в своих садах!
О! если бы! – но глас мой слаб,
А ты, – а ты всегда велик;
Тогда учи осенним песням
Меж тем как пухлый сын *Семелин*[1],
Плющем власистым увенчанный,
Со мной омоет рдяну голень
В широкой *савроматской* кади,
Червленым соком обагренной,
Куда роскошна осень сыплет
Из кошниц полносочны грозды! –
Но если дух живый возникнет
Из искрометных струй вина,
Тогда как кравчий подносить
Начнет из рук своих багровых
Сосуды, полны крови *Вакха,*
И в тихом вечеру осеннем
Веселья круговая чаша
Ходить попеременно будет
Вкруг сельского стола простого,
В крови проснется спящий пламень
И будет тонко пресмыкаться
По нежным мозговым волокнам,
То, *Вакх,* не мни, чтоб я забыл,
Тебе всесожигая жертву,
Принесть другую тихим *нимфам*![2]
Ты пламенен, а *нимфы* хладны;
Две жертвы, вкупе растворенны,
Не помрачат душевных чувств;
Тогда пускай лесные силы

[1] То же, что *Вакх*.
[2] Под именем *нимф* здесь действительно разумеется вода.

Среди кустарников нагих
Восплящут на стопах косматых
И, выгружая острый сок,
Возвысят в топоте три-скок
На звонком косогоре брега
В хвалу *кишмиша* белосочна
Иль *асмы* крупной багроцветной[1],
Котора в оживленных мыслях
О розовых устах напоминает,
К каким в то время мыслим с жаром
Свои уста мы прилепить.

Ах! – сколь не редко здешни тени
В часы роскошны приглашают
К себе *аркадских* пастухов
И миловидных их пастушек? –
Но тут ни *Дафнисов аркадских*,
Ниже прекрасных *Амарилл*,
Иль их цариц сердец не видно.
Лежит божок румяный праздно
Под тенью топола иль вербы;
Сам капли слез горючи льет,
Рукою влажны очи трет.
Там брошен полный стрел колчан;
А здесь изломан лук повержен
С беззвучной дряхлой тетивой.
Любовь печальная чуть дышет,
Не резвится, или не пишет
На древе строк заветных сердца,
Или в часы вечерни лета
Из рук отважных не кидает
На полну белу грудь пастушек

[1] В *Таврии* много и других родов хорошего винограда; но сии два рода, *кишмиш* и *асма*, в *Судацких* садах самые лучшие и крупные.

Благоуханных *васильков*
И мелкоцветных *гиацинтов,*
И *незабудочек* прелестных,
Иль сельских и простых *румян*![1]

Здесь *скифски* смуглые селяне
Сидят с угрюмыми челами
Под тенью сочных виноградов.
Их *гурии* прелестны, – правда;
Но розы уст, багрец ланит
И алебастровые груди
Под кисеею погребают
И возраст часто сокрывают
В своей ревнующей *симаре*[2];
Хотя полвека бы пробило,
Но их морщины б, утаясь
Под *анатольской аладжей*[3],
Сокрыли б надпись: «*Помни Смерть*!»
А вместо бы того шептали:
«*Младый Мурза, не ошибись*!
А если – кровь кипит, – влюбись!»
Иль заключенные сидят,
Как бы *Данаи* в медных башнях,
Под стражею скопцов в *гаремах*[4].
Им неизвестны те беседы,
Где с недостатком совершенство
Открыто в просвещенном мире;
Лишь мыльня в вкусе *азиатском*
Роскошным служит им гульбищем,
Свиданья местом и бесед.

---

[1] Herbe au vipere; Echinum vulgare. – Сим цветком поселянки румянятся.

[2] *Симара* есть верхнее платье татарских женщин.

[3] *Аладжа* – материя турецкая.

[4] *Гарем* есть половина дома, определяемая для жительства магометанки.

Живые, резвы, нежны дщери
Давно подавленной *Эллады*
Возобновили б век *Аркадский,*
И каждая из них могла
Лице представить пылкой *Сафы*
Или *Эринны* и *Праксиллы*,
Или какой бы *ореады*
С полуоткрытой нежной грудью;
Но что суть *Греции* сыны? –
Рабы лишь ревности безумной,
Исчадья токмо *Симонидов,*
Анакреонтов, и *Вионов,*
И *Теокритов*, и *Фаонов.*

О вы, любезны *росски нимфы*,
На коих облеченна в снег
Природа на челе и груди
Взрастила вечные лилеи,
На коих дышущие розы
В ланитах и устах прекрасных
Дают законы *росским Марсам*!
Колико бы прелестен был
Сей милый *Херсонисский Темпе*,
Когда бы кровомлечный цвет
Лиц ваших здесь всегда блистал?
Румянец ваш и вздох любовный
Здесь равно б мог пленять сердца...
Ах! – сколько смертный тот счастлив,
Кому сей вздох и сей румянец
Признался б в сих тенях *Темпийских,*
Что ваше сердце ощущает,
Что вы умеете избрать
Любви приятнейши места! –
Или, – но умолчу ли я? –
О миловидная *Сашена*! –
Все звезды в севере блестящи,

Все дщери севера прекрасны,
Но ты одна средь них луна;
Твои небесны очи влажны
Блестят – как утренние звезды;
В твоих живут ланитах алых
Улыбки нежныя весны;
А розовые поцелуи
В устах любезных расцветают;
Но грудь; – о ты, тениста *Скромность*,
Вещай своим языком лучше! –
Колико б в сих садах блистали
И возвышали их цветы
Твои красы и ясны очи? –
Ты здесь конечно бы нашла
К своим услугам всю природу;
Здесь для тебя бы извлеченны
Из тайных жил хребтов металлы
Растопленные клокотали,
Преобращаясь в перстни, в кольца;
Здесь для тебя б в слоях кремнистых
Прозрачны капали кристаллы,
Готовя пышный блеск челу;
Здесь есть черепокожны желви[1],
Живущие в ущельях черных
Камнистого морского брега,
Которы бы рукой искусства
В зубчаты гребни превратились,
Что русы убирать власы;
Здесь для тебя бы хитры черви,
Питающися пряным злаком
На *Эски-крымских* шелковицах[2]
Чрез драгоценну смерть свою

[1] Черепахи.
[2] Таковые шелковицы более растут в Эски-Крыме, или Старом Крыме.

Уборы шелковые ткали;
Здесь капля б, некогда ниспадши
Из влажных облаков в коралл,
К твоим услугам онемела,
Простыла бы и пожелтела,
А после в пышном ожерелье
Сверкала жемчугом драгим.
Но ах! – когда бывало в жизни,
Чтоб бдительна моя *Сашена*,
Подобно как моя *камена,*
Полудни в утро променяла,
Чтоб сим нарядом заниматься? –
Кто сумневается о том,
Что все прелестны и блестящи
Произведения природы? –
Нет, – милая *Сашена,* нет;
Ты их живее и милее
В любезной простоте своей;
Ты, вставши с мягка ложа здесь
И с небрежением надев
На плеча белые одежду,
Тотчас летела б в *Афиней,*
Встречала бы восход светила;
Приморски ветерки, резвяся
В твоих каштановых кудрях,
Сгоняли бы с твоих зениц
Мечтанья остального сна;
А нежныя любви утехи,
Толпясь, вокруг тебя теснились;
Тогда, скажи, *Сашена,* мне!
Не лучше ли я при тебе
Дышал бы на свирели здесь? –
Ах! – ты весьма робка! – к чему?
Страшишься ль скорпионов неких?
Страшишься ль аспидов ты мнимых?
Не бойся, милая! – они

На неприступных высотах
Живут в расселинах глубоких;
Глава их гибка, полосата,
С острочешуйчатою кожей
Весьма, – весьма не часто здесь
Выглядывает из норы
И выставляет пестру спину
Иль шахматное, пего чрево.
Ужли страшишься желтшейных
Иль светлосерых ты ужей,
Иль желточревных длинных змей,
Или мохнатых пауков,
Или червей сороконожных,
Иль тех железоцветных жуков,
Что ослепляют иногда
На несколько дней взор пришельца
Своею жидкостию острой,
Разлитой по воздушной зыби? –
Не бойся, милая, – не бойся!
Они вредить тебе не смеют,
Напасть безвинно не умеют;
Они все кроются в ущелья. –
Твои прекрасны ноги могут
Ступать спокойно по цветам
И по зеленым тем долинам,
Где *труд* прилежный обещает
Весь истощить богатства рог. –
Ах! милая! – твоим бы взором
Искусства муз и рук дела,
Которы здесь еще немеют,
Могли конечно оживиться.

Иноплеменник! – путник! – зритель! –
Направь сюда стопы и зри! –
Се три подобия *Темпийски,*
Где самовластная природа

Умела щедро расселить
Все Малой *Азии* красы
Под твердью благорастворенной. –
Они, от *Форуса* начав,
До долов *Коза* и *Отуза*
Вдоль брега южного лежат
Перед утесами полкругом.

О вы, российски *аргонавты*!
Когда сечете черну бездну,
Ужли не будет любопытства
Простерти взор с страны пучины
И обозреть сей южный брег,
Исполненный чудес прелестных,
Который в пышности предстанет? –
Здесь вы дышать уже начнете
Азийским воздухом отменным;
Здесь *Анатолия* другая,
Иль Мала *Азия* цветуща
Возникнет вдруг пред вашим оком
С прекрасным, теплоносоным небом,
С журчанием *Меандров* мелких,
С картинными меж гор лугами,
С висящими лесами в тверди,
Со златоплодными садами,
С игрой природных водометов.

Тогда – как *Водолей* находит
Замерзши иногда струи,
Или тогда – как станут *Рыбы*[1]
Под сводом ледовитым плавать, –
Здесь леторасли, посмеваясь
Времен прещеньям своенравным,

[1] Под словами *Водолей* и *Рыбы* здесь разумеются знаки месяцов, генваря и февраля.

Зимою образуют лето;
Здесь бела буквица целебна,
Весенние шафраны нежны
С отвагой юности живой
На косогорах возникают,
И дубы мужественны в бурях
В седое зеленеют время
И твердостью своей гордятся,
Чела зимы не устрашаясь.

Там лавр вечнозеленый, стройный
Бессмертной славе подражает
Владык российских несравненных;
Здесь мироносная олива,
Смоковница, гранатно древо,
Каркас восточный[1] и курьма[2],
Остатки древних садоводцев,
Влекут взор, вкус и обонянье;
Там манноносная ясень,
Шалфее-лиственный ладонник,
Сумах[3], душистый скипидарник;
Здесь нард[4] и скаммонея вкупе
Готовят сокровенны пользы;
Там Малой Азии пришельцы,
Древа слабительны[5], пузырны[6],
А здесь древа клубничны тучны[7],
Что в высотах приморских скал,
Храня свои листы зелены

---

[1] Celtis orientalis.
[2] Diospiros Lotus.
[3] То же, что кожевенное дерево.
[4] Valeriana Nardus.
[5] Emerus.
[6] Colutea.
[7] Arbutus andrachne.

И рдяною корой гордясь,
В очах селян всегда смягчают
Угрюмое чело зимы, –
Все, все сии древа изящны
Открыто всюду возрастают. –
Орешники благоуханны,
Кизил, черешня, вишня, слива
Обычны рощи составляют
В приморских усыренных долах,
А каперсов кусты обильны
Без сеющей руки растут
В природных парниках близ моря.
Садовы, дики винограды
Наперерыв то вьются в верх
По возвышенным древесам,
То опускаются на низ,
То вновь подъемлются, цепляясь,
И с бековиною цветущей[1]
Самоохотно устрояют
Качающись беседки неки
Или цветущи плетеницы;
Но хитрая рука искусства
Ни мало неприсущна здесь.

С страны единой вид прекрасный
И вкупе грозный и ужасный
Теряющихся в тверди гор
И треснувших огромных скал;
С другой же тучны вертограды,
Естественные водометы
И многошумны водопады,
Повсюду прыгающие быстро
Сребристыми дугами с облак,
А там – необозрима даль

[1] Vitalba.

Бурелюбивого *Эвксина*
Изобразуют толь живые
И толь пленительны картины,
Каких ни хитрый пейзажист,
Ни острый сам перспективист,
Ниже воображенья сила
Во всем жару своем парнасском
Не в силах с живостью объять
Иль смелой кистью начертать;
Тут быть, – тут зреть, – тут ощущать
Со всеми чувствиями должно.

Простая жизнь нагорных *скифов*
Добросердечных, неразвратных,
Живущих в райских сих долинах –
Их хижины землей покрыты,
Полу-иссеченные в камне
По горным безопасным скатам,
Почти невидимы за чащей
Древес окружных многолистных, –
Стада их козлищ и овец,
Рассеянны в хребтах безмолвных,
И слышимый лишь звук свирели
Между пасомых стад под тенью, –
Все, все изображает здесь
Златое время естества,
Какое некогда бывало
В *Фессалии,* – в Темпийских долах;
Все здесь вливает в грудь любовь
К простой пустыне, к сельской жизни.

Ты, – бич племен, ужасна брань,
Что столько исказила мир! –
Ты, ухищренное коварство!
Ты, роскошь, праздность – мать пороков,
Одноутробных чад своих,

Что царствуют среди столиц! –
Вы здесь не можете возвысить
Обманчивой главы своей;
Прочь! – прочь отсель; – вы здесь враги;
Все, – кроме вас, – обрящут здесь
Мир, – благо, – пользу, – жизнь златую,
Художник, – рудослов, – певец,
Мудрец, – списатель, – фармацевтик, –
Друид, – пустынник и любовник, –
Пастух, – философ, – самодержец, –
Несчастный и счастливый смертный, –
Все здесь найдут изящну область
Для чувств, для сердца, для души, –
А некие из них – по свойствам
Быв очарованны природой,
Быв осененны миром божьим,
Среди уединенных гор
Решатся кости положить, –
Меж тем – как трудолюбной дланью
Могли б усыновить конечно
Полуденной *Европы* чад
Иль Малой *Азии* породы
Прекрасные, – полезны, – нужны
И плодовиты прозябенья.
Судьба! – благоволи о сем!

Неутомимая прилежность!
Дщерь нужды! – мать открытий важных!
Тебе сопутствуют конечно
Труд, пот и изнуренье сил;
Но ты, – ты ключ всех благ житейских
И опытов благоуспешных.
Вотще без помощи твоей
Мы носим семена искусств
В уме глубоко вкорененны;

Вотще находим мы запасы
Разлитые по всем частям
Неизмерима вещества;
Сонливость в мраке погребает
Все благости сии ростки.
Ах! – в сей стране природа щедра
Во всех роскошствует трех царствах;
Но без тебя плоды сих царств
Из рук ея простых исходят;
Одна она о них печется.
Ты здесь еще не воцарилась
И томности не пробудила;
Еще с довольным напряженьем
Механика не двигла сил,
Чтоб земледелье увеличить,
Чтоб здешни горы ископать;
Ах! – Неужель вотще в сердцах
Глубоких каменистых гор
Тучнеет мыльная земля[1],
Чем агнчее руно космато
Бывает чище и нежнее;
Чем дщери страстные *Агари*
Смягчают, нежат, омывают
Свои *эвеновы* власы? –
Ужли вотще кристаллы каплют
Среди расселин утлых гор?
Ужели *яшмовы* породы
Таятся бесполезно в темных
Пределах южного хребта! –
Ужли бесплодно истлевает
Слоисто гибкое стекло[2]

[1] На пути от *Карасу-базар* к *Судаку* при деревне *Суксу*, также близ *Инкермана* есть горы, где добывается сукноваляльная глина, не уступающая в доброте англинской.
[2] Слюда.

В горах над небольшим *Стамбулом*[1],
Ужли на берегах *Воспорских,*
На сих жилищах *пеликанов,*
Из сланых родников кипящих
Вотще крутится горно масло,
Которо в хижинах *сарматских*
В часы вечерние осенни
В светильниках горит возженно
И прогоняет скучну тьму?
Ужли на острове туманов,
В земле *Фанагорийской* тучной,
Над коей в пламенные дни
Подъяты из окружных вод
Висят паров густых озера
И долговременных туманов
В прохладу долов, в тук лугов
И в прок *меспилевых* древес?[2]
Ужли пучинны жерла тщетно
То черну изрыгают нефть,
То инде чисту вытопляют
И серны холмы возвращают! –
Как? – рудокоп еще молчит!
Ужли вотще цветы целебны
И здравы былия растут?
Ужли душа напрасно гибнет
В *трилистном* злаке *донника,*
В *веронике* и *ангелике,*
И в *риндере* новооткрытом[3],
И в цветогроздном *фитолакке*[4],
Сем выходце *американском,* –

---

[1] Турки называют *Кафу* малым *Стамбулом.*
[2] Nesslier; Mespilus pyrocantha.
[3] Rindera tetraspis; недавно найдена.
[4] Morelle a grappes; phytolacca decandra.

В плодах вечнозеленых *лавров*,
В *ясенях* и *фисташках* пряных,
В нетленных *тисах, бузинах,*
В *пузырном* древе иль *акаций*![1]

Чего б искусна пересадка
Или прививка не родила? –
Но ботанист и фармацевтик
Не ведает, проходит мимо;
А вас, красавицы, лишает
Бальзамных драгоценных масл,
Толь дорого из дальня *Кипра*
С трудом великим вывозимых
Для умащения кудрей. –
Ужели солкие растенья
Готовят тщетну снедь для агнцов,
Которых сонм уже редеет? –
Ужли зелены домы всуе
Растут для шелковых червей?
Почто шумящи пчел рои
Сосут из лучших былий сок,
Коль мед их в прахе погибает?
Почто крылатые пришельцы
Из дальних гнезд дубрав *Азийских,*
Иль от брегов зеленых *Нильских,*
Или с крутых вершин *Альпийских*
Здесь часто горы посещают,
Когда зоологист сего
Не ведает, – проходит мимо?

Неутомимая прилежность,
Дщерь нужды, – мать открытий важных,
Богатств источник неоскудный!

[1] Colutea arrborescens.

Чего бы силою твоей
Природа здесь не даровала
В сугубой щедрости своей
Для всех *Аконтиев, Кидипп*? –
Она готова; – лишь подпоры
От рук искусства ожидает.
Да, – неки из усердных
Россиян мудрых простирают
К природе вопиющей длань;
Но кто с толиким рвеньем духа
Лелеять может здесь природу,
Как ты, трудов ея помощник,
Знаток цены ея, N...?
Когда воспламененный *Сирий*
Часы горящи низведет,
Ты ищешь теней благотворных
Для оживления досугов
На берегах *Эвксина, Качи*
Иль в *Афинейских* вертоградах;
Как там ты шествуешь безмолвно
По тучным долам и в дубравах!
С коликим услажденьем сердца
Остановляешься при холме,
Отколе прыгая стремглав,
Струи сребристы говорливы
Являют прямизну блестящу
Твоих спокойных, тихих ходов,
Где над подлесными древами
Бесчисленны полки *раин*,
Как *Исполины* меж *пигмеев*,
На разных дальних расстояньях
Вздымают гордые главы,
Где ты под тенью злачной ночи
Проходишь философский мир,
В котором возникают цепью
Беспрерывны чудеса

Пред кротким оком мудреца,
Иль обращаешь взор плененный
К утехам сельского ты мира,
Где год беременный желтеет,
Где труд его цветет и зреет;
С каким? – с каким ты восхищеньем
Приятный шум трудов внимаешь? –
С каким весельем созерцаешь,
Что на твоих браздах зеленых
Растут сторичные плоды
И нудят к щедрости *Плутуса,*
Которого с стуженьем сердца
В полях ты молишь непрестанно?
Но если все твои сады,
Твои желтеющие нивы
Плодом сугубым чреватеют,
То сим обязаны они
Твоим лишь бдительным очам. –
Да, – все поля твои прелестны;
И нивы тучны все окрестны;
Здесь дышут райски земелелоги;
В садах щебечут птиц стада;
Ключи несут в струях здоровье;
Все здесь прекрасно; – все здесь мило;
Но что мне в том? – здесь все уныло;
Чего-то нет, – подруги нет...
Тебя, *Сашена,* – сердца свет! –
Не красны без тебя здесь нивы,
Ни вяз, ни Вавилонски ивы,
Ни лики птиц не говорливы;
Природа, – а с природой сердце
Уединенны без тебя.

⟨ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ⟩

Содержание

Сила полуденного зноя. – Горячий ветр. – Желание быть при хладных увалистых горах. – Убежище от жара в пещерах. – Вид праха и костей. – Размышление при сем. – Отдых двух кадизаделитов, которые в сии места преселились и сделались пастухами. – Их песни. – Встреча с спящим шерифом. – Изъяснение его в песнях о древности Таврического полуострова.

Уже колеса раскаленны
Пламенноносного светила
Над головою возвышенны
Вертятся в крутизне полден;
Горящи с них струи текут
Огнепалящим водопадом
На темя томное мое. –
Вотще взор в землю поникаю
И помощи там ожидаю;
Кипящие пары, бегущи
Из скважин преющей земли,
Над коей тонкие частицы
Волнистою струей мелькают,
Надежду гонят прочь далече
И возмущают размышленье.
В лугах открытых прозябенья
До корня жгомы упадают. –
Не слышен звук косы кривой;
Косец бежит в вертеп сырой
Или ложится в хладну тень
Душистыя скирды высокой. –

На мертвом поле все молчит;
Кузнечик токмо лишь сверчит.
Все птицы в кущи улетают;
Один орел, разинув нос
И длинну дуба ветвь потрясши,
Крылами быстро рассекает
Жегому зноем поднебесну
И проницает область света?
Стада в *Салгире* погруженны
До половины все стоят.
Елени быстры, дики серны,
Рогами подпирая ветви,
Бегут под сосны иль в ущелья;
Но на безлесистых степях,
Где нет ручьев, – скудеют урны,
Как страждет тамо естество?
Огромный буйвол, слабый меск,
Верблюд двухолмный подъяремный,
Стоя при кладезях глубоких[1],
Где исчезает в взорах влага,
Терпенье часом измеряют,
Пока из бездны хладны воды
Самих их силой извлекутся,
Чтоб утолить гортань горящу. –
Ручьи катящися из скал,
Своих не достигая устий,
На половине сякнут тока;
Вотще желают с нетерпеньем
Препрыгнуть знойны перелески
И течь под тенью темных буков.
Увы! – природа удрученна
Трепещет в полдень, – страждет в зное.

---

[1] Поблизости *Кезлова* есть колодези глубиною до 50 саженей с чистою пресною водою.

Но не единый зной в стране
Свое упорство возвышает;
Другий в стихиях демон мести
Летит среди осенних вихрей.
Какой тогда горящий ветр
От тех пределов восстает,
Которые лежат далече
Меж южным и вечерним краем?[1] –
Вотще, напыщившись, *Эвксин*
Волною тщится остудить
Шумящий в воздухе сей пламень. –
Он в лоне хлада носит зной. –
Ужели от горнил небесных
Здесь толь же огненная буря
И толь же смертоносна дует,
Какая свирепеет там,
Где славны *Киры* подавали
Законы *Азии* подвластной,
Где сын *Филиппов* доказал,
Что он *Аммонов* также сын,
Где царствовали *Шах-Аббасы*
В объятиях спокойных мира,
Где *Кульханы* разъяренны
В себе открыли тех бичей,
Каких *Бог сил* послал на землю
Карать трепещущи народы? –
Нет, – буря в сей стране
Того вреда не производит,
Как на полях восточных дальних.
Пустыни терпеливый сын,
Верблюд не столь страшится жажды,
Как под *чертою светоносной,*
Где средь песков каленых сохнет

[1] Сей жаркий ветер случается осенью и всегда дует от пределов *Персии* через море.

Гортань его от пылких вихрей. –
Вотще колена он сгибает,
Чтоб бурна полоса прошла
Безвредно над челом его;
И он, и всадник погибают
С пришествием палящей смерти;
Но здесь коликое пространство
Сей ветр над бездной протечет?
Колику меру зноя должен
От хлада моря уменьшить!
И в сем счастлив наш *Херсонис*. ..
А там, – а там в сии часы,
Как здесь кипяща сила рдеет,
Там, где пламенноструйно солнце
Отвесными лучами жжет
Под знойным поясом живущих,
Что ощущает естество? –
Не можно выразить тех мук,
Какие чувствует там грудь! –
Что в том, что горы возвышенны,
Восшед к *экваторским* вершинам,
Из недр своих ключи струят
И злато в их струях крутят!
Последне счастье – что с собою
Паляще солнце над главою
Из утренних выводит врат
Для прохлажденья зноя ветр! –
Но счастие сие – надолго ль?
Что в том, что в *Сеннаарских* долах
Млеко и меды самородны
На мхах пушистых протекают
Иль на равнинах *Абиссинских*
Пески златые искры мещут?
Или, где *Нил,* владыка рек,
Крутясь из двух исходищ мрачных
В горящей области *Гояма*

И озеро прошедши светло
В гордящейся красой *Дамбеи,*
Течет через пески сыпучи,
И вдоль *Нубийских* диких гор,
Клубя валы из полной урны,
Багрит *Цереры* юный плод!
Что в том, что в искрометном свете
Голкондские блестят алмазы
И слезного *Потоза* руды,
Где жили мирны чада солнца? –
Что пользы в рощах благовонных,
Иль в злате, иль в кости,
Когда затворено там небо? –
Там раскаленна медна твердь
И степь обширная железна
Лишь в жажде, голоде мертвеют,
А пылки стрелы *Аполлона*
Приносят пламенную смерть.

Непобедимый, сильный зной!
Ах! – воздержися в сей стране
И каплей пламенных не лей
На страждущу мою главу!
Конечно, – лют в дни зимни мраз;
Но ты еще его лютее,
И я отсутствия зимы
Гораздо меньше бы желал,
Чем приближения ея. –
Куда сокрылся ветр полночный?
Ты, коего природа щедра
Послала в непреложный дар
Сей области благословенной,
Когда, – когда ты изменял?
Стремись! – от севера стремись! –
Лети, – дели в долине силу
И силой воздух остуди!

Не тщетно ли я воздыхаю
И с сокрушеньем вспоминаю
Осенни тихи те часы,
Когда в других крутых климатах
Туманы, бури и дожди
Вкруг солнечных колес виются,
А здесь тогда погода тиха
При благотворной теплоте
Зовет на шелковы луга
Или на усыренны горы,
Там, где шафран напоминает
Еще весенни красоты,
Где резвых бабочек четы
Еще любовь возобновляют,
Еще натура в них играет
И, с ризы Флоры сняв узоры,
Разрисовать их крылья тщится?
Не тщетно ль призываю нощь?
Она далече отстоит;
А час жарчайший близок, – близок!
Что может отвратить власть солнца,
Которая поля открыты
В разливе знойном потопляет? –
Она неукротима – пусть! –
Я в недрах гор могу сыскать
Остаток утренней прохлады.

О ты, ужасный *Агермыш*![1] –
Как хладен тонкий воздух твой! –
Как воет над тобою ветр,
Из грозной исторгаясь хляби?
Ты зришь всегда перед собой
С своей дымящейся вершины
Три в бурях ропщущи пучины;

[1] Гора с увалом близ Старого *Крыма*.

Меж их *Воспорский* полуостров
Лежащ к востоку протяжен;
А долу средь развалин дряхлых
Давно седеющий *Крым древний.*
Давно он ветх, давно оставлен;
Но тучные луга и нивы
Всегда волнуемы зефиром,
И многоцветны вертограды
Еще юнеют каждый год,
Еще лилеи белы[1] дышут
И посреде пустынь смеются;
Там *тутовые* древеса[2]
Раскидывают те листы,
В которых драгоценный червь
Свое питает бытие
И, испуская нежный шелк,
Между трудами умирает;
Нет, – он лишь токмо засыпает
И, шелковый расторгши гроб,
На юных крыльях воскресает;
Там, – там уже я зрю его
Секуща тонку жидкость света
Над гробом, тканию обвитом!
Как драгоценен гроб его? –
Он есть блестящий тот источник,
Отколь сокровища идут,
Для мудрого щиты от громов[3],
Для нимф уборов цветны горы.

О сколь блажен тот, кто восходит
Сквозь чащу ивовых кустов
На верх твой гордый, *Агермыш,*
Восходит сим горящим часом,

[1] Сии лилеи только там растут.
[2] *Тут,* или шелковичное дерево.
[3] Известно, что электрическая сила не проницает шелковой материи.

Чтоб насладиться хладом тем,
Который из бездонной хляби
Между иссунутыми выспрь
В твое отверстие скалами
Студеным ветром дышет с шумом;
Он благородно презирает
Нелепы мысли *савроматов,*
Что, мня быть царству там духов,
Трепещут приступить туда;
Тенар ли там? – иль *Ингистан*[1],
Где вечный лед, где вечна ночь,
Где мразный тартар обитает? –
Он всходит смело – и тогда
Сидит в тени близ края бездны,
Иль миновав крутые горы,
Стоящи как отвесны стены,
Где черный *Кара-су* течет, –
Взбирается на ту громаду,
Где величайша страшна бездна[2],
Устланна камнем изнутри
Меж остроголыми слоями,
Стоящими столпообразно,
Спускаясь вниз крутым утесом,
Ледник вмещает самородный;
Там по отшествий мразных дней,
Когда растопит дух весны
Лежащу зиму на вершине,
Обрушиваясь токи в бездну
Внизу находят новый мраз,
Немеют, стынут, леденеют
И вечну утверждают зиму,
Куда ни солнце в знойны дни,
Ни теплый ветр не навещает.

[1] Слово татарское, значущее ад.

[2] Отверстие сего величайшего увала на одном высоком утесе близ *Карасубазар* в окружности около 40 сажен.

Но как приступит он теперь
К сей страшной пропасти горы? –
Он не отважный *Эмпедокл,*
Не *Плиний* и не дерзкий *Курций.* –
С сей высоты враги *Гирея*
Полками вержены вниз были;
И кто, – какая бы судьба
От жалости дала крыле,
Которые бы поддержали
Несчастного в полете смертном? –
Летит стремглав лишенный чувств;
Тут воздух пружится и свищет;
Подпора слабая! – несчастный
Летит и рассекает вихри;
Падет на камни; бледны кости
Разметанны дробятся врозь;
Смерзающаясь кровь валит;
Дрожащий брызжет мозг по камням;
Весь вид рассыпан человека;
Вот он? – ужасная картина!

Но да проникну в мрак густый,
Где свет отсутствует дневный
Среди расселин углубленных
Хребтов крутых уединенных!

Красуйтесь, благотворны тени,
И вы, прохладные навесы,
Вы, столповидные раины,
Почтенны дубы старолетны
И дремлющие сосны, буки,
Венцы холмов приосененных,
И вы, обители пророков,
Певцов, *гимнософистов, магов,*
Платоников, друидов, бардов!
Красуйтеся, священны храмы,

Чертоги мыслей вдохновенных!
В сии палящие минуты
Весьма мою пленяет душу
Уединенна ваша тень!
Почто ж я медлю? – се пещеры,
Где, мнится, от начала мира
Прохладна мрачность водворилась
И вечну заключила дверь
Текущему с эфира зною!

Ужасны, как разверсты тучи,
Керманские вдали хребты;
Не видно никаких стезей
По каменистым крутизнам,
Кроме следов коней *сарматских,*
Которые одни умеют
Пробраться равновесным шагом
По тем ужасным крутизнам,
Отколе взоры непривычны
По скату, как крутой стене,
В глубоку пропасть упадая,
Мутятся и дрожат в закруге. –
Бесчисленные пустоты
В утробах тощих гор темнеют! –
Но там еще красы сокрыты;
Там свежие ключи журчат;
В стенах блистают *остраниты,*
Кораллы, гладкие *грифиты*
И черепы морских червей. –
Прошед *Бахчисарай* цветущий,
Почиющий среди долины
В садах ясминных, виноградных
Под тению хребтов навислых,
Надменных разнотою древ,
Проник бы я и в те пещеры,
Что там темнеют в высоте,

На коей дремлющий *Мангуп*
Теперь в развалинах плачевных
В остатках вертограда спит;
Иль в *Тяпикермански* вертепы,
Зияющие из горы,
Подобной круглому столпу;
Но ради утомленной песни
Один предмет душею будет:
Многопещерный *Инкерман,*
До облак мрачных восходящий
Стремнистым и крутым утесом,
Где естество, трудящесь вечно,
Как праздности всегдашний враг,
Рождает в целых горных пряслах
Селитряное вещество
И, тем снедая их, – готовит
Иные роды пользы нам. –
Где перст, с вершины сквозь скалу
Прорыв далекодонный кладезь[1],
Открыл в глубоком недре ключ
И где иссек в едином камне
Столпы, купели, олтари,
Изображенья и беседки.

Еще кипит час лютый зноя. –
Ах! – убежим в един вертеп
И исцелим томящусь грудь
Врачебной тению под сводом!

Высок, – весьма высок утес;
Но высота не возбранила
Пучины чад усыновить
К расселистым твердыням камней;

---

[1] В бывшей *Инкерманской* крепости на горной вершине, более 50 сажен идущей снизу до верху, был удивительный колодезь; но теперь до половины завален.

А как? – когда? – недоумею. –
Се – в толще стен их каменеют
Различные животных виды!
Там каменный я вижу стол,
А здесь подобие седалищ. –
Какое зрелище? – и здесь
Дышали древле племена! –
Здесь виден выдолбленный жолоб,
Водохранилищем служивший,
Куда из тайных родников
Текли струи для напоенья;
А тамо в впадинах стены
И на помосте сем в наш рост,
Или в природную сажень,
Сквозь землю смурую желтеет
То череп с челюстью зубчатой,
То голень, то изрыты ребра.

О страшный вид! – о мрачны гробы,
Где прах почиет бездыханный! –
Там спят ли чада сей пащеры? –
Да, – тамо спят они мирнее,
Чем жнец, почиющий на дерне!
Ах! – может быть, сие чело
Вмещало Ангела ум тонкий!
Ах! – может быть, лежит тут сердце,
Пылавшее огнем небесным! –
А тамо – может быть, простерты
Отважного героя мышцы! –
Быть может, – некто *Ибрагим,*
Анахарсис или *Гирей*
В сей черной впадине согнил. –
Увы! – ни дружеска слеза,
Ниже девические вздохи
Еще не проводили в гроб;
Ни позлащенная резьба,

Ни надпись здесь не вопиет
О имени, – о днях его. –
Он спит неведом; – что в том нужды? –
Его блаженство некрадомо. –
Но кто бы тут ни опочил,
Уж рання птица никогда
Не будет пробуждать его
От каменистого одра;
Ни утро глаз не освежит;
Ни вечеряющее солнце
Не вызовет его из мрака
Под тиху тень смоковниц тучных
Сидеть на свежем маёране. –
Сия уединенна урна
Уже не воззовет опять
Дыханья в прежнее жилище. –
И самый – ах! и самый червь,
Который поядал их персть,
Стал пылью рухлой, – стал землей.

Так я под мрачным свесом свода
Уединенно размышлял. –
Унылость сладостна, разлившись
В меланхолической душе,
Все внешни чувствия объяла. –
В сих мыслях далее простерши
Стопы дрожащи по пещерам,
Я вдруг услышал к удивленью
Вдали отзывистых углов
Божественную неку стройность;
То, кажется, был глас *гитары*.
«Итак, – я изумясь помыслил, –
Не я один пещер сих гость;
Се! – тамо, мнится, тени ходят
И шумный воздух разделяют! –
Иль духи из гробов восстали

Для посещенья старых мест? –
Иль пробудился спящий *гул*,
Сын камени, – сын древних песней? –
Но что такое вижу там? –
Там отдыхают пастухи
И отдых пеньем услаждают! –
Чу! – как один играет там
На звонкой, сладкострунной *желви*![1]
Как быстро говорливы персты
Перебегают по струнам? –
Вот! – где рука языком служит!
Вот! – где волшебство мусикии
Влечет к себе плененный дух! –
Пусть ближе стану я туда
И буду в тишине внимать! –
Какая томна песнь!.. но стройна!»

1 кадизаделит[2]

Сирена! – прочь с опасным гласом! –
Ты дышешь адом; – не дыши!
Пусть здесь я воспользуюсь сим часом,
Здесь зрю училище души,
Где Ангел смерти непрестанно
Сквозь мрак крылами веет тайно.
Паситесь, агнцы! вы в тенях
На маёранных муравах!

---

[1] *Желвь*, старинное, первообретенное музыкальное орудие, деланное из черепашьей кости, которое римляне называли *testudo*, что значит черепаху.

[2] *Кадизаделиты*, род стоического толка между магометанами. Они чрезмерно важны и строги во всем; те же из них, кои живут близ Венгрии, во многом согласны с христианами и читают Библию на славянском языке. См. *Англинской словарь* г. *Бейля*. Сии давно поселились в Таврии и провождают пастушескую жизнь.

Пускай я здесь дышу прохладой! –
Паситесь вы! – а ты, зной лютый, –
Не смей теперь с высот проникнуть
В сии священнейшие мраки!
Я воспою безмолвно царство
И прах сих праотцев почивших;
Они еще и по кончине
Здесь учат горных пастухов. –
Так, – праотцы сюда в дни мира
Ходили тайнам поучаться;
Сюда ходили забывать
Все то, что к миру пригвождало. –
Но днесь все здесь отверстый гроб;
Все мысль мою остановляет. –
Начав с последнего полипа
До человека мертво все. –
Возможно ли открыть причины,
Почто здесь горы разрушались?
Почто водныя чада бездны
Поднявшись с камнями слепились
В едину меловую плоть
И плоть составили утесов. –
О коль сей странен образ смерти! –
Но коль и страшен для сердец?

Ах! – где моя *Замбека?* – где?
Сей голос был бы ей ужасен;
Однак она бы, притаясь
Там под смоковничным кустом,
Вторила бы, как нежно эхо,
Подвигнутое песни силой:
Что не поешь, мой друг, мой милой!
Что нашей не поешь любви?
Сию, – сию песнь обнови? –

2 кадизаделит

О странник? – прииди сюда
Учиться мудрости в пещере! –
Твой путь еще не совершен;
Твой дом отсель еще не виден. –
Сядь, честный странник! – отдохни
На сей коралловой скамье!
А если хочешь, то усни! –
Здесь кости брата твоего
В глубокой тишине лежат. –
О! – видишь ли ты здесь фиалку
При входе в храмину растущу
Под тем *кизиловым* кустом?[1]
Сей нежный образ краткой жизни,
Чело склоня свое от зноя,
Мне мнится, зною вопиет:
«Оставь меня! – не жги меня!
Не жги, – о смертоносный зной! –
Пускай небесная роса
Кропившая меня чрез ночь
Еще мою главу омоет! –
Уже близка минута та,
Когда должна увянуть я;
А ветр подует и развеет,
Как перья по пескам сыпучим,
Листы поблекшие мои. –
Сегодня в полной красоте
Меня в сем месте странник видит;
Заутра возвратится он;
Его глаза меня здесь взыщут
Под самым тем густым кустом,

[1] *Кизиловое* деревцо приносит ягоды весьма похожие на барбарис по цвету, несколько по вкусу и статности, но только гораздо крупнее, так как и Крымская рябина.

Которой украшала я;
Но тщетно будет взор искать...»

Ах! – где моя *Сульмена?* –
Я ей сказал бы: ты, *Сульмена,*
Во всем подобна сей фиалке; –
Но как могу сказать сие? –
То было б многих слез ценой;
Она сквозь слезы б повторила
Звук песни сей постылой:
Почто крушишь меня, мой милой! –
Цепь нежну сладких дней храня,
Ах, милой, – не слези меня!

Оба

Так, – ввек не будет сей фиалки;
Где *Флоры* дщерь? – где сын *Минервы?*
Вотще между костями странник
Миртисы иль *Стильпона* взыщет;
Нет знаков, кои бы сказали,
Где их глава лежит бесценна. –
Тут слезы по его ланитам
В потоках долу покатятся. –
О! пусть они осеребрят
Своей струей сей дикой камень,
Где брат его смиренно спит
До утра – утра вечной славы,
Замбека и *Сульмена!* там,
Где будете в числе вы *гурий.*

Так пели горны пастухи,
Как вдруг является тут старец
И с ним возлюбленный питомец.
О! Это самый тот *Омар,*
Шериф, почтеннейший тот старец,

Которого я видел
При свете утреннем молящась!
Он спал при каменной скамье;
Но звук пресек последний сон,
Который пролетал над ним.
«Мир вам и песням, чада гор! –
Сей старец с чувством возгласил, –
И здесь еще есть плоть и кровь;
Кто вы? – любезны чада плоти!»

Кадизаделиты

Мы пастухи.

Шериф

Отколе вы?

Кадизаделиты

Вот там внизу лежит селенье,
Где я и он живем в двух кущах!
Благое небо – кущей кров;
Цветуще поле – их помост;
Вокруг покой, – внутри любовь;
У нас *визирских* нет *гаремов;*
Ах! – мы двумя любимы нежно,
Замбекой – я, *Сульменой* – он,
Любимы нежно; – что же больше?..

При сем сердечном слове: *нежно,* –
Мурза вздохнул, – вздохнул двукратно;
Он вспомнил *Цульму* – и вскричал:
«И мне так должно быть счастливым;
Ах! как счастливы вы? – скажите,
Кто вас учил так петь приятно?
Не брат ли лунный, или солнце?»

1 кадизаделит

Природа, – так, – одна природа.

Другой

Однако мы, в летах младых
В *Элладе* и *Аравий* быв,
Учились и познаньям неким;
Но им природу предпочли.

Шериф

Песнь ваша стройна и разумна;
Ах! – как пленительна она!
Как проницает спящи чувства!
По цели сих приятных песней
Вы зритесь пастыри и мудры.

Кадизаделиты

Не искушай хвалой, почтенный старец!
Но просим – удостой ответом,
Отколе ты? – и как названье?

Шериф

О пастыри, какая лесть при гробе? –
Слыхал я песни – там искусство,
А здесь природа водит персты! –
Да будут здравы ваши персты;
Так мира гражданин нельстивый,
Шериф, уставший в странствий жизни,
Желает вам во всем успехов;
Но вы меня не обвиняйте
В толикой слабости плотской!

Оба

Ах! – можно ль то помыслить?
Ты, статься может, издалека!

Шериф

Я, возвращаяся из *Мекки,*
Спешу в дом матери моей;
Но сила зноя разлиянна
Принудила меня искать
На сей *коралловой* скамье
Для томных стоп отдохновенья.
Лишь воздал я благодаренье
К ближайшим небесам *Аллы,*
Мои изнеможенны кости
Почувствовали свой покой,
Почувствовали силу песней;
Вы вопрошаете о мне! –
Я вам поведаю сейчас,
Кто я? – отколе? – и куда? –
Внимайте мне! – и ты, Селим!
Тебе давно я дал обет
Поведать в некий час досужный,
Где было утро дней моих
И как грядущую ко мне
Я встречу смертну нощь мою;
О нощь – ужасная, – необходима!

«Шериф почтенный! – рек *Мурза,* –
Пусть смертна мысль других тревожит
Среди очарований дней!
Но не тебя; – она стон умножит
Лишь в том, кто забывает смерть.
Тобой, – тобой я научен
Из мыслей не терять ее. –
Так, – ты с тех пор, как вел меня

В *Мединский* град от сих пределов,
Досель отсрочивал вещать
Историю своих дней мирных;
Вещай нам ныне! – час благий;
Се я – и пастухи внимаем!»

«Тебе известно, – отвечал
Шериф с глубоким воздыханьем, –
Что я в *Натолии* цветущей
Приял начальное дыханье;
Там свежу юности слезу
Я испустил среди пелен.
Вот, где моих дней утро было! –
Светильник благости *Аллы*
В сем утре так сиял на мне,
Как нынешний востока луч.

Достигши точки полудневной, –
Как под отеческим призором
Искусствам бранным научался, –
В меридиане дней моих,
Избрал себе я жребий браней
Во славу веры и Пророка;
Давно и сей огонь погас;
Всему предел, – всему – свой час;
Свет опытов открыл мне взоры;
Я обратил их в вечны горы;
Я посвятил себя *Алле*.
Я все презрел начала *Аты*[1];

[1] *Абдул Ата* был начальник натольских дервишей, современник Тамерланов. Сей герой, видя его зарытого до ушей, а учеников его полунагих в рубищах, изображающих голосом какого-нибудь животного, спросил: «Так ты-то новый бог животных?» – «А разве ты не господин земли?» – сей отвечал. «Да хотя и так, – сказал Герой, – но земля в сравнении неба менее камышка моего перстня в размере с самым кольцом; дивно ли, что я царь сей песчинки?» – «Ну так чудно ли, что я бог видимых тобою животных на сей песчинке?» – подхватил *Ата*.

Оне нелепы, смехотворны.
Он бог среди своих *дервишей,*
Но мерзок мудрости в очах;
Он хитр в понятиях и ловок,
И вдруг безумен, богомерзок;
Искусно он лице представил
Перед лицем *Темир-Аксака.* –
Зарывшись в землю до главы,
С растрепанной брадой, власами
И с сжатыми притом глазами
Среди своих *дервишей* грязных,
Полунагих, разноревущих,
Перед очами *Тамерлана*
Он будто мудро бормотал,
Как прорицалище ужасно;
Умел в свой плод преобратить
Вопросы самые Героя
И отвечал ему счастливо;
И что ж? – Герой тогда дивился
И покивал главою токмо...
Ученики его мне льстили
И славили премудрость *Аты;*
Я все презрел начала *Аты;*
Прибегнул к *муфтию;* – о счастье!..

Великий *муфтий,* райский вождь,
По мудрости... избрал меня
Наставником брегов *Эвксинских.* –
Я стар; – лишась давно супруги,
Лишась любви залогов верных,
Оставлен лучшими друзьями;
Что должен делать я иное?
Я поспешал в сии места,
Которы праотцы премудры
Стопами древле освящали;
Спешил повергнуть там печали,

Какими страждет грудь моя,
Потом – отсель отъити с миром;
Но вдруг Пророка тень во сне
В едину нощь вещала мне:
«*Шериф!* твой Праотец услышал
Твою усердную мольбу;
Еще светило отступило
Назад на двадесять степеней;
Еще *Алла* к твоей дней мере
Приумножает двадцать лет. –
Гряди – и обозри всех верных
На стропотных брегах *Эвксина*
И средь *Таврических* вершин!»

Тут, в изумлении воспрянув,
Я пред *Аллой* поверг чело. –
Тогда мне осмьдесят лет было;
Но с приобщением других
Познав в стопах я новы силы,
Спешил святой налог исполнить. –
Я шел по берегам *Эвксина*
И нес собой Пророка глас
До бурных *Меотийских* вод,
Где *Джамбулукски, Эдишкульски*
И *Эдизански, Аккермански*
Станицы процветали в славе;
И наконец – прешед *Кавказ*
И шую *Миуса*[1] страну,
Где многозлачная пустыня
Покрыта снежною кавылью,
Что стеблем зыблет помавая
Всегда вершинки седоперы
И домы тысяч птиц хранит,
Пришел с пророческим уставом

[1] Река, впадающая в *Азовское* море.

В сей знаменитый *Херсонис.* –
Тут я познал глубоку древность
Сего камнистого предела;
Учился нравам и умам;
Сердца к Пророку привлекал
В угодность призраку его. –
Но все его предлоги сильны
Имели слабый здесь успех:
Я тысячу нашел в пути
Сильнейших бедствий и прещений. –
Потом, тебя узрев, Мурза,
Услышал я с восторгом духа,
Что ты меня избрал в отца. –
Се холм еленей! – здесь, Мурза,
Я в первой раз тебя узрел. –
Ты одолел себя – и, брак
Отсрочив, – убедил меня,
Чтоб *Магометовы* останки
Вторично посетить в Медине. –
Се! – наконец мы паки здесь! –
Но я третичный путь приму
И там близ Праотца умру. –
Увы! – последний жизни год!..»

«Премудрый старец! – рек Мурза.
(Мурза сам в мудрости наставлен.) –
Да будет благ святый твой путь!
Да будет спутником тебе
Хранитель Ангел, Страж небесный,
И оградит тебя от стрел,
Летящих в тьме и сени смертной! –
Когда достигнешь в третий раз
Сея священныя *Медины,*
Дерзну ли заклинать еще
Тебя я именем Пророка,
Чтоб тамо ты принес мольбу,

Да буду здрав душей и телом,
Да нивы каждый год мои
Произведут сторичный плод
И зрелый виноград прольет
Багровы токи пенных соков? –
Но ты, Шериф, не возбрани
Младому юноше спросить! –
Когда *Алла* велел тебе
Идти в сей славный *Херсонис,*
Почто ты не избрал других
Путей кратчайших для сего? –
Я зрел на чертежах вселенной
Ближайший путь сюда чрез море. –
Не страшно ли для дряхлых дней
Прейти камнистые хребты,
Прейти Донские берега,
Где некогда *Орфей* печальный[1],
Что прежде из грубейших скал
Извлечь умел потоки слез,
Сам плакал средь глухих пустынь,
Оплакивая невозвратну
Потерю милой *Эвридики,*
Подобно нежной Филомеле,
Лишенной бедного птенца? –
Не страшно ль проходить то место,
Где ратоборцы полуночны
Столь часто шумны движут стопы
По пламенным стезям *Алкида,*
Который некогда исторг
Злосчастна узника из цепи,
Привязанна к горе *Зевесом,*
Где *Прометей* уже не моет
Слезой *Кавказского* хребта;

---

[1] Кн. IV о земледелии. – Виргил⟨ий⟩.

Уже умолк стенанья глас,
Который меж пустых утесов
Столь часто, – столько долго выл».

«Сын мира! – старец отвечал, –
Что быть спасительнее может
В юдоли мрачной жизни сей,
Как преломленные лучи
Собрав из посторонних светов
И в точку их соединя,
Чистейший свет из них устроить,
Потом – к себе его присвоить,
Да светит в нравственном он мире.
Но собирать их – лучше там,
Где нет обманчивых паров
Или огней гнилых и ложных. –
Ах! мой *Мурза?* – как нужны знанья,
Которы странник почерпнет
Из разных душ иноплеменных?
Но только – должно быть пчелой,
Избрать сок чистый из всего.
Что дальности? – они лишь страшны
Для нежных *сибарита* стоп.
Мы все пришельцы – ты и я;
Вселенна – поприще для нас;
Отечество не здесь, – но там...
Да, – мог бы я избрать конечно
Кратчайшую стезю в *Эвксине*. –
Известно, что в *Колхиде* дикой,
Или *Менгрелии* лесистой,
Где распаленная царевна
Открыла древле путь сквозь пламень
Пришельцу милому к руну,
Всегда десница смерти машет,
И в ясный день, и в мрачну ночь. –
Там все напоминает

О смертоносных чарованьях
Колхидянок злоухищренных,
О неких пламенных дождях,
Об огнедышущих волах,
О тенях, о мечтах Гекаты.
Кто там не пал на половине
Своих отважных предприятий?
Кто тамо с самой высоты
Путей своих не низвергался? –
Но кто же из *шерифов* смеет
Не точно глас *Аллы* исполнить?
Уже я не страшуся смерти.
Я, сколько мог, – исполнил долг.

О! если б милосердно небо
Вложило в дряхлые стопы
Еще еленя быстроту!
Еще притек бы я счастливо
До тех источников живых,
Где утолил бы жажду сердца
И оживил и плоть, и кровь. –
Но вы скажите, чада мира!
Что ваших песней сих виной?
Не отрекитесь мне в ответе!»

1 кадизаделит

Ты мира гражданин! – кто б ни был,
Хоть житель каменных пещер
Или отшлец из *Аравии?* –
Ты кратко о себе поведал;
Но если ты великодушен,
Позволь беседовать еще!

Я шел здесь мимо сей горы
И вел под тень утеса стадо;
Кипящий зной взял полну власть

Над нами, как и над тобой,
И в сих убежищах принудил
Искать прохладной тишины
И для себя, и ради стада. –
Остановились мы в сем месте,
Чудилися и размышляли;
Я в первой юности своей
В *Элладе* и *Аравий* быв,
Учился древности сих царств;
Однак – совсем недоумею,
Почто является мне все,
На что здесь взор ни обращу,
Единой темною гробницей? –
Сии висящие скалы,
Сии упадши ниц вершины,
Сии кораллы, толь высоко
С морскими гадами подъяты
И превращенны в утлы камни,
И сей лежащий бренный прах
В глубоких каменных гробах,
Где кость и череп пожелтели, –
Все слезные сии предметы
Скрывают от меня причину
И в исступленье лишь приводят. –
Но все сии добычи смерти
Меж тем вдохнули в сердце песни;
Вот! – что заставило нас петь
В недоумении душевном! –
Пусть ясный глас твой рассечет
Сей мрак густый, туман сумненья! –
Повеждь! – я первый буду слушать!

2 кадизаделит

О просвещенный муж! – ты знаешь
Страну твоих единоверцов;
Ты знаешь древность *Херсониса;*

Поведай нам, кто тамо спит!
Я здесь, – в убежище прохлады
Зрю каменно лишь царство смерти;
И что причиною? –

Шериф

Друзья? –
Я мню, что серный воздух зреет
Теперь к ужаснейшей грозе. –
Смотрите вы, как твердь чернеет
Сквозь каменны сии ущелья! –
Укроемся от бури здесь! –
Тогда дерзнем под самым громом
Открыть бытийственные книги;
Луч молний осеняет нам
Все мрачны древности черты! –
Вы успокойтесь от вопросов!
Поведаю, как чада плоти
Нашли себе в горах сих гроб! –
Но вы читали ль древни свитки?
Нашли ли в книгах бытия,
И *еллинских,* и *аравийских,*
Нашли ли имя *Херсониса*
И созерцали ль здешню древность?
Не созерцали! – так внимайте!
Внимайте словесам *Шерифа!* –
И ты, – ты также, мой Мурза;
Тебе урок последний будет,
В котором пользу ощутишь
Не только здесь, – и в саму вечность...

Оба кадиз⟨аделита⟩

О солнцев внук! – о наш мудрец!
Наставник нежный, друг сердец!

Мурза

Повеждь, глава души моей!

Шериф

Здесь неки мудры жили древле;
Сколь часто, как сословье их
В гармонии соединялось, –
Их мысли, их небесны гимны,
Горящи жертвы их сердец,
Проникнув каменны навесы
Или кораллові навесы,
На крыльях огненных парили
До горних царств *инфендармазских*[1],
Средь мирных дней их бытия
Все их беседы мудры были;
Все их беседы непрестанно
Между горами отзывались,
Доколе не уснули в гробе. –
Желаете ль, да повторю
Те гимны, кои мудрецы
О древнем бытии певали,
Чтоб лучше вам познать начала?

Оба

Желаем, солнцев внук! мы сами,
Чтоб познакомить нас с отцами.

Шериф

Но уступите на минуту
Пустынную гитару вашу! –
Да, – некогда и я играл

[1] Инфендармаз, на турецком, добрый дух, ангел.

Священны песни на горах;
Тогда внимали духи камней,
Внимали древеса и тени!

Шериф берет из рук их гитару и начинает играть и петь таким образом:

«Сойдите, – духи светоносны! –
О звезды невечерней тверди!
Сойдите с облаков златых
И вейтесь над гробами сими,
Где бренна ваша риза тлеет! –
О будьте соприсущны песни,
Которую вы пели в мире,
Котору я хочу пропеть! –
Рассейте тусклы мраки здесь!
Рассейте мраки всех сумнений! –
Вы, бурны ветры, не шумите!
И вы, смоковницы, молчите,
Приосеняющи пещеру,
Да ясно песнь мою услышат
Пришельцы мирныя юдоли! –
Пришельцы! – разумейте слово
С начала до конца его!

Еще от крови громодержца
Неборожденны полубоги
В долинах мира не дышали;
Еще не волновался в них
Тончайший *ихорь* – кровь небесна;
Волоты, из земли исшедши[1],
Не возметали в твердь утесов,
Чтоб трон перунов потрясти;
Алкид не проходил вселенной,
Чтоб от земли живых изгнать

[1] Так называлися великаны в древней России.

Племен строптивых и преступных;
Свирель *Орфея* не будила
В ущельях диких камней спящих;
Скалы по скатам не скакали,
Чтоб в храмы града сами клались,
И в сладки гласы не слагались
Меж дебрей диких клики ликов,
Как сей цветущий полуостров
Таился в области *Нептуна.*

Уже в *экваторских* холмах
И *африканских* высотах
Кипела зноем алчна суша?
Но здесь во мраке древних лет,
Где ныне зрим сады и нивы,
Еще ревел седый *Эвксин;*
Еще бурливой бог пучины
На страшных бегемотах ездил;
Еще *Нерея* резвы дщеры
Коралловым чесали гребнем
Зелено-синие власы.

Все зримые стези *Фетиды,*
Все зримые следы подмоев,
Служащи недром винограда,
Все зримы сребрены озера,
Ключи и кладези солены,
Растения и земли солки –
Все вразумляют песнь мою,
Что в глубине седых веков
Сереброногая *Фетида*
Из бурной урны извергала
Разливны волны в *Херсонисе.* –
Там, где елень и заяц ныне
Между дубов высоких скачут,
Тюлень, дельфин, огромный кит

Играли меж подводных скал;
Там, где гнездится куропатка,
Плескал морской волной осетр.

Все страшные сии вершины
И величайший *Чатырдаг*
Лишь были малы острова;
А прочие из них служили
Твердынею подводных камней
На гибель древним мореходцам;
Вот *Херсониса* колыбель!»

Здесь песнь свою *Шериф* пресек
И тако пастухам вещал:
«О чада, не сумнитесь в том,
Что я изрек и что реку! –
То книги бытия вещают. –
Се! – новые колена песни,
Которым будете внимать! –
Вы онемеете, услышав
В подземном царстве чудеса,
Когда в течении времен
Дымящийся *Вулкан* звучал
И в пылких жупелах пылал
Под ржущим дном хребтов дрожащих».

Тут, сильный глас возвысив, пел,
Как страшна острога *Нептуна*
Была бессильна воспятить
Вулкана искрометным млатам;
Колико толща расседалась,
Поджженная огнем подземным;
Колико крат хребты громадны
В утробах выли и ревели,
Тогда как тайны руды с серой,
Скипясь, как волны, клокотали;

Тогда как огненные вихри,
Подъемлясь из бездонных жерл,
Подобные снопам палящим,
И над горами извиваясь,
Весь полуостров озаряли;
Тогда как смерчи[1] с бурой мглой,
Объяв воздушну тонку область,
Огнисты капли ниспускали
И свод небесный очерняли;
Иль как нарывы рдяны, зрея,
Расторгшись, лаву разливали
И, током пламенным покрывши
Багровы косогоры скал,
Стремились огненной рекой
По бледным долам и полям
И, пременяяся в цветах,
Бежали с смертью наряду. –
Тогда ни зданье, ни оплот,
Ни насыпи, ни крепкий град
Не возбраняли бегу их. –
Кусты иль рощи предстояли?
Вода иль камни им встречались?
Все похищали, – все снедали
И во мгновенье претворяли
То в горьку извязь, то в крушец[2],
То в мелкий пепел или в золу. –
Тогда, – тогда природа взвыла
И судорожный вид явила.

Он пел, как горы представляли
Сих пылких вихрей страшный холм;
Как бойки молоты ковали

[1] То же, что мрачная непогода, или безведрие; слово старинное, но лучше нововведенного чужого.
[2] То же, что металл.

Среди горнил подгорный гром.
Тогда, катясь, подземный трус,
Подобно как бы шар Перуна,
В глухих клубился глубинах
И, длинный рев пуская вдоль
Под шаткими хребтами гор,
Верхи твердынь ниспровергал;
Тогда гора широкозевна,
Горевшая близ *Кара-су,*
Где меж торчащими слоями,
Как меж оплотами зубов,
Снегов буграми ныне полна
Спускается обширна бездна,
Во мрачный ужас облекалась;
А царство ада, *Агермыш,*
Сокрыв в себе безмерну хлябь
До неизвестной глубины,
Где вечна ночь престол воздвигла,
Где суеверье грубых *скифов*
Бесов жилище полагает, –
Из адска чрева изрыгал
Столпы дымов, столпы огней
И рдяный тверди свод калил.

Он пел, как в *Балуклавском* крае
Хребты подверглись превращеньям,
То, раздвигаясь пополам,
Составили стремнины страшны,
То, раздробленные, повиснув,
Поникнули над бездной инде,
То, низвергаяся в пучину,
Легли в ея водах ребром;
В ребре скудель железна рдеет;
А инде по местам пестреют
Мармоовидные каменья
Со шпатовыми полосами;

Иль инде хрустали сверкают
Среди извилистых расселин;
Или чернеет инде пемза,
Иль серный колчадан блистает
С винисатыми хрусталями,
Иль разлиянная лежит
Родов разнообразных лава;
Твердеет лава, – но мирволит
Душе былин среди долин,
Где красноцветный *амарант*[1]
Поднесь глубит сквозь толщу корень
И где базальты слоеваты
С рассеянным по них шерлом
Гнездясь, – богатство обещают.

Он воспевал хребты приморски
И их разметанны скалы;
Упоминал утес близ *Ялты*
С увалом, полным дробных камней;
Как он среди громовых стрел
Пышал горючими дождями;
Как, громко треснувши в вершине,
Обрушился в свою же пасть;
Как мыс при *Парфенитской* веси,
Отвесной прежде быв горой,
Потом упадши в глубину
И плотною облившись лавой,
Рассек далече бездну вдоль;
Как становидный *Чатырдаг,*
Чреватый ныне вечным льдом,
Свой страшный пламенник бросал
На подчиненные хребты;
Его же острочелы братья
Дробились дольними громами;

[1] Amaranthe, ou fleur de jalousie; Amaranthus Caudatus.

Как два пригорка обгорелы,
Стоящи вместо врат к *Ускюту,*
Подобны круглым двум столпам
Иль меденогим тем волам, –
Что препиралися с *Язоном,*
Свои отверзши красны пасти, –
Хранят запекшусь в них горючесть.

Он воспевал ключи приморски
Поверх *Эникальских* высот,
Отколе бьется горно масло;
Коснулся также мест *Таманских,*
Отколе с черной нефтью ил,
Исторгшись, наращает холмы,
Имеющие круглый стан,
Из коих, в виде пузыря
Подъемлясь, темно-сера жидкость
На все страны вокруг лиется. –
Он им представил живо в песни,
Как там – на *острове Туманов*[1] –
Пылал огнем надутый холм,
Отколе стопленные камни,
Высоко с дымом возметаясь,
Фанагорийцов устрашили? –
«Какой громоподобный треск, –
Вещал он им, как самовидец, –
Какой многогортанный рев
Внезапно поразил их ухо? –
Горючий воздух постоянный,
Теснясь в подгорном сем горниле,
Давно искал путей обширных,
Искал, – но их не находил;
Он вдруг напружился, – проторгся –
И чрез разрыв гортани горной

[1] Ныне он называется *Тьмутаракань;* так как уже, кажется, исследована сия истина в точности.

Раздал громовый звук разящий. –
Огонь, как слитых молний сноп,
Подъявшись из жерла на твердь,
Окрестны озарил места,
Тамань – лиман Темрюкский, – Керчь;
Ревущий клокот с серым дымом –
Сопровождал позор сей страшный;
Потом, как из сосца кипяща,
Отколе хлынули шесть токов
С горящим пепловидным илом
И разлились путем нестройным
Поверх окрестныя страны[2].

Он пел – и кончил песни тем,
Что *Зевс* чрез сей закон ужасный
С хромым обручником *Венеры,*
Нептуна жилы подсуша
И претворяя воду в землю,
Спустил *Эвксински* воды ниже
И, силою возвысив горы,
Открыл здесь юный полуостров
Во образе амфитеатра,
Подобно миру из Хаоса,
Подобно новым островам,
Возникшим из морской утробы,
Меж тем – как всем уже известно,
Что неки древни *Атлантиды*
Погрязли в сердце океана.

Он не забыл к сему прибавить,
Что все черепокожны гады,
Немые *желви* и *кораллы,*
Не могши следовать тогда

[2] 1794 года в феврале одна небольшая гора на *Тамане* открыла извержение свое с огнем, дымом и выгарками, подобными камнеобразным слиткам или мелким отрывкам какой скалы.

С высот за матерней стихией,
Когда она скатилась с гор,
В чужей стихии погреблись;
Что все печальны чада моря,
Которых жизнь была дотоле
Лишь к черепу прилеплена,
Нашли средь черепа свой гроб. –
Вода, что прежде оживляла,
Лишь только с гор спустилась долу;
То горный воздух их убил,
Их прежню жизнь окаменил
И в бледный мел переменил.

Он также повторил при сем,
Что после, – как с одной страны
Скалы, сдвигаясь с оснований,
Шли силой некоей вперед,
Над морем стали и нависли, –
Источники с другой страны,
От горних ниспадая ребр,
А с ними быстры волны с моря,
Под основанья гор вторгаясь,
Разили их стопы насильно. –
Подмытая земля глубоко
В приморских поясах ослабших
Приметно оседала в даль. –
Кто зреть желает все сие,
Тот пусть прострет на *Мухолятку*
Или *Кучук-кой* взор испытный! –
Давно ли в сем печальном месте
Пространство страшное долины,
Подмыто сильной дланью вод,
Содвинулось от основанья,
Пошло – и стало в лоне моря? –
Немые стены *скифских* зданий,
Стада, – сады – и цветники,

Как на невидимых колесах
Переселились в чужду область;
Но в самом месте сем остались
Еще высоки два утеса;
А тамо – на другом конце
Полдневного хребта над морем,
Там, – где *Алушта и Кур-озен*
В уединении лежат, –
Тогда же громы подземельны
При общих трусах[1] пророптали. –
Отлогие твердыни гор,
Простерты по длине брегов,
Дрогнули, – треснули, – расселись;
Уже теперь отважный всадник,
Чрез скаты преходя неверны,
Беднеет на пути опасном.

Но *Зевсов* гром и млат *Вулкана*
Еще не умолкал и в суше,
Доколе родники горючи,
Уже в последний поздый век
В горах иссякнувши под льдами,
Свирепствовать переставали.

«Так пели жители пещер! –
Шериф воскликнул наконец, –
Так пели – и молились небу,
Да не возбудит паки бурь».

---

[1] В сих местах *Таврии* таковые природы явления 1786 года февраля 10 случились, когда во многих местах *Европы*, а наипаче в *Венгрии* чувствуемо было землетрясение.

⟨ПЕСНЬ ПЯТАЯ⟩

Содержание

Продолжение шерифовой повести, где он извещает о населении полуострова скифами, греками и генуэзцами. – О боготворении Дианы. – О ея храме, где была жрицею дочь Агамемнона, Ифигения. – О приключении брата ея, Ореста. – О склонности ея к другу его, Пиладу. – О последствии сего приключения. – О набеге татар. – О завоевании Тавриии оружием их. – О бедствии островлян и горных затворников. – О судьбине одного из сих. – И напоследок о присоединении Херсониса к Российской державе. – Приличное заключение, где изъясняется беспристрастное желание России счастия и от нея просвещения для настоящих и будущих обитателей сего полуострова. – Признательное приветствие пастухов.

Еще стояли пастухи
Безмолвственны подле *Омара,*
Как марморы иль истуканы
Полуживые близ *Орфея,*
С прижатыми ко груди дланьми;
Лишь видно, – что под дланьми вздох
Подъемлет бьющуюся грудь.

Камена! – как ты согласишь
Звук тихий робкия свирели
Со гласом *скифского Орфея*? –
Коль он... пусть песнь твоя отдохнет
И внемлет чувствам пастухов!..

1 кадизаделит

Шериф! вся песнь сия дивна;
Лишь Гений *Таврии* так может
О бытиях сего предела петь,
О первозданном веществе,
О первобытной тьме, висевшей
Над бездной влажной, всеобъемной,
О росте гор, о жизни былий,
О трусах, об огнях подземных. –
Но продолжай нас вразумлять,
Как после здесь открылась суша? –
Отколь вступили племена? –
Какие мужи *христиански*
Оставили телес останки,
Рассыпанны в сих темных падях?

2 кадизаделит

Какие мужи *агарянски*?
Какие тамо чалмоносцы
Лежат под сводами в долинах,
Где возвышаются на кровах
Высоки каменны турбаны
И где сидя печальны враны
Зловестны клики раздают?

1 кадизаделит

Не мудрецы ли спят какие?
Ученые *Анахарисы,*
Арастусы или *Флатуны?*[1]

[1] Магометане называют греческих философов, *Аристотеля Арастусом*, а *Платона Флатуном.*

2 кадизаделит

Или *Девлеты* там сраженны?
Или *Гиреи* погребенны?
Иль неки славны *Челебеи?*

Шериф

Любезные! – скажу и то, –
Как огнь с водою кончил спор, –
Здесь не были долины пусты. –
Нептун, Цибеле уступя
Таимый в бездне сей удел,
К странам полудни отступил.
Открылись горы, – дол расцвел;
Брега обсохли, – *Марс* ступил;
Стихий картина пременилась;
Другая жизнь, – другая страсть
Уже дышать здесь начинает.
Пусть взор испытный углубится
В глубоку древности пучину,
Отколе тридесять два века,
Свои колеса обернувши,
На шумных осях прогремели,
Как древле славны *аргонавты,*
Пучину черну рассекая,
Познали полуостров сей!
Уже над ним гремела слава,
Когда *Язон* на корабле,
Наполненном полубогами,
В *Колхиду* ехал за руном;
В то время жили в сих горах
Суровы *киммеры*[1], иль *тавры,*

[1] По имени сих киммеров, или цимбров, назван сей полуостров *Крымом.*

Под кровом лишь одной природы.
Издревле жители здесь дики
По свойству обоготворяли
Колчаноносную богиню,
Двурогу *Фебову* сестру,
Которую в Колхидском царстве
Под именем *Гекаты* страшной
Медея ночью призывала. –
Ей храмы были сооруженны
На каменных столпах высоких[2],
Где страшный истукан ея
Не утверждался на подножьи,
А белокаменный пред нею
Стоящий жертвенник ужасный
Свой преждебывший цвет терял,
Он кровью был омыт всегда. –
Сей страшный жертвенник всегда,
Убивством странных пресыщаясь,
Дымился от кровавой влаги;
Но – что чуднее должно быть –
Безбрачна и младая жрица
Сии производила жертвы.
Пришелец всякий должен пасть,
Мечем девичьим закалаем.
В то время божества и смертны
Сего предела убегали. –
Таков он был в те древни веки.

Я здесь хощу поведать вам,
Какое дружбы торжество
Единожды в сем страшном храме
Открылось меж ведомых к жертве.
Сие есть дело знаменито
В *Таврическом* пределе сем.

---

[2] *Овидий* в письме с Черного моря, кн. III.

Георгиевский монастырь. Картина К. Боссоли. 1840-е годы

Во дни ужасного *Фоанта,*
Который некогда толь грозно
Страною сею обладал, –
На Гераклейском *Херсонисе*
Стоял на возвышенном мысе
Ужасный храм Дианы строгой;
Куда по воздуху явилась
Прекрасна дщерь *Агамемнона,*
Что *Ифигенией* зовут[1].
Бытийственны вещают книги,
Что *Фива*[2], сжаляся над нею,
Когда за отческий проступок
Она в *Авлиде* ухищренно
Была ей в жертву ведена,
Отъяла от ножа ее;
Внезапу тут исчезла жертва;
Но вместо лишь ее предстала
Прекрасна серна подведенна. –
Богиня принесла сюда
На крыльях легких облаков
Спасенну дщерь *Агамемнона.*
Фоант, чудясь судьбам богов,
Определил ее навек
Священницею в храме сем. –
Сия *пелопская* девица
Чрез много лет производила
Рукою токмо принужденной
Сии плачевны жертвы в храме.

Колико крат при бледном свете
Толико чтимой здесь богини
В часы вечерние сумрачны
На мысе возвышенном тамо,

[1] *Эврип⟨ид⟩,* Ифигения в Таврии. *Цицерон* о дружестве. Овидий в элегии, кн. IV.
[2] *Диана,* богиня лесов и ловли.

Среди гробов ходя – иль сидя,
Как бы пустынница невольна,
Она вздыхала о судьбе
Своих печальных, странных дней
И часто на *Эвксин* взирала,
С волнами вздохи посылала?

«Ужасная страна, – дом смерти! –
Так *Ифигения* вопила, –
Какой безвестный, хитрый демон
Привлек меня в страну сию? –
О боги! – что всё значит в жизни?
Здесь гробы страшные чернеют! –
Печальны артыши отвсюду
Унылой тенью покрывают
Сии могилы – ужас жизни;
Кто сим сопутствует предметам?
Кто вящий посетитель их? –
Зловещи птицы, – хищны звери,
Нощелюбивая сова,
Удод, и вран, сопутник гроба,
Кукушка, сыч, и хищный ястреб,
Или с огнистым оком волк,
А с ними, – о судьбина! – я...
Там кости, черепы белеют;
То знаки здешних жертв плачевных,
Бесчеловечных, – но священных...

Колико смертных пало здесь
От острия ножа священна? –
И что ж? – всегда от рук девицы, –
От принужденных рук по долгу...
О звание святое, – страшно! –
Почто в *Авлиде* отдаленной
Не кончились мои дни жертвой? –
Я никогда, – так, – никогда

Не убивала б дней чужих
Невольною своей рукой...

Ах! – помню, как я приступала
К ужасной жертве в первый раз;
Я помню, как дрожаща грудь
Несчастного *Лизандра* билась
Под смелою моей рукой;
Как ала кровь из ней струилась
И обагрила весь помост. –
Его любезная *Праксилла*
Тогда была не в силах зреть
Позорище святое, – люто;
И наконец – подле *Лизандра*
Бездушна пала на помост...

О боги! что вы мне велите?
К чему вы призвали меня? –
Обеты юношей злосчастных
И страшный долг мой совершать! –
Лить кровь – подобных агнцов мне!..
Я вас не разумею, боги!..
Чем быть орудием мне смерти
Толиких юношей невинных,
Конечно, лучше б надлежало
Быть покровительницей дней
Толико драгоценных смертных;
Теперь же, – боги! – я должна
Орудием быть лютой смерти
Ведомых в жертву, – и каких? –
Каких людей? – того не знаю, –
Быть может, – брата иль отца! –
О мысль ужасна! – сердце бьется! –
Увы! – что ж делать буду я? –
Но против воли поклоняюсь
Веленью твоему, – богиня,
Сурова в чистоте *Диана!*»

Так *Ифигения* вздыхала
И долг с слезами исполняла. –
Ея предчувствие при жертвах
На деле после оправдалось. –
Вы удивитесь, пастухи,
Излучистым путям судьбы;
Внимайте только странну повесть!

Во время жречества ея
Единожды два юных *грека*
К камнистым сим брегам приплыли
На ветроносной лодие;
Они, быв возрастом равны,
Хотя два тела составляли,
Но в чувствах, склонностях и мыслях
Единый дух образовали.

Один из них, терзаем быв
Неистовством ужасных фурий
За некие свои деянья,
Желал свою очистить совесть
В едином храме сем ужасном.
Тогда *сарматы,* зря пришельцев,
Хватают с радостию дикой,
Их вяжут ужем и ведут
Пред жертвенник неумолимый;
Стекающийся двор *Фоантов*
Насытить взор, привыкший к крови,
Нетерпеливо ждет позора.
Несчастны с связанными дланьми
Стоят поникнув средь народа
Перед кровавыми столпами,
Меж коих красный огнь пылает
И жертв в объятья ожидает.

Священница кропит водой
Плененных *греков* перед жертвой;

Готовится к священнодейству;
Приемлет в длань резец блестящий;
Увенчивает их власы
Растущим горным диким злаком;
То мещет скорбный взор на них,
То тайный трепет ощущает;
Воззрит ли на *Ореста?* – жалок;
На *Пилада?* – невинен, – мил;
А оба зрятся ей любезны;
Но на последнего простерши
Взор горестный и вкупе страстный,
Роняет слезу потаенну...
Не знает, как решить их жребий;
Не знает, как решить свой долг;
Потом – вещает умиленно:

«Простите, юноши, вы мне,
Что я готовлюсь к страшной жертве!
Я не сурова, как вы мните;
Здесь, где введен обряд кровавый,
Я обязалась исполнять
Сей страшный долг священнодейства. –
Но вы отколь? – какого града? –
Какая столь корма бессчастна
Направила ваш путь сюда?»

Так в лютый час вещала им
Благочестивая девица,
И вдруг, из уст услыша их
Отечества именованье,
С биеньем сердца познает
В них обоих единоградцев.

«Один из вас, – она вещала, –
В сем месте по святым обетам
Пасть должен непременной жертвой;

Другой пусть вестником отыдет
В отеческу свою страну
И возвестит о происшествий!»

Тут первый, жертвуя собою,
Велит другому ехать в дом;
Но сей упорствует, – скорбит
И хочет сам быть тою ж жертвой. –
Один другого убеждает
Соблюсть дни собственны свои;
Один с другим наперерыв
В стяжаньи смертной чести спорит;
Всегда во всем согласны быв,
В сем случае лишь не согласны. –
Один согласен был на то,
Чего другой и сам хотел,
Но сей желал того с упорством,
На что не склонен первый был;
И так о смерти оба спорят.

«Нет, мой любезный *Пилад!* – нет;
Ты не умрешь, – вещал *Орест,*
На жрицу кинув нежный взор, –
Так, правда, – я желал бы жить,
Дабы ее, – ее любить». –
Орест сие вещал не вслух,
Но к слуху тихо приклоняся. –
«Ах, *Пилад,* – знаешь ли? – люблю, –
Пред смертию открыться можно, –
Люблю сию девицу милу,
Я ощущаю тайно божество,
Что движет сердце к ней мое;
Но ты живи! – ты не умрешь;
Ты обладай прекрасной сей,
А я – умру; мой долг умреть...»

«Ах! мой возлюбленный! мой друг! –
Вещал тогда унылый *Пилад,*
Склоняся также к уху тихо
И сам взглянув на жрицу страстно, –
Ах! друг, прости мне! – перед смертью
Открытость в совести – есть долг;
И я – еще хотел бы жить
Для сей – для сей девицы милой;
Как жизнь – ея любил бы я;
Затем и жизнь еще мила;
Я ощущаю неку силу,
Влекущую к богине милой;
Но другу – посвящаю жизнь;
Живи, – живи еще, любезный!
Владей навек ея рукою!
А я, – я за тебя умру...»

«Не спорь! – я за тебя умру», –
Возвыся глас, *Орест* вещал.

Оба громко перед народом

Мне чувство умереть велит;
Честь, – совесть, – дружба – все гласит.

Орест

Ты совестию непорочен;
А я – где я от фурий скроюсь?
Живи! – люби! – а я – умру.

Пилад

Мне дружба и любовь всесильна
Пасть жертвой за тебя велят.

Оба

«Мне боги умереть велят;
Ты видишь, как они манят!»

«Не спорь! – мне должно жертвой пасть
От сей руки – священной». –

Оба, вырываясь, вопиют:

«Прости!» –

Так юноши любезны
Вели сей страшный дружбы спор. –
Сей узел бы не разрешился,
Когда б сама судьба всемощна
Не поспешила разрешить. –
Прекрасна жрица с изумленьем
Внимала долго их толь странну
Решимость нерешиму дружбы;
Меж тем успела приготовить
С подробностями некий свиток,
Который к брату был начертан;
Потом, – взирая на *Ореста,*
Вещает с томным воздыханьем:

«Послушайте, – друзья почтенны!
Я вижу в вас необычайный,
Неслыханный пример любви;
Вы оба, – так, – вы оба редки,
Достойны лучшей доли, чести;
Тужу, – но кто-нибудь из вас
В сем месте по святым обетам
Сей час быть должен скорой жертвой,
И кто-нибудь один из вас
Отыдет вестником в отчизну
И свиток сей – вручит там брату...
Ну! – кто решился? – час приспел».

Сказав, развертывает свиток. –
О чудно – действие судьбы! –
Орест бросает взор – и зрит
Свое начертанное имя. –
«Небесны силы! – восклицает, –
Возможно ль? – жрица! – ах! познай! –
Почто препровождаешь свиток? –
Но льзя в жертве – брата зреть?»

«Как? – ты, – ты, брат! – *Орест*! – возможно ль?
Ты ль, бедный мой *Орест*? – мой брат?
Ужели, – ах! – ужели, *Фива*,
Мои вздыханья наконец
Проникли страшный твой престол? –
О буди! – буди ввек священна!»
Так жрица вопияла тут,
Но глас в ея гортани умер;
Священный нож из перстов пал;
Ток слезный градом покатился. –
Потом, друг друга обнимая
И силе рока удивляясь,
Благословляли строгу *Фиву*. –
Все зрители недоумели,
Безгласны были и дивились
Толь сильной дружбе, как богине. –
Позорище остановилось
На всеторжественном признаньи
Божественного действа рока. –
Народ чувствительный ликует,
Расходится, – дивится *Фиве*. –
И сам *Фоант* в то время понял,
Что сердце каменно в нем тает.

Уже тогда склонялся день;
Вечерни тени нисходили

На тощий жертвенник *Дианы.* –
Освобожденные друзья,
Чудяся сами силе рока,
Диане воспевают песни.
Тогда под тению вечерней,
Как все уже в покое было,
Связуясь новою любовью,
Уединяются на мыс. –
Каких бесед, каких вопросов,
Каких вестей взаимных тамо
Ни излилось из уст в свободе? –
Здесь *Ифигения* находит
В себе жизнь нову, новы чувства
И вопрошает: «Возвести!
Орест дражайший, возвести! –
Ах! – сердце бьется, как помышлю,
Что брата бы – должна была
Сестра – *Диане* в честь – убить!
Но возвести теперь мне вкратце!
Еще ль наш жив отец великий?
Еще ли мать жива? – сестра, –
Дражайшая моя *Илектра?»*

«Ах, *Ифигения!* – почто? –
Орест ей отвечает в скорби, –
Почто сие повелеваешь?
Ужасны фурии опять
Во груди оживут моей...
Отец мой умер – не под *Троей,*
В *Мицене,* – о судьбина люта! –
А мать моя – забыла долг;
Эгист, – любимец – и злодей;
Долг был отмстить им – сей рукой...
Долг был отмстить, – я каюсь, – боги! –
Любезная! – не принуждай
Вещать мне! – повесть не кратка».

«О брат мой! – жрица возопила, –
Что хощешь ты сказать? – дрожу! –
Меня объемлет пламень некий! –
Спеши окончить страшну новость!»

«Как ты в *Авлиде*, – рек *Орест*, –
Была на жертву ведена,
Кто мнил, чтоб ты жива осталась?
Всяк верил, что ты пала в жертве;
Все добродушные рыдали.
О всемогущи небеса!
Какою мрачностью густою
Вы кроете судеб изгибы? –
Сие жрецам открыто лучше.
Не помнишь ли, где я воспитан? –
Воспитан при дворе *Фокейском,*
Где сей достойный сердца *Пилад*
Стал другом мне, – вторым стал мною. –
Сколь дружба велика моя,
Столь страсть неистова была,
Любовь ужасна к *Гермионе,* –
Надменный *Пирр,* – младый герой, –
Ахилла славного сын славный,
Был также мой соперник страшный. –
От падших стен великой *Трои*
Он возвратясь в *Эпирску* область,
Спешил взять руку *Гермионы.* –
Как можно снесть удар толикой? –
Я сам страдал по *Гермионе,*
Страдал мучительной любовью. –
В тоске, в отчаяньи жестоком
Я вторгся в брачный храм священный,
Постиг – и пролил там – кровь *Пирра,*
А *Гермионой* – овладел;
Но что? – извне увидев рай,
Внутри себя нашел я ад. –

Ах! – с самыя отца кончины,
По смерти *Клитемнестры, – Пирра,*
Ужасны адски силы гнали,
Терзали, рвали грудь мою. –
Тогда Оракул возвестил,
Чтоб в очищенье чувств моих
Лететь на парусах – сюда. –
Вот! зри, как рок играет мною? –
Сей *Пилад,* – друг мой, – всё оставил,
Оставил свой *Пелопский* двор,
Чтоб не оставить лишь меня;
Он всё со мною разделял,
Во всём, – во всём вторый был я...
Он истинной любви достоин,
И больше, – больше, чем любви;
Он и твоей любви – достоин;
Ах! – если б вздох признался твой!..»

«Так, – *Ифигения* почтенна,
Достойна жертв сердечных жрица! –
Тут *Пилад* прерывает речь, –
Так, – он мой друг, – вторый есть *Пилад,*
Мне мнится, – непременны *парки*
В минуты нашего рожденья
Как бы умыслили согласно
Одну нить жизни нашей прясть. –
Я разделяю все с *Орестом;*
Я разделяю саму жизнь;
Я умереть готов с *Орестом,*
Кровь, – кровь одна струится в жилах;
Мое же сердце, – о любезна, –
Принадлежит к нему, – к тебе!»
Сказал – и воздохнул он втайне.

При сих словах лице девицы
Покрылось утренним румянцем.
Она бросает взгляд любви

На *Пилада* – второго брата;
Ея внимание к нему
Оживлено любовью было. –
Орест, немного помолчав,
Беседу заключает сим:

«Да, – здешний царь бесчеловечный,
Зверообразный сей *Фоант,*
Диану претворя в тиранку,
Столь целомудренну богиню,
Облек престол ея во ужас;
Он ненавистник человеков;
Забыв права гостеприимства,
Велел нас влечь под тяжку стражу,
Карать и умертвить для жертвы! –
О кровопийца, – плотоядец! –
Пусть я решился умереть, –
Но умереть непринужденно? –
При слабостях моя невинность
Всегда торжествовать должна;
Уже намеренья меня
Оправдывают пред богами.

Сестра любезна! ты и я
В судьбине дней друг с другом сходны. –
Та ж самая богиня грозна,
Которая спасла тебя,
Спасла меня теперь от жертвы.
Погиб бы я, – о страшны боги!
И от кого? – от рук сестры! –
Как обливается грудь кровью? –
Конечно, – или гнев богов,
Иль суеверие людей
Располагает слепо нами. –
Уже ты руку заносила...
И тот же час меня познала. –
О благодетельность небес!

Они удар свой отвратили;
Они прочли мою всю совесть;
Они теперь повелевают
Страну очистить от чудовищ,
От суеверья, – от *Фоанта*, –
От гнусных жертв, – убийств кровавых. –
Уже *Диана* внемлет нам;
Ей лучший храм не здесь, – то правда;
Богиня требует не нашей,
Но лютого *Фоанта* крови...
Блестящи звезды светят нам,
Благоприятствуют рукам;
Что медлить? – боги помавают;
Ночь благодетельна; – пойдем?»

Так кончил речь свою *Орест*. –
Священница вручает нож,
Который заносила в храме
На жертвенно закланье брата. –
«Спеши, мой брат! – она взывала, –
И сим железом освященным
Отмсти дракону в багрянице!
Отмсти бичу страннолриимства!»

Орест и *Пилад*, ополчася,
Покрыты тайным мраком нощи,
Вступают в царские чертоги. –
Фоант во сне – уснул сном вечным.
Тут *Ифигения*, *Орест*
И *Пилад*, вечный спутник их, –
Собрав сокровища, сколь можно,
И взяв драгой кумир *Дианы*,
Как оскверненный здесь убийством,
Сокрытый парус направляют
Чрез бурные *Эвксински* волны
К брегам отеческим *пелопским*.

Брега с улыбкою объемлют
Особ бесценных по возврате;
Всё торжествует, – всё в восторге. –
Кумир *Дианы* в лучшем храме,
Невинной кровью неомытом,
Постановляется со славой.
Там *Пилад* получает в век
Прекрасной *Ифигений* руку,
И где *Орест* среди торжеств,
С богами примирясь сердечно,
Совокупился с *Гермионой*
И приобщил к стране *миценской*
Наследно царство *Гермионы.*

Вот! – чем сей древле полуостров
Хвалиться мог и ныне может! –
Давно, – давно *Атрида* кровь
Деяньями блистала здесь.
Чудесна юношей любовь
Велику славу обрела
Меж самой дикою толпой.
Все *скифы,* несмотря на грубость,
Почувствовали добродетель,
Почтили верность сих друзей.

Но в те ужасны мрачны веки
Все было грубо, все кроваво.
Однако *греки,* преселясь,
Предел сей много просветили.

Краса *ионических* градов,
Источник первых мудрецов,
Деедписателей преславных,
Отечество *Фалесов* мудрых
И велеречивых *Аспазий,*
Милет, надувши парус шумный

И истощив из недр своих
Довольное число племен,
Сей дикий край одушевил
Несметных сонмами семейств[1].
От сенолиственных брегов
Крутоизлучиста *Меандра*
И от полей, приосенненых
Верхами *Латмы* возвышенной,
Где в тихие часы ночные
Богиня чистоты, *Диана,*
Олимпа гордость забывая,
В объятьях пламенных лобзала
Прекрасного *Эндимиона,*
Бегут *ионически* кормы
И роют черны зыби рвами,
Дабы на-западных пустых
И южных *Таврии* брегах
Селенья многи утвердить
И славу там распространить.

Милетяне успели в сем. –
А выходцы из *Ириклии,*
Приморского *Вифинска* града,
Простерли далее успехи. –
Прекрасный в древности *Херсон*
Был знатный плод их хитрых рук
И корень их цветущей славы. –
Он все тогда иные грады
Могуществом превосходил. –
Сей самый град в последни веки
Отважный мудрой *Ольги* внук,
Подобно *Марсу,* поразил;

[1] Huc quoque Mileto missi venere Coloni. *Ovid. Eleg.*
И здесь *Милет* свои селенья основал. *Овид. Элег.*

Но дружба и любовь его
Там примирили с *Византией*;
А *Вера,* дщерь Царя царей,
Усыновила к Божеству.

Все пышные плоды искусства
И славны памятники вкуса,
Что *Иония* в градах своих
На диво строила векам,
И чем природа благотворна
Обиловала каждый год
На злачных берегах *Меандра,*
Все то сюда переселялось. –
Там хитрою рукой искусства
Столпы до облак воздвигались
И своды в тверди расширялись,
Блистая мармором, *муссией,*
Или повапленны природой. –
Ключи, оставивши подземность,
Дивились новому пути;
В воздушных проходя каналах,
Сребром струились наконец
Из стен в чертогах богача
И освежали гордый терем. –
Тогда чудиться надлежало
Скал дышущих немому виду,
Где острый истощил резец
Возможное свое искусство
И твердый камень претворил
В живые жилы, в мягку плоть. –
Там сонмы греческих Ироев,
Тезеев или *Геркулесов,*
Стояли в важной тишине;
А неки грозны *Диомиды,*
Бузирисы, Антеи буйны,
Страшилища племен земных,

В белейшем марморе паросском
Сумрачно морщили чело;
Но их красавицы любезны,
Аспазии и нежны *Сафы,*
Миртисы иль живые *Фрины*
Еще дышали страстью в камне,
Еще повелевали ими.

Восточной *Таврии* страной
Воспорски греки обладали;
Пантикапеум, иль *Воспор*[1],
Их главный был цветущий град.
Но дики *скифы,* обладая
Страною внутренней ея,
Нашествием опустошали
Селенья *греков* знамениты. –
Воспорцы помощи искали
В царе *Понтийском, Митридате.* –
Сей славный сопротивник *римлян,*
Не редкий бич царей вселенной,
Все *скифски* полчища изгнав,
Воспорско царство основал. –
Места, где царствовали жены,
Где девы побеждали сильных
И дерзостных богатырей,
И седоглавого *Кавказа*
Высоки снежные хребты,
Отколе *Фазис*[2] и *Гипанис*[3]
В валах ревут и в Понт падут,
И часть восточна *Херсониса*

---

[1] Ныне *Керчь.*

Bosporos et Tanais Superant, Scythicaeque paludes,
Vixique satis noti nomina pauca loci. – *Ovid.*

[2] Ныне *Фас-реон.*

[3] Ныне *Кубань;* так же, как и *Буг,* назывался прежде *Гипанисом.*

Вмещались в царстве *Митридата.*
Но несмотря на цвет времен,
Воспорцов зависть ополчила
Кровавы руки на соседов,
Переселенцов *милезийских.*

Сарматы, готы и *аланы,*
Одни последуя другим,
Местами сими обладали;
Потом владетели *Фракийски,*
Самодержавцы *Византийски,*
Отъявши силой власть у них,
Присвоили к себе всю область;
Но *гунны, венгры и козары,*
И *половцы* в толпах несметных
Срывали часто те плоды,
Что *византийцам* созревали.

Уже четвертый век проходит,
Как *Генуя* цветуща в силе
Лишилась пристаней Понтийских.
В столетии дванадесятом
Она, пучиной овладев
И всеми пристанями Понта,
Свои селенья утвердя
По *Херсонисским* берегам
И знатну основав торговлю
По всем брегам восточным Понта,
Высоки стены созидала
На обладаемых пределах. –
Там сильная рука искусства
Взносила также в твердь столпы
В подпору тех обширных сводов,
Под коими тогда решились
Дела восточныя торговли.
Там пышны стены и помосты,

Воздвигнуты из сосн приморских,
Подобных кедрам благовонным,
Иль из орешников слоистых,
Гордилися резьбой узорной;
Там мармор чистый *флорентинский*
Под тонкой ловкостью резца
Преобращался в нежно тело
И начинал почти дышать
Во образе *Энеев, Нум*
Иль *Фиекс*, дожей *Генуезских.*

Чрез долгий век брега сии
Цвели богатством, тишиной
И славой над водой гремели,
Как вдруг то из степей *Гобейских,*
То из расселин гор *Кавказских*
Суровые потомки *скифов,*
Монгалы в виде жадных пругов[1]
Между *Сивашем* и *Эвксином*
При звуке бубнов и щитов
Столпились, – взвили пыль, – подъялись
И дале в поле полетели. –
Уже в пустынях *Меотийских*
Давно колеса медны Марса
Ревели меж седой ковылью;
Давно коней бурливых ржанье
И топот ропотный копыт
В утесах звучных отзывался. –
Уже давно там бранны трубы
Со треском резким раздирали
Покровы черны туч густых. –
Останки мшисты тамо ставок[2],

[1] Пруги, или саранча.
[2] *Птолемей* полагал в Азовской степи некие ставки Александра Македонского.

Что росские орлы нашли
Во дни великого *Петра,*
Еще напоминают ясно
О страшном том биче востока,
Под коим, как под тяжким богом,
Кавказский громко лед трещал,
И кой, на сих пустых степях
Еще храм славы созидая
На счет великодушных *скифов,*
Забыл тогда, что он сын грома
И внук всемощного *Сатурна.* –
Под шумным треском молний бранных
Прияв в объятия свои
Фалестру, дышущую страстью[1],
Царицу мужественных жен,
Явил в себе лишь человека,
Рожденного *Олимпиадой;*
А зря, что славы тих полет
Укором важным *скифов* мудрых
К их лучшей славе остановлен,
Явил в себе *Филиппа* сына
И *Стагиритова*[2] питомца.

Настал сей год – ужасный год
Для островлян, для чад сих камней. –
Меж Черным и Гнилым морями
Монгалы, ворвавшись потопом,
Все, что ни встретили в пути,
Пожгли, посекли, потребили;
Что давный труд и что торговля,
И что муз чистый дух и вкус

---

[1] Говорят, что *амазонки* жили по близости рек *Дона* и *Фермодона.* Курций пишет о свидании Фалестры, их царицы, с Александром в гл.5.

[2] Так назван *Аристотель* по месту.

В градах дотоле оживляли,
Все их мечем умерщвлено. –
Коликие полки легли
В сии несчастны дни в долинах?
Коликой кровью обагрились
Обороняемы права? –
Так лавы пламенный проток,
Исторгшись из горы ревущей,
Бежит и губит, что ни встретит;
Найдет ли зданье заключенно? –
Остановляется при нем
И обегает вкруг его;
Потом, поднявшися на верх,
Все связи в пепел превращает
И, вторгшись внутрь горящих стен,
Пресуществляет в уголь все;
Постигнет ли древа высоки? –
Он их обтекши преломляет;
Иль в долах встретит тяжки камни? –
Влечет с собою тяжки камни
И в извязь претворяет их
Или в кристалл цветов различных,
Доколе, не нашед добыч,
Погаснет – и на месте станет,
И в ярости своей простынет.

Но *генуэзцы* осторожны
В те скорбны дни свои селенья
Забралом твердым оградили. –
Монгалы дики не могли
Оплотов их поколебать.
Приморски замки укрепленны
И пристани, сооруженны
Рукою сильной на брегах,
Стояли в тишине беспечной;
Кафа, столица их торговли,

Еще цвела под кровом их;
Еще *Меркурий* рассекал
Стопой крылатой зыбь *Кафинску*
И по брегам летал *Понтийским*
В спокойном обороте года;
Летал бы, – но отважны чада
Скитавшейся в степях *Агари,*
Воздвигши пылких *янычар*
И заключа все бранные позоры,
Какие прежде здесь бывали,
Позором пламенным лютейшим,
Покрыли тенью бунчуков
И долы, и хребты сии. –
В то время самовластны *ханы,*
Железны отрасли *Аттил,*
Потомки грозных *Чингисханов,*
Потомки лютых *Тамерланов*
Лишь были данники *Стамбула.*

Так славный полуостров лег
Под звучною пятой *Магмета.* –
Природа, резвая дотоле
На сих горах, на сих лугах,
Оцепенела, – побледнела
Под бледной сению луны. –
Жаль *крымских* прав, – конечно, жаль!
Но честь моих единоверцов
Велит признать меча их славу.

Известно, что народы здешни
Издревле в образе *Гекаты,*
Поставленном в пустых распутьях,
Сию луну боготворили,
Что древле страшная *Медея,*
С небес низведши в колеснице,
Сгоняла солнцевых коней,

Удерживала токов бег,
Сдвигала с мест скалы и дебри
И, мчася по погостам страшным
С растрепанными волосами,
Сбирала кости из гробов
И в разных заклинаньях выла. –
Не се ли повод был к тому,
Что *агаряне* взяли в герб
Луну, богиню древних страшну,
Под строгой властию которой
Природа воздыхала здесь.

О сколь ужасна перемена
Во всем была во дни их буйств! –
Тогда ни виноград, ни смоквы,
Ни персики, ни абрикосы
Природных вкусов не имели. –
Что в том, что осклаблялось
В долинах тихо естество? –
Насилье также усмехалось. –
Вотще взирал несчастный житель
На нежный пух *брусквин* душистых,
На цвет червленый абрикосов,
На темный и густый багрец
Приятных слив и винограда;
Все стало горько; все постыло;
Все грозды крыли яд змиев
Иль аспидов лютейшу желчь.
Миртиллы, – Дафнисы, – Леандры
Оплакивали похищенье
Своих *Коринн* и *Амарилл;*
Не вились кудри на главах;
Упал румянец на щеках;
В часы веселы кудри вьются;
В часы веселы зрак цветет;
Мирт гибкий не венчал их чел;

К чему? – пастушки все в оковах,
А робки пастухи бежали
В уединенны гор пещеры,
Неся отчаянье туда
И быв затворниками тамо,
Соделывались мудрецами. –
Вот повод сих пустынолюбцов! –
Три страшных века проходило,
Как здесь природа содрогала
В горах, пещерах и долинах,
Пронзаема *Гекаты* рогом.

Отшельцы здесь два зла сретали. –
Нередко подземельны *трусы,*
Шатая треснувшие горы,
Сынов сих камней подавляли,
Тогда как осенью они
Плоды румяны собирали
Иль жали в гнете виноград;
Нередко ж *скифы* простирали
Неумолимый свой кинжал
В сии пещеры потрясенны,
Тогда когда сии несчастны
Себя беспечными там чли. –
Сколь часто из злодейских рук
Перун сверкал в пещерах сих?
Сколь часто там стенали жертвы,
Поверженные под перуном?

Се! зрите кости на помосте! –
Последний то пустынник был;
Ах! – был отчаянный пустынник...
Зло выше гор неслось – то правда;
И он – едва не пал в смерть вечну;
Однак восставлен от паденья;
Он примирился с вечной жизнью.

Вот как! – когда вокруг сих гор
Срацински копия блистали;
А он, несчастный, – умирал,
От глада, – жажды умирал;
Чего? – каких ужасных слов
Из уст своих не отрыгал? –
Внемлите, что вещал тогда
В един от сих печальных дней,
Взирая слезными очами
На прах предместников своих:

«Так точно... скоро я умру...
Нисходит, – ах! нисходит вечер
Моих несчастных также дней,
В которых свет очей погаснет. –
Увы! – когда ж сей сумрак будет
И дни мои на век покроет? –
Покроет он, – а что потом? –
Уснуть, – и вечно не восстать? –
Но ах! – какая ж пустота,
Где я в безвестности исчезну
От ковов зависти лукавой,
От смертоносных всех наветов,
От своенравий наглой силы
Где все дремоты жизни слезной, –
Печаль, – заботу, – нужду, – жажду
В ничтожном мраке погружу? –
Картина темна, – но любезна! –
Почто же медлит меч *срацин*?

О! – ежели злый рок коснит
Найти меня, – и в яром гневе
Ударить прямо на чело, –
Я сам, – я сам найду его,
Постигну, – поспешу навстречу...
Нет в самых небесах руки,
Что от положенного зла

В сей горькой жизни бы спасла! –
Нет оной, – слышу лет колеса;
Я слышу – бич небесный воет!..»

Сказал, – и с громом потряслась
Под ним растреснувшись гора. –
Тут засверкал в очах его
Сквозь слезы некий дикий огнь;
И он, – прияв в дрожащи персты
Гранитный изощренный нож,
Наднес его на бьющусь грудь;
А ради бодрости ужасной,
Подобно лебедю при смерти
На тихих берегах *Меандра*,
Он в исступленьи возгласил
Последню гибельную песнь:

«Вот пропасть! – вижу здесь ее;
Здесь вечная ничтожность, – благо!
Туда я поспешу, – что медлить?
Там – скроюсь от всего на веки;
Там, – где светило восходяще
И возвращающись луна
Туман тлетворный извлекают
И пьют пары густые бренья, –
Там буду спать, – как позабыта
Во всей природе вещь ничтожна, –
Доколе кровь оземленится
И израстит волчцы и лютик,
А череп голыя главы
Во прахе смуром побелеет;
Увы! – когда Судья небес
Из грозной тверди воззовет
К сим трепетным костям шумящим,
Едва ль в сей день они услышат
Творящего Господня гласа? –

Едва ль душа моя услышит
Всемощный сей глагол: восстани!
Иль животворный звук трубы? –
Быть так! – я уничтожусь вечно...
Забуду, что я был, – и буду, будто не был;
Кто зритель? – никого здесь нет;
Пусть бури сопроводят к смерти!

Воздушны силы! – яры бури!
Завойте в звонких сих пещерах,
Вертите флюгеры на башнях,
Гасите факелы у жертв!
А ты, – ты, черна птица ночи,
Запой теперь мне смертну песнь! –
Я слышу *парок* томный шум;
Я слышу, как они за мной
При гаснущей лампаде жизни
Спешат окончить скучну нить
И горький труд свой услаждают
Пророческим унылым пеньем.
Какое адское согласье!
Так, – слышу; се они поют?

«Звучите, ножницы железны,
И кончите судьбу творенья, –
Несчастного сего творенья! –
Нет более уже надежды,
Чтоб дряхлу пряжу продолжать;
Уже устала *Клота* прясть. –
Позволь, *Зевес*! – и нить прервется.
Звучи, железо! – рви нить жизни?»

Увы! – я слышу песнь сию,
Я слышу адский приговор. –
Всемощна, – сильная судьба! –
О если бы я заблуждал! –
О если б ты была теперь

Тем первым божеством благим,
Которого давно ищу,
Дабы отсель меня исхитить! –
Поведай мне! – я в ту ж минуту
Охотно пред тобой повергнусь;
Уже язык мой окончал
Всю повесть дней моих плачевных. –
Богиня! – убивай! – вот грудь!
Вот век мой под твоим ударом!
Пусть вечна ночь забвенья снидет
С своею тьмою седьмиричной
И поглотит мой черный век! –
Се нощи дверь! се одр готов! –
Он тесан из бессчастных камней;
Там лягу, – лягу я конечно,
И пусть пылиной паки буду!
Пусть буду сим: *ничем*! – *Саддок*![1] –
Что я, несмысленной, изрек? –
Я слышу бурю, – дух мятется».

Так умствовал несчастный сей!
Внезапу нечто прошипело,
Подобно молнии сквозной,
В обвороженный слух его. –
Ему то чудилося бурей;
Он мнил, – не пар ли то горящий?
Иль воздух запертый в пещере,
Движеньем тела запаленный? –
Его объемлет хладный пот;
В крови по жилам ходит мраз;
Власы вздымаются на нем;
Он вне себя, – он цепенеет,
Он паки видит, – слышит нечто –
Там в мраке, – в темном дальном своде. –

[1] *Саддок*, еврейский скептик и начальник саддукеев.

Тут он, собрав последни силы,
Дерзает тако возопить:

«Что б ни было сие, – пойду,
Пойду на глас сей роковой! –
Что здесь меня остановляет? –
Ужель? – ужель мечты виются?
Ужели призраки восстали? –
Кто ты, – ужасно бытие?
Мечта ли ты? – иль божество? –
Иль Гений гор? – иль Ангел неба? –
Иль дух сих праотцев лежащих? –
Сын камени! – откройся мне!
Рассей воображений мрак!»

«Остановись, души убийца!» –
Так све́тозарный Ангел тут
Под мрачным сводом загремел;
Пустынник, огромленный гласом,
Стоит недвижим, как гранит,
Но возвращает смысл и внемлет:
«Остановись, души убийца!
Тебе Отец духов глаголет;
Почто ты тонешь в глумных мыслях?
Познай! ты человек, – ты перстен;
Но сам себе ты неизвестен.
Будь проклято твое желанье,
С которым чаешь – *быть ничем*!
Вещественный сын бренной плоти! –
Как? – ты желаешь – *быть ничем*! –
Что ж значит: *быть ничем*, – ответствуй! –
Но ты не можешь отвечать...

Конечно, – должно все истлеть,
Что смертного остаться должно,
Что в долг стихии поручили
И будут требовать назад;

Истлеть в гниющей персти тела,
Где дом тебе – земля сырая,
Имущая в прохладном лоне
Тебя качать в глухих дремотах;
Где брат твой – неусыпный червь,
Сестра же – ночь, глубока ночь. –
Вот все, что значит: *быть ничем!*

Но ты, – ты мыслящий теперь,
Духовный человек, – сын неба, –
О важной сей статье судящий, –
Кому бессмертна матерь – вечность,
Кому и брат и друг – есть Ангел,
Кому сестра, подруга – слава!
Куда ты мнишь полет свой взять? –
В безвестный круг, – в бескровно царство, –
В духовну область тех умов,
Которые там, – там сияют? –
Но как ты мог возмнить, что здесь,
Где бренны кости спят сии,
Сокрылось совершенно все? –
Сии останки человека
Суть только дряхла оболочка,
Однак не самый человек. –
Премирный человек смеется
Кривому лезвию косы,
Пределам места, временам. –
Он умирает, – без сумненья;
Но возрождается опять.
Он в мрачную падет могилу,
Но паки восстает оттоле. –
Отечество его есть – небо,
А достояние – сам Бог. –
Сей человек неборожденный, –
Сия бессмертна *самобытность*[1]

[1] Substantia.

И боготочная струя,
Простясь навек с земною пылью,
Взирает с неким омерзеньем,
Как в ветрах прах его крушится,
Взирает, – отвращает зрак;
А сам, – как небо-парна сущность,
Втекает в удаленну вечность. –
Но ты ль, – сын персти, – мнишь проникнуть,
Чего не знает плоть и кровь?
Ты ль мнишь, что создан ты во гневе,
Что ты рожден лишь для земли,
Земли страданья и терпенья? –
Как? – разве то совсем не разум,
Чрез что теперь о сем ты судишь! –
Твой разум, – разум есть порука
В бессмертии твоей души. –
Тот, кто возможет все творить,
Распространяет бытие
Свое с другими существами. –
Производить и сохранять,
Но никогда не разорять –
Могущества есть высша сила;
Она не действует над тем,
Чего меж бытиями нет.
Отец духов не есть Бог мертвых;
Он Бог, – Он Бог есть вечной жизни. –
Итак, – еще ли ты отчаян?

Ответствуй мне еще, сын неба!
Имеешь ли ты срок довольный
Все страсти в жизни покорить
И в добродетели чистейшей
Установить мятущусь душу,
И, прежде нежели умреши,
По всем степеням перейти
От совершенства к совершенству,

И наконец – достигнуть цели? –
Возможно ль, – чтоб *безмерно мудрый*
Соделал славные творенья
Для низкой цели, – жизни сей? –
Ужли он будет веселиться,
Создав умы несовершенны,
Единым их скоротекущим,
Хотя разумным бытием? –
Как можно в жизни сей достигнуть
Пределов точных совершенства?
Дух шествует без остановки
До высоты своей природы,
Но шествует он так, что крайних
Ея концев не достигает,
Подобно той *черте*, что ближе
К *другой* во всю стремится вечность,
Но никогда сойтись не может. –
Сие безмерно возрастанье
Познанья, – славы, – совершенства, –
Сей непрестанный переход
От силы к силе и доброте,
От доблести одной к другой, –
Сей дальновидный духа путь,
Конечно, Божеству угоден,
Когда Он пред собою зрит,
Что тварь возлюбленна Его
На целу вечность расцветает
И ближе шествует к Нему
По высшим степеням подобья. –
Так, – дух твой в лучшем небосклоне
Узнает точку совершенства. –
Сам первозданный *Элоа*,
Что человеческой душе
Теперь здесь зрится божеством,
Весьма подробно понимает,
Что будет в вечности вращаться

Тот круг, где человека дух
Быть должен столь же совершен,
Каким он зрится сам теперь. –
Ах! – как же ты, злосчастный сын,
Дерзнул желать толь беззаконно,
Да сократится краткость дней,
Где дух твой не успел еще
Уроков первых изучить? –
Предайся лучше Провиденью!
Молчи, – учись, – терпи, – покорствуй –
И жди удара! – но не так...
Не состоит в твоей он воле...»
Так Ангел рек... и вдруг сокрылся.

«Небесный юноша! – ах! ты ли? –
В слезах тогда пустынник рек, –
Ты ль Божий страж души моей? –
Почто толь скоро ты летишь?
Какой ты свет теперь открыл? –
Ах! – как я в мыслях мог забыть,
Что Божеский закон всевечен;
Что он же есть во всей природе;
Что, миновав его, – падешь;
Лишь шаг, – и в вечну смерть падешь;
Как мог забыть, что он есть меч,
Что, обращаясь кругозорно[1]
Поверх главы, шумит немолчно;
Что, если б кто воздвиг главу
Превыше кругозора, – ужас...
Что перескок? – незрелый шаг;
Желав безвременно удара,
Не враг ли я сего закона? –
Так, – я не властен в сем ударе;
Терплю, доколе существую;

[1] Горизонтально.

Никто завесы не разверзет,
Котора покрывает вечность. –
И сама просвещенна мысль
В своей стезе молниевидной
Должна иметь стократный отдых,
Чтобы постигнуть вечный круг?
Едва ль язык мне *Серафима*
Довлеет описать сей круг?
А мне закон велит созреть
И приготовиться в сей круг.

Но прежде, нежели отыду,
Да обнажу все сгибы сердца
Пред выспренними небесами! –
О Боже! – кто я пред Тобой?
Что бытие мое Тебе? –
Ничто, – а Ты, – а Ты мне все. –
Ты Бог и в самое то время,
Когда мои издавна кости
Не будут кости человека.

Но нека нравственная жажда,
Неутолима никогда,
И нечто, реюще вперед
И алчущее совершенства, –
Дух мой, способный черпать небо,
С Тобой соединиться должен. –
Сие, – сие мне Ангел рек;
Сие теперь я познаю;
А без сего б – я не желал
Быть создан, – видеть день и солнце.

К Тебе, – о Боже! – возвращаюсь
Из глубины юдоли слезной;
Тебя ищу, – к Тебе взываю;
Коль не было б в Тебе любви,
То нет ея во всех мирах,

То жизнь дана лишь на мученье,
То вечно должно быть несчастну;
Увы! – дерзну ль сказать теперь? –
Нет блага в небе, – нет Тебя!..
Но если Ты любовь всевечна
И Ты одеян в кроткий свет,
То Ты еси, – и я – блажен.

О Боже! – Ты единый знаешь
Небес движенье, – древ паденье;
И хоть малейший некий червь
Падет со шелковичной ветви,
То Ты, меж песней *Серафимов*
Его низлет печальный слыша,
Спасаешь на всемощных крыльях;
Тогда сему дивится Ангел
И цепенеет самый ад;
О Боже мой! – не загради
Твоих всеслышащих ушес
Пред тем, – который без Тебя
Падет в отчаянье ужасно! –
Ах! – подкрепи меня, Всесильный,
И примири мой дух с Собой,
И, из ничтожности изринув,
Мне возврати крыле бессмертны!

Ты, *мравий*, под стопой ползущий!
Почто бежишь от рук моих? –
Творец мой тот же, что и твой;
Природа вызывает в твердь
И для меня, и для тебя
Едино розовое утро;
Ползи по длани сей спокойно!
Я стану созерцать тебя
И мыслить, – нет ли внутрь тебя
Какого поученья мне
Или подобия со мной;

И ты – увы! и ты, мой друг,
Состареешься, мне подобно;
Получишь крылошки, – но бренны;
А я бессмертия крыле;
Не так ли? – но я сам собою
Доволен быти не могу,
Что позже я тебя, мой друг,
Созрею к вечной, страшной жатве. –
Ты должен постыдить меня
И укрепить во мне надежду.

Ах! – как предстану я туда? –
Явися предо мною, – время
Прекраснейшее в целой жизни! –
Явися, *юность*! – ах! Создатель!
Я громко изреку сие;
Пусть слышат *Ангелы* Твои! –
Достоит ли раскаяваться
О юных днях моих прошедших?
Ты управлял тогда стопами,
Скользящими в долине мира;
Прости мне, Отче дней моих,
Когда не все шаги стремились
На пользу сердца моего! –
Ты благ, – я смерти жду спокойно;
Но столько живши – заблуждать! –
Где, *муравий*? ты, что пресмыкался
По сей сухой моей руке! –
Где ты, бессмертия учитель!
Ты паки скрылся в неизвестность,
В свою блаженну неизвестность.

Се одр! – Се сад, где прах наш тлеет,
Где кровь запекшаяся зреет,
Где семя плоти к славе спеет,
Да к жатве вечности возникнет! –

Тут буду я лежать дотоле,
Доколь вертится мир, – потом,
Потом проснуся в новом мире,
Что не вертится никогда;
Кто ж? – кто меня туда проводит?

Солнцеобразна дщерь Сиона! –
Броня и щит от молний Божьих!
Полдневно истинно светило!
О кротка, благодатна Вера,
Которая одна в то время,
Как все истлеет, – твердь совьется,
Растопятся миры горящи,
Или, отвсюду приходя,
Они низринутся все в чашу
Спущенных от небес весов,
Взгремят и звон произведут,
Сребру подобящийся звон,
Провозвещающий суд Божий,
Одна ты в ризе боготканной,
Одна ногой попрешь своей
Луны дымящуюся персть
И прах курящийся *Урана*,
Сатурна, *Марса* и *Венеры*!
Будь спутницей моей туда,
Туда, – в ту дверь безвестной бездны,
Котору сильна смерть отворит!»

Так размышлял тогда пустынник,
Бальзам отрады ощутив;
Но он не долго после жил. –
Сарматский некий злый пастух, –
Увы! – совет лишь раздражил
И был ценою живота, –
Пастух сразил его копьем;
Страдалец воздохнул – и лег.

Вот плод насилия *сарматов*!
А таковых – исчислить невозможно,
Вот что причиной сих гробов
И сих пустынных мудрецов!

Да возвеличится вовек
Престол великий полунощи! –
Коликократно он смирял
Сих хищных и продерзких тигров,
Которые, из мрачных лыв
В стадах суровых исторгаясь,
Ристали по градам, – вертепам
И похищали тьму добыч;
Добычи ж – безоружны зайцы;
Корысть их – были смирны агнцы;
Они не стригли их руна;
Но целу кожу отторгая,
Их плоть дрожащу поядали
И тем их пажить оскверняли. –
Так зубы зверски здесь терзали
И обесчадили весь остров. –
Как сын *Агари*, в честь полнощи
Я не сказал бы ничего;
Но благородна власть ея
Всегда возмет над югом право. –
Коликократно Белый Царь
Прощал сии толпы продерзки,
И исторгал из тесных уз
Зависимости раболепной,
И даровал им вольность? – что ж?
Неблагодарность и раздор
Еще *стигийскую* главу
Из праха к тверди поднимали;
А крамола еще таилась
Во мрачности густой плевы. –
Расторгнуть, – надлежит расторгнуть

Сию столь стропотну плеву,
Чтоб крамола не разродилась. –
Се горька казнь во всеоружий
От дальних северных пределов
На бурных шествует стопах. –
Почтенный старец, *Долгоруков*,
Под тению знамен священных
Покрыв свои седины шлемом,
Карает буйные сердца:
Он старческу свою десницу
Воздвигнул, как десницу смерти;
Тут мнилося, что сами *звезды*,
Спустясь в горящих колесницах
На помощь орлосердым *россам*,
Шли в жаркий бой противу *тавров*;
Тогда мечи молниевидны
По выям бегали упорным,
Свистали, гнулись, секли, рдились;
Снопами выи с плеч катились.
Тут с ревом падал *скифский Марс*;
Железны зубы псов его
От громов российских сокрушались,
А пламенных коней копыта
На праге смертном притуплялись. –
Но то начало только было. –
Любимец счастья несравненный[1],
Гремящей славы редкий сын
Все то с успехом совершает. –
Его блистающая мышца
Не ино что, как медян щит. –
Направя молнию меча,
Он бури грозны отвращает,
Крамольников уничижает,
И полуостров осеняет

[1] Покойный кн⟨язь⟩ *Потемкин*.

Прохладной тенью крыл орлиных,
И именем Царицы славной
Весь наполняет *Херсонис.*

Ты ль, – ты ль, Великая в владыках!
Нисходишь с высоты престола,
От моря шествуешь до моря
И взорами одушевляешь
Сии долины и хребты,
Богоподобная Царица? –
Так, – ты предел сей освятила. –
Да будет трон твой боголепен,
Покрытый половиной неба,
Имущий в твердую подпору
Блестящих пятьдесят столпов,
Имущий стражами всегда
Премудрость, – верность, – прозорливость!
Пускай в единый край его
Аврора сыплет луч алмазный
Тогда, как край другий его
Вечерне солнце озаряет!
Пусть третий полнощь облекает
Меж тем, когда четвертый край
В полуденном блистает свете;
Да тако трон твой вечно зрит
Сии четыре виды суток,
Превозвышаясь над семью
Зерцалами морей глубоких,
Стоя незыблемей и тверже,
Чем величавый *Чатырдаг*
Или *Кавказ*, покрытый снегом,
Иль седоглавый *Верхотур*! –
И кто тебе противостанет? –
Кто не признает предержащей
Твоей высокой власти силу?
Тебе всегда щиты готовы;

Гора *Кавказска* и *Рифей*
Надвинут медные хребты
И зазвучат стопой железной. –
Но ах? – где севера Царица? –
Во гробе; лейтесь слезы скорби! –
Но внук, – но внук ея Великий
Объемлет Росскую *державу*
И полпланету озаряет;
Приемлет жезл правленья, – милость
Стремится через полпланету
Струей небесной в мрак темниц
Иль в хижины заслуг забвенных;
Приемлет меч, – и правосудность,
Как молний луч, туда пронзает,
Где роскошь с леностью гнездилась;
Уходит роскошь, – бдит порядок;
Да будет Царь благословен!

Уже теперь ни *савромат*,
Ниже *Исмаила* сын буйный
Не поколеблет здесь покоя. –
Где древле *Херсонисский* град
На бреге процветал стремнистом,
Пучинородный там залив,
Во внутренность брегов просекши
Глубокие другие втоки,
Затишну пристань составляет
Для росских флотов ополченных;
Там исполины воскрыленны,
Имущи семьдесят гортаней,
Под тению навислых камней
Безмолвствуют в покое мира;
Но в брань торжественно ревут
И, роя ребрами валы,
Рыгают смерть из медных жерл. –
Тогда зеленые *дриады*,

Что были души *брянских* сосн
Или дубов *днестровских* твердых,
Объемля сестр своих, *наяд*,
Сих душ *Эвксинских* черных вод,
Бегут и пенят грозну бездну;
Бегут и, зыбию играя,
Секут упругую пучину,
Провозглашая смерть врагам. –
Другие громы отдыхают
На высоте брегов понурых;
Нет, – все устремлены стоят
Через пенисты черны волны
Против чела столицы гордой.

Коликократ орлы отважны
Терзали злобных тех драконов,
Которы, тщетно исторгаясь
Из тьмы *Фракийских* мрачных гор
И вьясь под орлими когтями,
На воздух изливали яд? –
Чесма те раны вспоминает,
Что в ней произвели они.
Едва упела их забыть,
Как вдруг опять подновлены
Среди *Эвксина* и на суше.
Кому сей случай не известен,
Могли ль *срацины* устоять
Близ *Меотийского* пролива?
Могли ль они под Гаджибеем
Соблюсть пернатых исполинов,
Как гнал их росский ярый гром,
Стремясь из крепости крылатой,
Котора волны рассекала,
А под ребром ея дубовым
Бурливые валы завыли. –
Ни смуглы *азиатски* вои,

Ни чада *Африки* кипящей,
Ни хищный мстительный *алжирец*
Не защитилися от грома,
Которой россы непрестанно
Метали в черные их чела
И непрестанно побеждали. –
Лишь *Дакия*[1], как поле *Марса*,
Пожравши трупы *агарян*
И упоенна кровью их,
Тучнеет токмо в землелогах. –
Чего не делал тамо меч,
Когда верховны воеводы
Полночных, грозных, стройных сил
Крутили в пламенных кругах
Свои ужасные десницы,
Десницы яростной судьбы? –
Чего не делали доселе
Безбрачны рыцари отважны
Фанагорийских берегов
Иль славна острова Туманов?
Надеясь, что *Воспорский* край
Оплотом полным ополчен,
Соединяся в дружну рать,
Вселяют ужас непрестанный
В восточные пределы Понта,
Где прежде жили героини,
Подобно им, безбрачны девы,
Где ныне зверонравны сонмы
Гнездятся меж гранитных скал.

По таковых победах громких
При таковых защитах твердых,
При сих стенах одушевленных
Возможно ль, чтобы *Херсонис*

---

[1] *Молдавия.*

Не благоденствовал вовек? –
Все то, что замыслом *Эллады*
И *Генуи* трудолюбивой
Оживлено и рождено
И что бурливыми толпами
Сокрушено, – умерщвлено,
Все возродится, – оживет. –
Конечно, – там, где процветают
Альпийски леторосли нежны,
Гельвеция вторая будет,
Там мир с обилием, обнявшись,
Лобзаться будут меж собой;
Там в тишине блаженных дней
Миртиллу Дафниса не скажет:
«*Миртилл*! – ах! – как ты посмуглел?
Ты долго в поле брани рдел;
Военный бой красы сгубляет;
Как ныне белое лице
Миртилла моего любезна
От солнца в поле загорело?»

Но если б росски Геркулесы,
Одушевленные Минервой,
Ступая на сии хребты,
Здесь лики водворили муз
И преселили в мирны сени
Столетни опыты *Европы*
На помощь медленной природе,
Тогда бы гордый *Чатырдаг*
Меонией прекрасной был;
Салгир – чистейшей *Иппокреной*;
Тогда исполнился бы тот
Период славный просвещенья,
О коем беспримерный ПЕТР
Пророчески провозвещал;
Бессмертны б музы совершили

Столь дивно странствие свое
И *эллиптический* свой путь
Скончали б там, где начинали. –
Из знойного исшед *Египта*
В *Элладу*, на брега *Эгейски*,
И поселясь при гордом *Тибре*,
Тамизе, *Таге* и *Секване*,
Дунае, *Рене* и *Неве*,
Обратный путь бы восприяли
И возвратилися в источник. –
Тогда бы новые *Омиры*,
Сократы мудры и *Платоны*
На горизонт наук возникли
И потекли бы, как светила,
По новому порядку лет. –
О – будь благословенна, полночь!

Вот – что, как старец беспристрастный,
Я должен был сказать в честь россов! –
Но да почиют с миром тени!
И мы, – и мы отыдем к ним. –
Прощайте, пастухи! мир вам!
Мир вам средь тихих сих холмов!
Да веет вечно дух любви!
«О! – венценосны существа,
Парящие в сии минуты
Над спящим вашим прахом в мире! –
Пребудьте соприсущи *музам*,
Которы некогда приидут
В сию обитель размышленья
И будут так, как вы, парить
Торжественно на крыльях мыслей
В неизмеримые пространства,
Где вы наследье обрели! –
Теперь простите! – но и я
Сейчас – иль завтра свижусь с вами...

О вечность, – непостижна вечность!
О духи! – будьте здесь присущи!
Приходит час сей». – Тут умолк.

Умолк; – а кроткая *камена*,
Плененна сладким гласом старца,
Еще внимать в то время чает
В своем обвороженном слухе
Звенящий сладостный сей глас;
Но тут *Шериф* уже простился,
Отшед – как Ангел-посетитель. –
Камена будто неки видит
Подобны молнии черты
И буквы пламенны во мраке;
Читает их – и печатлеет
Внутри своих кипящих персей;
Потом, прияв цевницу нежну,
Которая досель молчала,
Провозглашает песнь восторга.

«Будь ввек твое священно имя,
Сын гласа, – гость пещер и гор!
Да снидут с высоты скорее
Сии минуты вожделенны,
Как будем паки повторять
Беседы будущие мудрых
И громко восклицать векам!»

Шериф с Мурзой спешит с горы. –
Палящий зной остановляет
Свой ключ кипящий над главой. –
Но черны облака спускают
Над ними тень свою прохладну;
Они к убежищу стремятся.

Меж тем усердны пастухи,
Отшельцов величая сих,

И само эхо пробудили,
Которо песнь твердило их.

1 пастух

Будь в век благословен, сын неба,
Сын *гурии* бессмертно-юной!
Да поспешат с седьмого неба
Те райские минуты снити,
Как *Белого Владыки* имя
На разных языках в сих долах
Немолчно будет пето в веки! –
А вы, – немеющие кости! –
Сокровища гробов печальны!
Неведомы останки тел! –
Дождитеся зари небесной,
Которá после снов глубоких
Пробудит вас, – потом восстанет,
Как воссияет новый мир! –

ЭХО

Мир...

2 пастух

О вы, – оземлененны члены!
Чьи б ни были? – *Омара, – шейха*,
Или ужасного *Мамая*? –
Пусть отдыхаете до дня,
До общаго всем дня суда,
Как в свет одеянный Пророк
Вас паки соберет из персти
Под животворну ризы сень! –
Какая ж сень? не нощи ль тень? –

ЭХО

День...

1 пастух

Замбека! – можно ль здесь сказать? –
Замбека! – ты живи еще! –
Но если нека есть печаль, –
О! пусть она бежит далече! –
И ты вздыхаешь иногда: –
Увы! – где свет без тусклой тени? –
Тогда возможно ли страшиться? –
Тогда не смерть – она лишь к злым
Во образе *Мегеры* сходит;
Но *Гений* кроткий, – светоносный
Возьмет тебя рукою нежной
И в вечных недрах *Эмпирея*
Твою печаль преложит в нектар. –
Там, – там на тихом лоне неба
Тебя лелеять будет мир,
Чтоб ты забыла желчь и горечь,
Что пило страждущее сердце;
Ты внидешь в млечный вертоград!

ЭХО

В вечный град...

2 пастух

Сульмена! – ты еще должна
Счастливой жизнью наслаждаться;
Но ежели б какая горесть
Стесняла белу грудь твою, –
О! – да не будет сей тиранки! –
То ты должна ли унывать,

Когда не смерть, – но тихий *Инг*[1]
Возьмет тебя за белу руку
И ризу *гурии* наденет
На плеча мраморны твои. –
Там, – на седьмой степени неба
Все горести, – как ты избранной
Наперсницей Пророка будешь. –

ЭХО

Забудешь.

«О сын *Афетов*! – он примолвил, –
Уже отселе скрылся старец. –
Пойдем! – оставим место страшно!
Уже довольно прохладились
Под свесом сих студеных сводов,
Где тень глубокая густеет
В отсутствии от солнца вечном. –
Стада нас ждут, – бери свой посох! –
Вот лествица! – ужели жар» –

ЭХО

Доселе яр?

Сказал – и вышел из пещеры;
За ним последовал сопутник;
Лишь эхо их твердит шаги;
Но я, – я долго б пробыл здесь.

Ступайте вы, – *Агари* чада! –
Здесь хладен мрак сгущенный, – правда;
Но он торжествен и священ;
Люблю чертог небесных мыслей
И глубину уединенья.

[1] *Инг*, у магов Ангел.

Да, – подлинно душе священны
Сии места уединенны;
Все тихо здесь, – все здесь приятно;
Но – если бы была подруга...
Моя любезная – *Сашена*...
С подругою небесны кровы
Еще б небеснее казались;
С ней вдруг я два бы неба видел;
Едино в ней, – другое вне...

Меж тем – как я здесь размышляю,
Вдруг мельк! – какой сребристый луч
Блеснул в отверстие пещеры
И, в воздухе дрогнув трикраты,
Кривой рассек тьму полосой,
И обнажил пещерны гробы;
Еще луч мельк!.. потом в глуши
Рев некий низом пророптал;
Потряс весь воздух, – вдруг в стенах
Толпы слепых нетопырей
Вострепенулись, – запорхали;
Что их полет стремит? –

ЭХО

Гремит!

⟨ПЕСНЬ ШЕСТАЯ⟩

Содержание

Гроза над Таврическими горами. – Разные перемены во время ея. – Молния и треск громовый. – Надежда караибов, или таврических евреев, при сем. – Мольба к небесному громовержцу. – Многократное повторение громовых ударов с толиким же возблистанием. – Воспоминание Рихмана, смертельно пораженного громом. – Беседование при сем Ломоносова. – Дождь и буря. – Повал хлеба на пашне. – Плач земледельца в сем случае. – Перемены на море. – Отшествие грозы. – Последственное движение остальных туч между горами. – Радуга. – Оживление и возобновленный труд растений. – Радость животных. – Прогулка и купанье татарской княжны Цульмы. – Печальное ея ожидание любезного Селима, молодого татарского мурзы. – Наступающая красота вечера. – Она мало значит без сердечной подруги.

Гремит, – отколе важный глас?
Из коей дальней тверди рев
В глухих отзывах здесь вторится
И подтверждает неба гнев?
Отколе весть толь грозна мчится?

Возлюбленна моя *камена*!
Трепещет ли твоя здесь арфа?
Ах! – ты робеешь в грозный час
Поведать торжество небес!
Почто робеть? – Пусть нова нощь,
Нависнув тамо – над горами,
Надутым тяготея чревом,
Покров свой черный развивает

И тусклым ликом помавает!
Ужасна нощь, – но лучший час
Для возвышенных чувств и мыслей!

Зри! – как там дикий пар сизеет
И стелется между горами!
Зри! – там еще ужасна мгла
Над той синеющей дубравой
Растет, – густеет, – выспрь идет!
Се тот зловредный прах клубится,
Который зноем извлечен
Из сокровеннейших одров,
Где тайны руды спят во мраке,
Где воздух тайный, смертоносный,
Облегши темны минералы,
В покое роковом висит
И ждет путей, чтоб вспыхнуть с треском!
Се ключ, отколе прах исходит!
Он к темю сих хребтов влечется,
Сокрытый пламень заключая,
Сседается, – тучнеет, – вьется
И, лик светила закрывая,
Сиянье помрачает дня!

В сей грозной, безобразной туче
И самый мрак чермнеет, рдеет,
Сокрыв в себе источник бедствий,
Сия ужасная громада,
Эфирным спором раздраженна,
В бурливых вихрях брань вжигает.
Летят противны ветры в тверди
Спирают тучи меж собою;
Но долу все еще спокойно;
Безмолвье мрачно, роковое
В юдоли царствует плачевной;
Лишь в тощих, шумных камышах

Мне чудится в сей страшный час
Органный некий тихий звук;
Зефиры грозных бурь, трепеща
И зыбля сетчатые крылья,
Лишь только шепчут меж собой
И, крылышком касаясь струн,
Чинят в сей арфе некий звон;
Лишь только слышен дикий стон,
Из сердца исходящий гор,
Предтеча верный сильной бури.
Он долу с ропотом катяся,
Без ветру горны рощи ломит,
Без ветру листвия щепечут
На ветвях тополов высоких.
Зри там! – вдали, – в долине илем,
Вблиѕи *Салгирского* потока
Не престает пред гласом неба
Со страхом неким преклоняться!
Сей стон пронзает черный понт,
Мутит с песками темну бездну.
Стада дельфинов выпрядают
Из под чернеющих зыбей;
В волнах, как в шатких колыбелях,
Играют, прыгают, ныряют;
Ключи воды соленой бьются
Из водометных их ноздрей;
Вокруг колеблемых судов
Они резвяся, предвещают
Пришествие грозы ужасной.

Вдруг с страшным шумом пыль воздвигшись
То клубом, то крутым столбом,
То легкой некой серой тучей,
И степь и стогны поглощает;
Летят разметанные скирды,
Крутясь на крыльях урагана.

Несчастный путник цепенеет
И, в пыльном вихре задыхаясь,
В лощину перву повергаясь,
Глаза руками зажимает,
Насильны слезы отирает
И ждет, как небо прояснится.

В утробе мельниц возвышенных,
Стоящих гордо над пустыней,
Гремит механика сильнее
И плод *Цереры* превращает
Мгновенно в мелку снежну пыль;
Там жернов, средь колес ревущий,
Вертится быстро, мещет искры;
Отвислы их крыле широки
От напряженья бурных вихрей
Быстрейшей силою крутят
Горизонтальный оборот.

Воздушны жители слетают
Стремглав в глубокие юдоли;
Их быстрому полету крыльев
Попутны ветры помогают;
Едва бурелюбивый вран
Тогда дерзает воспарять
Среди сумраков неизвестных.
Стада, остановляясь с страхом,
На гневны мещут небеса
Слезами очи окропленны.
Бледнеющие пастухи
Под блещущьми кругами молний
Бегут, накинувши па плеча
Убого рубище свое,
В ближайшу кущу опрометом;
Но ежели ее находят
Наполненную пастухами,

То под навислостью скалы
Покрова ищут для себя.
И я, – я также уклонюсь
Под сей камнистый, грозный свес
И буду ожидать чудес...

Се! – там в окрестностях селенья
Шум раздается вещих птиц,
То *гогот* гуся, то *крик* врана!
Се! – петел громко возглашает!
Конечно, сей печальный вестник,
К пределам обратясь грозы,
Провозвещает неба гнев
И слезный час страданья твари!
Се! – петел повторяет весть!
Конечно – между сил небесных
Совет ужасный заключен,
Чтоб бури с громом покатить
Под рдяным троном *Иеговы*!
Все, – все теперь недоумеет,
Дрожит, – трепещет – и немеет;
Но вдруг внезапный быстрый блеск
Сверкнул – и дальний юг рассек.
Чем гуще мрак, тем блеск ярчее.
Не таково ли светоносно
Горящих царство Херувимов?
Не се ли тот объемный миг,
Что мещет в дольний мир с эфира
Всевидящее страшно око!
Но ах! – в одно ли место мещет?
Нет – там и здесь, – спреди и с тылу
Иль вдруг меня вокруг объемлет;
Куда ж теперь бежишь, несчастный?
Куда укроешься от ока,
Что, в быстрых молниях блистая,
Тебя преследует повсюду?

Чу! там гремит! гремит протяжно!
Какие бурные колеса
Ревут по сводам раскаленным?
Не тьма ли молотов колотит
В горнилах тверди углубленных?
Или теперь природа страждет?
Или грядет Судья вселенной
С своим лицем молниезрачным?

О *караибы*! – вы кого
При храминах отверстых ждете?
Того ль, что в молниях багряных
И в громе от страны восточной
На ваш камнистый снидет *холм*[1]
И в вашем шумном синагоге
Откроет вам в себе *Мессию*,
Который возвратит *Са̀лим*
И Соломоново блаженство?
Сего! – так это царь от мира;
А сей есть Судия небес,
Который ваше заблужденье
Единой молнии чертой
Довлеет в миг един рассечь!

«Ужасен глас Твой, Судия!
Глагол Твой дольний мир колеблет.
Тебе предыдет сонм огня;
Зодиак чресла вкруг объемлет,
А мрак и буря за Тобой;
Ты в ужас облечен такой,
На ветреных крылах несешься;
Какой же приговор, – о Боже,

[1] *Джуфут-кале*, так называемая жидовская крепость, построенная на одной высокой горе в *Таврии* близ *Бахчисарая*, где живут евреи, во многом отличные от польских.

Ты робким тварям изречешь,
Сим червям немощным и слабым?
Ужели Ты – небесный Отче,
Который потрясаешь сферы,
Колеблешь словом твердь без меры,
Которого единый взор
Средь самой чистоты души
Провидит черноту сокрыту,
И что? – в святом зрит существе
Духов шестокрылатых тьму, –
Ужель перуны устремишь
В пылинки малы, оживленны
Твоей любовью бесконечной,
На коих Ты среди перунов
Осклабленным лицем взираешь?
Нет, паче громовым ударом
Ты рассекаешь гордый дуб,
Чем нежный и смиренный мирт.
Ах! горделивый человек!
Ты, что одеян в власть пустую,
Совсем не знающий того,
О чем ты более уверен,
Ты, что перед лицем небес,
Подобно как *уранг-утанг*[1]
Тщетою токмо раздраженный,
Мечты пустые представляешь,
Что Ангелов приводят в слезы, –
Страшись пылающей десницы!
Сей глас, ревущий в черной туче,
Гремит для стропотных сердец
И в них вселяет бледный трепет;
Тебе же, о душа невинна,
Языком кротким Серафима

---

[1] Род большой обезьяны, совсем похожей на человека.

Мир, тихий мир средь бури шепчет;
Душа! не содрогайся в буре!
Содрогнется ли тот, кто чист?
Подвигнется ли тот, кто прав?
Хотя б ревуща пала твердь
В развалины вселенной дымны, –
Сей дух неустрашим пребудет.
О! – пощади тогда меня,
Неизреченный Судия!
Се! здесь колена преклоня
И с томным содроганьем сердца
Лобзаю ризы Твоея
Воскраия огнеобразны!
Я трепещу звучать на арфе;
Но Ты позволь хотя с дрожаньем
Взыграть на арфе страшну песнь».

Еще черта мелькает сиза!
Едва мелькнет – зияет туча
И вдруг сжимается опять,
Сжимается – зияет паки
И протягается, объемлясь
Огнепалящим всюду морем.
Уже от ската *Чатырдага*
И от других стремнистых гор
К соседним скатам стук отдавшись,
И многократно отражаясь,
Несчетны делает углы
В своих быстротекущих звуках.
Чу! гул троякий, пятеричный!
Он подлинный перуна глас
Твердит в твердынях долго, долго.
Когда совокупит в едино
Все звуки меди в дольнем мире,
То все они, совокупленны
Против него, – лишь суть жужжанье.

Еще блестит, еще гремит!
Вторый – и третий раз блестит!
Вторый – и третий раз гремит!
Свет кровы мрака раздирает;
Гром долу робкий мир сдавляет...
Вдруг твердь трещит – и с тверди вдруг
В тьме стрел иль в тьме сребристых дуг
Слетел стремглав смертельный блеск;
В тьме выстрелов сей резкий треск
Рассыпался над головой!
Вот гул меж гор завыл двойной!
Промчался в долах с стоном вой!

Безбожный! изувер! куда?
Под каковые темны своды
Теперь укрыться татьски чаешь?
Ты скрыт, но мрачна мысль твоя
Видна и в ночь пред оком неба.
Давно ль ты утверждал безумно,
Что Бог быть должен Бог любви
Для буйственных твоих желаний
И быть лишь токмо милосердым;
Или – располагать Себя
По воле суетной твоей,
Чтоб ты в злосердьи был свободен?
Как? – должен Он забыть премудрость!
Он должен пременить любовь,
Всевечную любовь к порядку!
И Свой святый закон предать
Презренью твоему, кощунству,
Глумленьям диким вольнодумства!
Он должен скипетр преломить!
Весы правдивы сокрушить!
Он должен погасить перуны!
Иль – уступить тебе их, червь!
А для чего? – Чтоб между тем

Ты мог бесстрашно лобызать
Предерзкие свои желанья
И необузданные страсти!
Чтоб, бывши ты безумным богом,
Махал перунами по воле,
Блистал – свет солнечный мрачил,
И в мире злейши зла творил?
Постой, несчастный своенравец!
Се освещает молний луч!
Зри суетный чертеж ты свой!
И коль твоя душа бесстудна,
То научись бледнеть заране!
Се Судия! – Вострепещи!

Где новый *Кромвель*? – Где *Спиноза*?
Где новый *Бель*! – О, как ты бледен!
В тебе трясется кажда кость!
Ты ту минуту чтешь счастливой,
В котору огненна стрела
Шипящей некоей змией
Перелетела мимо взора!
Смотри еще! К чему бледнеешь
От бледной молнии ниспадшей?
Или внутри тебя иный
Шипит перун – разяща совесть?
Се покатилась над челом
Горяща колесница мщенья!..
Глаголы грозны *Бога сил*
Сверкают на ее колесах;
Чу! звукнула средь туч!.. но ах!
Но ах! – всегда ль удар ее
Прицелен на чело злодея?
Коликократ неосторожна
Невинность гибла от нея?
Несчастный *Рихман*! пусть моя
Слеза на мшистый гроб твой канет!

Давно *Урания* рыдает
И ропщет втай на громовержца,
Что сей ее питомец нежный
В ее очах был поражен.

Та ж самая эфирна сила,
Которой в царство он вникал
С живой отвагой мудреца,
Похитила его к себе.
Природа, мнится, клав его
В младенческую колыбель,
Еще в то время усумнилась
О слезном бытии его;
Лишь усумнилась, – парка хитра
Сокрылася в железном пруте[1].
Но *Ломоносов*, друг его,
Не так несчастлив был тогда,
Как тот, в чьем опыте ужасном
Судьба свое скрывала жало
И токмо шага ожидала;
Он самый жребий превозмог;
Прешедши философский мир,
Достиг святилища природы.
Немногие пределы крылись
В безмерной области наук
От взоров пламенных его.
Ах! как он в сердце восхищался
При испытании эфира,
Когда шипящие лучи,
Одеянны в цветы различны,
Скакали с треском из металла?
«Скор быстрый шаг бегущих ветров, –
Так он в то время рассуждал, –

[1] Известно, что г. Рихман, профессор Санкт-Петербургской академии, убит громом при испытании электрической силы.

Еще быстрее ветр эфирный!
Он, быв от точки отражен
И быстро преносясь по тверди,
Летит мгновенно в точку зренья;
Вторый – и третий раз блестит!
Вторый – и третий раз гремит!
Но звук эфирный, ветром данный,
Подобно как бы луч звенящий,
Слои воздушны потрясая
И дале круг свой расширяя,
Слабейшим шагом в слух течет.
Смотри! – сверкнул эфирный луч!
Вторый – и третий раз блестит!
Вторый – и третий раз гремит!
Смотри! – как сребрян вихрь крутится
Змиеобразною чертой!
С какой чудесной быстротой
Из сжатой в жидку часть стремится!
Здесь он в стремлении шумит,
Шипит, – трещит – и твердь разит;
А глас далек, – приходит – поздо,
Уже гроза на крыльях ветра
Сюда сокрытый пламень мчит,
Который скоро покорит
Себе дрожащий здешний воздух;
Перун чертится полосами
По растяженным черным сводам;
Се! сто небесных тяжких млатов
Готовы свой удвоить стук!»

Так мыслил северный мудрец;
Вдруг грянул гром, – а ты,
О неисследная судьбина!
А ты, достойный плача *Рихман*,
Печальной опыта стал жертвой!
Потрясся тут, вострепетал

Сердоболящий *Ломоносов*[1],
Как зрел бездушного тебя.
Философ долго был в безмолвий;
Потом он тако возопил:
«Гром грянул, нет на свете друга!
Как пал почтенный мой герой,
Герой премудрости, природы?
Ужели он повержен тако?
Немилосердая судьба!
Какая мстительная зависть
Тебя сей час вобружила
Толь смертоносным острием,
Чтоб юный опыт погубить
В зародыше еще лишь нежном?
Иль ты сочла ужасным долгом
Давить *Алкида* в колыбели?
Да, в мудром зришь всегда *Алкида*;
Но возмужалы мудрецы
Как на тебя, *Мегера*, смотрят?
С усмешкой, – с безмятежным духом;
Страшился ли тебя *Франклин*,
Иль *Мушенброк*, иль *Эйлер* славный,
Как тайный океан эфира,
Разлитый в глубине природы,
С отважной грудью измеряли?
Нет, – дух их столь же страшен был,
Как самый их предмет – эфир.
Они открыли вход безвестный
В незримый океан эфирный
И верный дали нам компас,
Чтоб истинных стезей держаться
И править тонкой силой сей.
Вотще безумец вопиет

[1] См. письмо Ломоносова к г. Ш⟨увалову⟩ о исследовании громовой силы и участи профессора Рихмана.

Противу мудрых покушений;
Вотще слепец сей нарицает
Предерзким и безбожным делом
Багряну *Зевсову* десницу
Удерживать среди ударов.
Но ах! когда надежда наша
Еще постраждет в пеленах,
То горе! – юна дщерь небес,
Урания любезна! – горе!..
Но я уже позабываюсь,
Что воздыхаю при тебе,
Моя божественная муза!
Предвижу, что рассеешь скоро
Отчаяние наше мрачно
И в пламенеющие духи
Влиешь бальзам надежды верной.
Доколе дышат мудрых сонмы,
Ты будешь в зрелость приводить
Расцветши опыты сии
И будешь разверзать ядро,
Сокрытое в густой коре...
Но *Рихмана* на свете нет!
Здесь прах его лежит бездушен;
Здесь драгоценные остатки,
Где некогда был дух эфирный!
В нем поражен мой друг, мой спутник
И жрец священныя натуры.
Кто паки воззовет дух жизни
В его обитель пораженну?
Кто мне сопутствовать дерзнет
По страшной глубине познаний?
Кто мне подаст благую руку
Тогда, как буду погрязать
Еще не в вымеренной бездне
Или скользить по длинной цепи,
Которая ведет от червя

До пламенного Серафима?
Его на свете больше нет!
О! – пусть сия горяча капля,
Последня жертва нежной дружбы,
Его останки оросит
И некогда на мрачном гробе
Взрастит печальны гиацинты![1]
Тогда, – тогда плачевны музы
На камне сядут над могилой,
Пожмут друг другу нежны персты,
Заплакав, скажут: *Ах! – как жаль!*»

Так северный мудрец вещал,
Мудрец с состраждущей душой
Вздохнул – и опыт продолжал;
Высокий дух не ужаснулся
Прещения судьбы сокрытой.

Ужель такой же рок постигнет
И здесь кого в сей мрачный час?
Небесны силы! – удержите
Сию гремящую десницу!

Вдруг дождь шумящий с сильным градом,
Стуча по звучным скатам гор,
Потопом целым ниспадает
Из недр разверстых облаков.
Крутятся вихри дождевые
Средь бурь, бушующих на небе.
Взвиваются от твердых скатов
Седые брызги легким дымом.

---

[1] Баснословы говорят, что гиацинт являет на листах своих буквы, начертанные горестию Аполлона. Ибо сей бог нечаянно убил юношу Гиацинта, из грови коего вырос цветочек под сим именем, со изображением в составе жилочек горестного восклицания чрез греческое междуметие, которое значит: *увы! увы*!

Уже от влаги все потускли
Вершины меловых хребтов,
А в селах низки кровли хижин
И пыльны стогны покровенны
Шумящими везде ручьями.
Но пламенник неукротимый
Среди дождей еще не гаснет
И, новы силы напрягая,
Мелькает ярко над пустыней.
Бледнеют чресла облаков
От ярого лица огней;
Бледнеют бедра гор камнистых,
Покрытые до половины
Спустившимися облаками,
И пламенеет дождь косый,
Лиющийся в холмы пустынны.
Сии небесные мечи
То рассекают мрак змией,
То рассыпаются звездами,
То вьются гибкой полосой,
То в образе вождей[1] огнистых
Иль пламенного водопада
В пустыню ниспадают вдруг.
Но гром, кругом перебегая,
Подобно раскаленным ядрам,
И всюду в силах разделясь,
Зарницей рдяной освещает
Вершины горды *Чатырдага*
Или огнями опаляет
Чело космато *Агермыша*.

Се! там высокая раина,
А здесь твердокоренный дуб.

---

[1] То же, что попросту вожжи.

Там бук развесистый, печальный,
А здесь приморска темна сосна,
Перуном боевым Зевеса
Отторжены от твердых скал,
Расщепленны иль обнаженны,
Как голы остовы, стоят!
Лишь ясени одни врачебны,
Артыш пахучий, краснотелый,
Сребристый топол, тис зубчатый –
Одни безвредно зеленеют.
Под ними ландыши, подлески
Слезятся, – но цветут спокойно;
Лишь ветр головки наклонил.
Стада, быв встречены грозою,
В оцепенении простерты
Лежат, как некий сонм бездушный;
Сребристорунны кротки агнцы
В своем невинном, мнится, взоре
Еще живеют, размышляют.
Верблюд двухолмный, изумленный
Стоит, колена преклонив;
А грозный вол и страшный буйвол
Лишь морщит дикое чело.

Кто здесь не может содрогнуться
Под звуком молний смертоносных?
Где? – где моя *Сашена* нежна?
Сашена! как ужасно видеть
Во гневе горни небеса
И цело естество в страданьи!
Когда б ты здесь со мною быв,
Внимала рев трубы небесной,
При звуке коей и *камена*
Принуждена, дрожа, молчать, –
Могла ль ты здесь сидеть бы долго?
Твой лик смеркался бы, как небо,

А взор дождям сим подражал;
Зря слезы агнцев возмущенных,
Зря бледных пастухов, бегущих
Под сгибами перунов быстрых,
И зря паденье нив и древ,
Ах! как бы ты тогда смутилась,
Заплакала... и скрыла слезы!
Но я тогда б тебе сказал:
«*Сашена*! – ах! – и ты здесь плачешь!
Ты плачешь, как ключи кипят,
Слезишься, как жемчуг катится,
Поди, *Сашена*, в тот шалаш!
Стихии буйные, бунтуя,
Еще в смятеньи раздирают
И твердь, и дольний мир, и тартар;
Укрой себя от гнева неба!
Поди, *Сашена*, в тот шалаш!
Укройся от бегущих бурь!»
Но что оратай ощущает,
Живущий на брегах *Салгира*,
Тогда, как видит он во страхе,
Что тученосна буря губит
Труд, стоивший толиких вздохов?
Ах! то его лишь сердце скажет.
Шумит над нивой грозна буря,
Ложится нива перед бурей,
Вершинки нежны златокласны
Пшеницы бледной упадают,
Он зрит – и зрак свой отвращает.
С небес шумливый дождь стремится;
Из глаз его ток слез катится;
Из гор со свистом вихрь дует;
Из груди тяжкий вздох исходит.
«Чем, правосудный наш Создатель, –
В слезах взывает он тогда, –
Чем Ты толико раздражен,

Что днесь последнюю отьемлешь
Подпору нашу бытия?
Се! – жертва, падша под рукой
Твоей несносной бури ныне!
Восстанет ли она? – когда ж?
Нет, – корень в жертве преломлен;
Нет, – не восстанет никогда.
Тебе угодна, видно, Боже,
Сия несчастна жертва нивы.
О, неиспытанны судьбы!
Воистину толика буря
Не что, как лишь твоя десница,
Хотяща явно наказать
Меж нами скрытого злодея!
Где сей преступник, что грехами
Небесно мщенье разбудил
И нас подвергнул той же доле,
Какой единый он достоин?
Где он? – Пусть мщение небесно
Низвергнется в преступно сердце!
О сердцеведец! – что я рек!
Мне сердце восклицать велит,
Что Ты велик в улике зол,
Велик и в лике благостыни.
Не знаем ли, небесный Отче,
Что Ты насущный хлеб даешь,
Что Ты те долги нам прощаешь,
Какие должны мы прощать другим?
Кто, – Боже, кто из земнородных
Не препинается о камень?
Где злак без плевелов бывает?
Святейший часто упадает.
Сотрудники! – не воздыхайте!
Преклоньте вы со мной колена!
Пролейте слезную мольбу
К Тому, который в бурном вихре

Грядет сейчас над нашей нивой!
Он милостив; Он наградит
Потерю, недостатка матерь». –
Так сельский старец вопиет
И слезы градом испускает.

Повсюду буря перемены
Творит в сию минуту новы.
Пусть обращу я токмо взор
На треволнение *Эвксина*!
Валы стремятся друг за другом,
Напружа выи горделивы.
Девятый вал хребтом горы,
Напыщившись, валит из бездны
И прочи зевом поглощает;
Нахлынув на песчаный брег,
Взбегает, – пенится, – ревет
И, на далеко расстоянье
Расстлавшись полотном седым,
Разится о подошву гор;
Тут, взвивши новый дождь дугами,
Назад седой тыл обращает,
Пески и камни похищает,
Но вдруг встречает вал другой;
Здесь страшну должно зреть картину:
Они, сцепяся с равной силой,
Спираются, – ревут, – клокочут
И виды чужды представляют,
Где, мнится, естество грозит,
В возможны ужасы одето,
Там резвится оно – играет,
Я зрю, что с их обеих стран
Прозрачные выходят своды,
Или рассыпчивы навесы,
Или лазорные снопы,
Растут – и вдруг опять падут.

Уже кораблик[1] не дерзает
Из бездны выникнуть в верх вод,
Чтобы, природное свое
Препончато подняв ветрило,
Прогулку произвесть по зыби;
Ему тончайший ветр сподручен;
Теперь он носится, склубясь,
Внутри пучины волей бури;
Он ждет, доколь придет час гнева
И возвратит ему минуты,
Природным силам соразмерны
И опытам его приятны.
Но там, на лоне волн носясь,
Корабль, как легкая кора,
Стократно черпает и пьет
Закраи́нами горьку бездну;
Там отроки, цепляясь крепко,
Бегут то вниз, то вверх по вервям,
Главой касаясь волн гребням.
От ужасов таких ревущих,
Мне мнится, смерть сама б проснулась;
Но отроки сии отважны
Иль спят спокойно, иль играют,
Надеждой усыпленны в бурях.

Свирепая гроза проходит;
Далече слышен рев ея;
Рассеянные облака,
Быв легче, бродят, как стада,
Нестройно по лицу небес.
Но некие последню влагу

---

[1] Есть морское небольшое животное, называемое Nautilus, или *корабле-образец*, который при хорошей погоде выплывает на поверхность воды, вытягивает из своей спины некоторый род природного паруса и по ветру как бы едет по воде.

Туманом долу ниспускают.
Одно из них сюда влечется,
Чревато тягостною влагой;
Уже столь низко тяготея,
Готово скоро ниц упасть;
Оно лишь пояс гор объемлет,
Но их главы не досязает.
Я здесь, – в сем облаке сижу
И, мнится, в влаге утопаю.
Вся нижня часть хребтов покрыта
С их рощами туманной влагой.
Сей голый каменный отрог
От мокрой густоты темнеет;
Но белая глава его
В венце сияет светозарном;
Лишь жадный взор сквозь дробный дождь
С венца рассыпчивый луч ловит.
Мне мнится, зрю вокруг себя
Дождливу иль туманну осень;
Но сквозь сию ползущу осень
Зрю над собой восшедше лето.
Полночный ветр, от сна восставши,
Для очищенья мрачной тверди
Остаток гонит низкой тучи,
Из урны пасмурной ея
Последни капли истощает,
Которы в ней еше скрывались.
Уже к хребту она валится;
Хребет остановляет урну;
Она, упора не терпя,
Тогда, как час уже приспел
Низвергнуть долу влажно бремя,
Рекою дождь свой источает.
Какая здесь игра природы!
Тогда, как в сей стране скалы
Господствует и дождь и мрак,

По ту страну блистает солнце
И зной кипящий парит воздух;
Одна стена лишь отделяет
От темной нощи ясный день,
От осени горяще лето.

Но зрелище уже свершилось.
Лишь редки капли краплют с кровли
Пустынной хижины па землю.
Пространна твердь, чистейшим сводом
Над тихим полем воздымаясь,
Эмаль лазорну представляет.
Омытый Феб, спустяся с полден,
Лучи косые мещет в мир
С своих пылающих колес.
Се! – радости прекрасный пояс,
Семью цветами испещренный,
В завет погибели минувшей
Препоясует те равнины,
Которые еще по буре
Во влаге моются кристальной.
Там узорочная, *Ирида*
На стебли прозябаний нижет
Алмазны зерна в тишине,
Здесь, – остроумный *Ломоносов*,
Списатель таинств естества!
Сии растопленные тучи,
Влечась против лица светила,
Тебе в дождях явили призму
И в поясе желто-зеленом
Те показали нити света,
Которых седмеричны роды
Ты столько тщился развязать.

Теперь природа оживленна
После страданья отдыхает

И осклабляется в покое.
Колико ни был страшен ветр,
Но он развеял мглу густую;
А сила тонкого эфира,
Столь часто рассекая твердь,
Сожгла тлетворные пары,
Что расстилались над горами,
Над блатным тростником зловонным
И над *Сивашскими* водами.
Теперь стал воздух чище, – легче,
И возвратилась тишина;
Лишь только легкий ветерок
Не перестал в кустах шептать;
А злак среди долин живее;
Лишь капли в нем блестят слезой
И моют нежны стебельки.
В фиалках, васильках душистых,
В иссопе и подлесках нежных
Синеет лучше цвет небесный;
Алее в розах и гвоздиках
Заря румяна торжествует;
Желтей в подсолнечниках гибких
Играет солнца луч златый;
Ясней в лилеях поражает
Млечных белизна облачков.
На них блистает пестра ткань,
Из сочных жилочек сплетенна.
Какой различных красок ливень
Блистает посреди полей!
Неподражаема работа
Таинственных духов природы!
Те юны гении прелестны,
Что прежде в темной поднебесной
Густые мраки развивали,
Теперь, туманы соклубляя,
То в глубины безвестны носят,

То в сих удолиях зеленых
Из тонких жилочек прядут
Цветочкам свежие листы.

Почто сижу? – Пойду отсель
И буду черпать чистый воздух!
Как все по грозной буре живо!
Вокруг меня под самым слухом
Жужжат толпящиеся мошки;
В своем пронзительном согласьи
Несметны гласы издают;
В глазах рисуются стада
То быстрых ласточек, то горлиц,
То жаворонков свиристящих;
В дубах торжественно открылась
Симфония певиц небесных.
С каким весельем на омытых
Дождями легких белых крыльях
В час летний лебеди летают!
Как резво каменки прелестны
И розовы дрозды порхают
Между сгущенных шелковиц!
Их междорамия блестящи
Сребром и златом отливают
Среди играющих лучей;
Мычание тельцов и юниц
С блеяньем агнцев съединилось;
С какою радостью безмерной
Бегут они щипать толпами
Траву в долине усыренной!

Какое врачество! – Прохлада
В сии спокойные часы
В струях студеных погружаться,
В струях, где крепки мышцы римски,
Что строили трофеи горды

На преклоненной вые мира,
Училися порабощать
Себе пространные пучины!
И правда, – существа в них черплют
Иное чувство, жизнь и силу.

Кто там под сено-листным сводом
Раин высоких, тутов, ильмов,
Подобная *Сусанне* скромной,
Спешит к живому водоему?
То *Цульма*, благородна дщерь,
Краса и честь княжен *Тавридских*,
Стройна, как мирт, – легка, как серна,
Спешит искать в струях прохлады.
Покров серебросветный веет
Над *Цульминым* сокрытым оком
И тысячу красот таит.
Но ветерок летит, дерзает,
Отмахивает сей покров;
Вдруг тайны красоты, блеснув,
Как скромны призраки, украдкой
Друг за другом выходят вьявь.
Отважный зефир! если ты
Свевал покров какой девицы,
Видал ли где-нибудь ресницы
Длиннее, как у милой *Цульмы*?
Видал ли ты с лилеей розу
Такую, как в ланитах *Цульмы*?
Видал ли ты в садах *Авроры*
Толь светлую жемчужну росу,
Какая с *Цульминых* ушей
Волшебной силою висит?
Видал ли взор – иль грудь толь белу,
Толь нежну, милу, как у *Цульмы*?
Вот здесь она! – смотри! – идет!
Прекрасный лик младых подруг

Вокруг ее теснится дружно.
Купальня, полная воды,
Кипит, – блестит, – шумит, – зовет
Сих нимф стыдливых в влажны недра.
Тут – робко *Цульма* озираясь,
Последню ризу низлагает;
Какой красот вид обнажился!
Какой мир прелестей открылся!

Подруги разделяют с ней
Девичьи резвости невинны.
В струи сребристы погружая
Стыдливые красы свои,
Руками влагу рассекают,
Играют, – плещутся, – смеются.
Здесь *Цульма*, освежась в водах,
Выходит и спешит облечься.
Купальня хладна защищает
От силы солнечного зноя,
Однак – еще не прохлаждает
Во груди *Цульмы* знойной страсти.
Тоскливость тайная снедает
Давно томящусь грудь ее.
Она, задумчива, безмолвна,
Взирает часто в край полдневный.
Подруги примечают вздох,
Подруги тщатся напрерыв
Ее грусть песнью облегчить,
Но тщетно – *Цульма* не внимает.

«Нет, милые мои подруги!
Вы пойте лучше песнь такую,
Где б был предметом путь *Селима*!
Ах! – где? – где дышет он поныне?
Ушлец драгой! – Как без него
С минуты горестной разлуки
Уныло сердце растерзалось!

Увы! не оковала ль крепко
Надина в *Азии* какая
Навек? – Быть может; трепещу!..
Что я сказала? – Нет, – ах! – нет!
Мурза любезный, постоянный
Столь тверд, как *Магометов* щит;
Селим не изменит век *Цульме*».
Здесь *Цульма* быстрый взгляд кидает
И как бы ждет кого с страны.
«Но нет его, – она вскричала. –
Нет милого еще *Селима*!
Ах! – не увидите ль его?
Скажите, милые подруги!
Коль вы увидите, – скажите!
Пророк великий! – возврати
Селима в здравии ко мне
И в свежей юности цветущей!
Молю тебя, – ах! – что мне делать?
Подруги! – пойте лучше песнь
На горестный отъезд *Селима*
Или – *надежду* воспевайте!
Я буду вам вторить; – запойте!
Предмет сей сроден сердцу...»

Лик подруг

Прекрасна, мила дщерь небесна,
Богиня кроткая сердец,
Светильница души прелестна, –
Надежда! – где? – где твой венец?

Цульма
(*одна*)

Ты настояще услаждаешь
Грядущим благом в наших днях;
В цветах плоды ты созерцаешь,

Ты усмехнешься – и в полях
Цветуща зелень оживает;
И там – *Селим* ко мне предстанет...

Лик подруг

Прекрасна, мила дщерь небесна,
Богиня кроткая сердец,
Светильница души прелестна, –
Надежда! – где? – где твой венец?

Цульма
(одна)

Ты за слезу любви пролиту
Готовишь тысячу утех;
Живишь красавицу забыту
И кажешь издали успех;
Коль сердце днем мое мертвеет
Волшебных ради грез твоих,
Оно еще ласкаться смеет
Средь тишины часов ночных.

Лик подруг

Прекрасна, – мила дщерь небесна,
Богиня кроткая сердец,
Светильница души прелестна, –
Надежда! – где? – где твой венец?

Цульма
(одна)

Ты избираешь сон мне здравой,
И я – с улыбкой величавой,
Довольна утром, пробужусь

И в радости вострепенусь,
Что хоть во сне его узрела;
А что в душе бы я имела,
Когда б – теперь – в саду – он был?

Лик девиц

Прекрасна, – мила дщерь небесна,
Богиня кроткая сердец,
Светильница души прелестна, –
Надежда! – здесь, – здесь твой венец.

Так нежная *Мурзы* невеста
Всяк день под тенью вертограда,
Или в убежищах пещерных,
Иль при купальнях в тишине
Часы печальны услаждала
И возвращалась в дом с надеждой,
С надеждой зреть возврат *мурзы*!

Но там – какие смуглы чела
Мелькают на брегах реки?
Конечно, – зной еще и долг закона
К водам прохладным призывают
Стопы *сарматски* по грозе.
Пускай *сарматы* утомленны
Струи *Салгирски* рассекают
Своими тусклыми руками!
Меня явления вечерни
Зовут во храм красот сумрачных.

Явленья вечера прекрасны,
Когда со мной *Сашена* ходит,
Когда она с зарею спорит.
Да, утром поле, пенье птиц,
В полудни тень пещер и сосн

И хладный родников кристалл,
А в вечер тихий брег морской
«И пурпурный закат над зыбью,
Конечно, – всякому приятны;
Но мне – *Сашена* завсегда.
Без голубых очей ея,
Без вишневых устен ея
Ни чистая лазурь небес,
Ни луг, ни пенье птиц поутру,
Без русых вьющихся кудрей
И без каштановых бровей
Ни тень, ни цветники в полудни,
Без розовых ея ланит,
И без ея блистанья взоров
Ни поздний пурпур в море зыбкий,
Ниже вечерняя звезда
Очаровать меня не могут, –
Лишь ты, *Сашена*! – ты мне все.

⟨ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ⟩

Содержание

Нисхождение солнца. – Запад. – Вечерние беседы в татарской деревне. – Последнее увещание шерифа. – Печальный брак Селима. – Смутное томление шерифа. – Кончина его. – Плач.

Дщерь песни! – Се молчит гроза!
Нет бури! – тихий час катится;
Владыка грома примирился
И хощет с тверди слух склонить
К твоей вечерней томной арфе.
Воспой прекрасный вечер сей,
Который скоро, – скоро снидет
На Херсонисские холмы!

Уже горящее светило
С высокого полудни свода
К помосту запада спускает
И, кажется, тогда при каждой
Степени нисходяща дня
Свой увеличивает круг. –
⟨Мятущиеся⟩ облака,
Сбираяся веселым сонмом,
Готовятся великолепно
Его на ложе проводить
И с пышностию окружают
Престол его вечерний тихий.

От низких облака краев
Лучи, златыми полосами
Ниспадши, косо ударяют

В вершины рощей *Амфитриты;*
Но пред пурпуровым лицем
Лучей, возникших из-за гор,
Еще едина влажна туча
Прозрачны сыплет капли ниц. –
Мне мнится, огненный там дождь
Нисходит на холмы вечерни.

Как тамо протяжен мелькает
Сквозь раздвоенный верх утеса
В пылинки воплощенный луч?
Он тянется, как тонка нить,
Блистающая ярким златом,
Но ударяясь в косогор,
Отсверкивает на другом.
Как он играет в рдяном свете
На стропотном скалы конце, –
Мерцает, – гаснет, – умирает? –
Так жизнь, – как слабая свеща
Или как тонкий пар в лучах,
Средь игр дрожит – и погасает.

Уже светило, ниспустившись,
Чело багрово омывает
В Атлантской озаренной бездне. –
Его торжественно лице,
Подобно как алмазный щит,
В зерцале плавает лазорном,
Меж тем как подлинник, склонясь
И половиною единой
В волнах кипящих окунувшись,
Являет токмо нам полкруг. –
Се! – край един чела он кажет
И вдруг, в последний раз взглянув,
Совсем погрузнул в глубине! –
Одни его власы червлены,

Подъяты вверх на горизонт,
Стремят лучи на высоту
Из-под земнаго рдяна ската. –
Смотри в вечерни облачка! –
Колико разных там цветов,
Злато-румяных, – рудожелтых, –
Багровых, сизых, фиолетных
В смешении непостижимом? –
Какая *Химия* могла бы
Подобны краски растворить
Для хитрой кисти живописца?
Одно искусное перо
Или живое вображенье
Лишь может верно начертать
Сии природные картины.

Спускаяся с сего хребта,
Я зрю уединенны веси
Средь тихих усыренных долов,
Где *савроматы* обитают
Под кровом кроткия природы;
Вечерни ветерки играют
И тихи свисты испускают
По шумным кровель тростникам;
Последний рдяный свет скользит
По бледным стволам камышей. –
Томящиеся пастухи
Влекутся с горных перелесков,
Ведя к спокойнейшим загонам
Стада, наполненны млека. –
Они свиряют протяженно
На светлозвучных *камышинах.*
Их поздные унылы песни,
Дыша из шумных их *сопелей,*
По горным рощам раздаются. –
Здесь отроки из шалашей

Бегут на шатких к ним стопах,
Чтоб встретить агнцов утомленных.
Иной ведет за рог козла,
Который, споря с малой силой,
Упорствует детей насилью;
Другой дерзает с легким скоком
На мягку спину агнца сесть. –
Так все стада свой кончат день!

А тамо подле хижин низких
Сидят и юноши, и старцы.
Простосердечие и честность,
Толь славимая в древних *скифах,*
Еще видна в сих поселянах;
Вечерни кроткие часы
Сопровождают их беседы;
Последни повествуют с жаром,
А первы слушают усердно. –
Все то, что древность сообщила,
Что брань и подвиги кровавы
В своих или чужих землях
Произвели для славы века
И что по *Азии* пути
Открыли странствующим в *Мекку,* –
Все в разглагольствий их не скрыто. –
Я с удовольствием взираю
На собеседников сих сельских.

Се! – старец окружен сидит
И бледной дланью помавает!
Уже в густой браде его
Седины сребрены блистают;
Брада его, как белый лен,
Немалу груди часть покрыла. –
Все внемлют словесам его;
И кажется, их жадны взоры

Висят на старческих устах. –
Я приближаюся туда;
И что ж? – я познаю *Шерифа*. –
Омар по опытам своим,
По многим странствиям в востоке
За мудреца теперь почтен;
Какая ж важная причина
Толь важному его движенью? –
В устах его тогда шумела
Надута речь о славной *Мекке;*
Шериф в то время поучал:

«*Селим*, – любезный мой *Селим*!
Се наконец мы совершили
Свой трудный, – свой священный путь!
Ты сей уже исполнил долг;
Иди в дом матери твоей,
Так как и я к отцам отыду! –
Спеши, утешь возвратом матерь!
А я – останусь здесь на время;
Мне долг беседовать с друьями,
Благодарить *Аллу,* – потом...
Спеши ж обрадовать свой дом!
Пусть вечеря и ложе там
Ждут наших утомленных членов!
Ты узришь мать и всех друзей;
Тебе объятия простерты
Прекрасной *Цульмы,* – будь счастлив!
Ты много раз вздыхал о ней...
Я радуюсь, что ты успел,
Толь раннюю страсть преодолев,
Исполнить чувствие к святыне.
Теперь не поздо быть счастливым;
Ты любишь *Цульму*! – выбор верен;
Сын мой! – она тебя достойна.
Не медли сочетаться с нею!

Да будет брачный одр покоен,
Доколе смертного не узришь!
Пока живу еще, – с тобой
Я разделю вечерню радость. –
Спеши в отечески поля,
Где ожидает все тебя –
Любовь залогов сердца нежных, –
Любовь родства, – любовь любезной –
И самыя *природы* сельской
Усердье, труд и простота.
Молися! – скоро с тверди *Мекки*
Сойдет роса на холм *Мурзы*! –
Иди! а я – здесь час пребуду».

Шериф обращается к простодушным жителям деревни и говорит:

«Я сам, – я сам, друзья, был там;
Я видел страшны чудеса
В сей богошественной земле,
Клянусь брадою, чудеса.
Тот славный камень, что при праге
Дверей святого храма виден,
Сколь многие творит целенья? –
Весь Оттоманский Порт, Каир,
Тунис, Марокко и Алжир,
Арабы, мавры и берберы,
Персиане и все татары
Свидетельствуют славу камня. –
Восток и дальний юг приемлют
От корене сего плоды. –
Блажен, кто в жизни однократно
Коснется сих священных прагов. –
Но горе! горе тем, что в жизни,
Имев дух леностный, – дух томный,
Не отлагают всех сует,
Чтоб быть в сем граде треблаженном,

Где каждый верный музульманин
Благословенье получает;
Где каждый будет облегчен
От трудной тяготы грехов. –
Сие благословенье неба,
Которо силой превосходит
Благословенье тучных гор
И вечных лепоту холмов,
Нисходит только там с избытком. –
Ни глад в пути, ни нагота,
Ни хищники, ни люты звери
Не долженствуют отвлекать
От тех благословенных мест,
Где токмо благодать живет. –
Кто сих препон страшиться будет
И не поклонится в *Медине*
Пророку Божию, – то горе!
Он вечно будет отдален
От недр пророческих его».

«Но ты слыхал ли, – вдруг тут некто
Шерифа прерывает речь, –
Слыхал ли точно ты, *Шериф,*
О страшной буре в тех местах?
Вещали нам о ней вот как!
Вихрь огнен, – ад подгнел его;
От юга дышет вихрь, – он страшен
И рвется попалить священный
Огнем проклятым вертоград. –
Там некий хитрый лжеучитель[1]

[1] По недавним ведомостям было известно, что в *Аравии* открылся сей человек, который, опровергая весь закон Магомета, привлек уже к себе многие тысячи арабов; но после того ведомости больше не говорят, сколь далеки его успехи ныне. Наместо его еще недавно также явился некто *Вехаб,* или *Вааб,* в большой силе и гораздо опаснее прежнего; однако и сей убит тайным образом.

В последний век сей проявился. –
Он окружен дружиной страшной;
Его клевреты буйны, мрачны;
Вокруг их адский жупел рдеет;
И храм, и *Магомет* премудрый,
Тень Божия, – наперсник неба,
Им приняты за суету. –
Ему уже сто двадцать лет.
О мой *Алла*! – как ты дозволил,
Чтоб он толико лет число
Употребил в толико зло? –
Так нам вещают все;
Но ты, я чаю, лучше знаешь;
Ты был там, видел и познал».

Шериф

Так, – друг любезный! – я то знаю;
Я зрел сего шайтана в теле.
О! – проклят буди оный день,
Когда *Ингистана* тень сия,
Сын лжи, – язык бесов родился! –
Отец его был лютый *тигр*;
А сей есть скимен; вы же агнцы. –
Я знаю то уже давно;
И для того хочу излить
Противоядный мой увет,
А паче в ваше слабо сердце,
О нежны юноши скудельны! –
Сей *Шейх-Гуяби* – (так зовется) –
Столь хитр и столь пронырлив,
Что потрясется твердый мрамор,
Закона мрамор, – самый *Муфтий*. –
Слова его суть мед и сот,
Но остры, яко тонка бритва.
Глас сладок, яко мусикия,

А взор, – как звезды близнецов;
Но дух, – как тусклой лик луны,
Провозвещающий час бури;
Лице его, – лице пророка;
Но в стропотной груди его,
Друзья! – Геенна страшна ржет!

Вам должно знать хулы жестоки,
Какие он уже отрыгнул
Среди тех сонмов нечестивых,
Которых сей лукавый изверг
Уже во множестве стяжал;
Вам должно знать, чтоб вы не впали
Тогда, как я отсель отыду,
В ров гибели и заблужденья.

О бурно море, не шуми!
О буйна буря, не бушуй!
Пусть токмо кроткий дышет ветр
И от полудни глас несет
На легких крылиях своих! –
Да слышат глас долины чада!
Се! – страшный глас сюда несется,
Как вихрь сквозь звонкую трубу! –
Внемлите же, – долины чада,
Что гнусный изрыгает ад
Устами сына льсти и лжи!

«Открыто небо, – он ревет, –
Да будет общая *мечеть*! –
Пророк – да будет лишь *природа*,
Вещающая об *Алле*,
Едином духе всех движений!
Се! – истинный закон, – клевреты,
Который должно исповедать! –
Как? – злоковарный сын *Абдаллов*

Во имя сильного *Аллы*
Дерзнул Корану покорить
Восточные долины злачны,
Полуденны поля песчаны
И западны хребты высоки! –
Так он им точный путь открыл! –
Нет, нет, – он паче поглумлялся
Над непостижным Существом,
Чем чистое о Нем понятье
Невеждам *аравийским* дал. –
Нет, – не любовь, – не мир небесный,
Не вдохновение, – но меч,
Но сила, – ухищренье, – слава
Деяний сих пружиной были. –
Возможно ль, чтоб *Алла* премудрый
Такой·Коран нам начертал,
Где буквы будто бы *Аллы,*
А мысль и страсти человека
И пылкие мечты *араба*? –
Возможно ль, чтоб из глубины
Премудрости непостижимой
Текли плоды нелепы мозга?
Совместно ль, чтоб всевечна милость
Нисшла в толико низку слабость,
Чтоб вместе с правосудьем стала
Пред похотию смертных ползать;
Иль сделав совесть палачем
И вечною души геенной,
Меж тем бы рай духов создала
Жилищем плоти сладострастной? –
Совместно ль небо наполнять
Златым, хрустальным, изумрудным
Или серебряным эдемом?
Увы! – согласно ль со Всеведцем,
Чтоб дух *Аллы* слетал с небес
Клевать в ушах Пророка зерна?

Друзья любезны! – Кто из вас
В Дамаске голубей не знает,
Которы, быв приучены
Носить в другие грады письма,
Вернейшими гонцами служат? –
Так чудно ль, что *Алла Магметов*
К ушам его был приучен? –
Однако мнят, что тем *Алла*
Пророку таинства вдыхал. –
Вот хитрый как простым играет! –
Законодатель, возбраня
Наукам вход к своим невеждам
И в западны страны отгнав,
Не те ль намеренья имел,
Чтоб в мраке замыслы укрыть
И, закрепя таким узлом
Нелепы правила закона,
Закрыть глаза простых народов
От тайных хитростей своих?

Клевреты! – се ли путь небесный? –
Он есть собранье тех же басней,
Какие древняя *Эллада*
Во дни *Орфеев* и *Омиров*
Похитила от *финикиан*
Или от мудрецов *Мемфиса*. –
Ах! – кто у них не похищал
Отростков в новый свой цветник?

Бог всюду царствует в сем мире;
Бог всюду подает законы –
Бесчисленным кругам блестящим
На четырех концах небес,
В пространствах, – в бесконечных безднах
И в сем млечном пути эфира,
Исполненном несчетных звезд;

Но каковые то законы? –
Не плод пера или чернил. –
Алла открыл всем общу книгу.
Еще со времени Хаоса
Простер златой натуры свиток. –
Пусть всяк читает буквы там!
Друзья! – вот самая та книга,
Где буквы не черты, – но вещи,
Где имя писано *Аллы*
Красноречивыми вещами! –
Закрой все книги, все писанья!
Читай природу! узришь Бога;
Ты узришь рамена Его. –
Воспитанный ум будет светом,
А любомудрие вождем.

Друзья! – все рукотворны храмы,
Все изобретенны обряды
Лишь паче отдаляют нас
От истинного существа,
От высочайшего *Аллы*. –
Там видны чувств и рук дела.
Но богозданна – высота,
И глубина, и широта, –
Вот мир! вот истинна мечеть! –
Послушайте! – и человек
Есть малый мир, – но храм великий,
Одушевленная мечеть.
Сей храм, сей храм будь свят *Алле*! –
Пламенно-звездный свод небес, –
Высоки *Тавруса* вершины,
Поля цветущи *аравийски*
И чисто сердце человека –
Вот настоящий храм его! –
Они, – они нас приближают
К святилищу его чудес. –

Какое ж должно быть по сем
Еще другое откровенье? –
О Ты, единый, вездесущий!
Расторгни тьмы покров *Магметов*!
Яви свет истины в востоке!» –

Так окаянный льстец трубил,
Муж с хитрым и лукавым сердцем, –
В устах его *Гоморра* ржала.
Слова его ужасны, – правда;
Но вы мужайтесь, – правоверны! –
Что славимая им натура? –
Что любомудрие его? –
Лишь пар светящийся при блатах.
Что гордый разум человеков? –
Лишь слабый свет, – неверный вождь;
Он часто ползает у ног
Какой-нибудь *Фатимы* гордой
Иль своенравного *паши*. –
Друзья! брегитесь! – то соблазн.
Ах! – малое поползновенье
Лишит вас тени ризы той,
Чем посреди огней в день судный
Пророк покроет музульман
И их спасет от *Ингистана*.

Брегитесь пременять закон,
В котором праотцы дышали! –
Не верьте ложному ученью! –
Коликих каплей крови стоит
В законах кажда перемена? –
Да будет вечный вождь Пророк!
Да ввек над вами он сияет,
Как огненный в пустыне столп! –
Вот – заповедаю что вам! –
Я верю, – если звезды грели

Язычника студену веру,
То *Шейх-Гуябиев* закон
Ничто, – как *лютик*[1] ядовитый,
Который лишь для козлищ годен;
Так можно ль, чтобы ваша вера
Простужена была от солнца,
Кому брат первый – *Магомет*?

Ей! братья! наш закон есть дух.
Небесна твердь сия прейдет,
Истлеет небо, – будет ново;
Его ж пребудет вечно слово;
А сей крамольник злый, – возможно ль? –
Дерзает истребить его!
Но знайте, сколь *Алла* всеведущ! –
Он видит все, – Он слышит все. –
Он столь всеведущ на престоле,
Что если б черный муравей
На самом марморе темнейшем
Нам неприметно пресмыкался,
То бы *Алла* его увидел
И топот ног его услышал. –
Он слышит тихий сердца бой;
Он слышит крови нашей ток;
Извилины страстей предвидит
И тайны обороты мыслей. –
Ах! – не предвидит ли в вас мыслей,
Лишь только б мнили вы скользнуть?
Ах! – не предвидит ли всех козней
Сего злодея, изувера?
Не слышит ли шагов коварных
Сего злобожного *араба*?
Не возгремит ли Он с небес? –

---

[1] *Лютик*, растение ядовитое для всех животных; но по чрезмерной холодности для козлов в горячках лекарственно и питательно.

Сих много будет *Тааджалов,*
Сих нечестивейших отростков. –
Не столько их Восток рождает,
Сколь темный Запад производит;
А Запад – ближе к *Ингистану*;
Или, сказать *по-европейски,*
Плутон, царь запада туманный
Иль низшей мрачной части мира,
Воспитывает изуверов.
Друзья! – и самый *Сын Марии,*
Великий сей законодатель,
Великий Царь царей всех белых,
Что обладают ныне вами,
Соединясь с *Сагеб-Земаном*[1],
На пламенных явится тучах
И *Тааджала* поразит. –
Столь он противен всем пророкам
И всем творцам святых законов!»

Сказал *Шериф,* – и вдруг повергся
На трепетны свои колени. –
«*Алла*! – так возопил от сердца, –
Алла! – я не умру, доколе
Не поразишь Ты скимна громом;
О Всемогущий мститель! – грянь
И громом порази злодея,
Да верных наших музульман
Не приведет в погибель люту!
Но Ты, – Ты лучше знаешь время,
Когда исторгнуть дух его». –
Сказал сие – и вдруг упал.
Работа чувств перестает;

[1] Магометане верят, что при кончине мира приидет пророк *Сагеб-Земан и* купно со Христом победит Тааджала, который у них то же, что Антихрист.

Боль судорожна нападает;
Так ревность пламенна бушует. –
Сарматы изумленны мнили,
Что дух *Аллы* объял его,
Подобно как пророка их;
Чрез две минуты жизнь открылась;
Шериф вещает паки томно:
«*Алла*! – так посещаешь верных;
Но свят *Алла*! – конечно свят! –
Все дивны суть дела твои. –
Не рано сей недуг приспел
Меня похитить от живых.
Ты в сей преклонный вечер жизни
Благоволил, да ныне я
Коснуся прагов освященных,
Вводяῐщих в храм – чертог небес.
Будь ввек благословен отныне? –
Коль радостно, что в нову юность
Я скоро, – скоро облекусь? –
Уже я слышу глас волшебный
Светлейших солнца нежных гурий,
Зовущих на седьмое небо,
Чтоб в мягких отдыхать диванах
Средь винных и млечных ручьев,
Где ни мятежей, ни коварств,
Ни ложных мудрований нет;
Где нет во времени премен,
Ни запада, ниже востока;
Но истина и вечный мир
Сияет в радужных лучах...
Ах! коль я грешен? – можно ль льститься? –
О братья! – повторяю вам,
Что скоро я не буду видеть
Красы вечерней сей зари.
Быть может, – час придет такой,
Когда она в отраду тени

Рассыплет свой алмазный блеск
В темнеющих углах могилы;
Но что? – какая польза мне?
Се! – перва немощь, – первый червь,
Предтеча вечности, – враг жизни,
Вонзив кровавую главу
В мою распадшуюся плоть,
Уже ползет в застывших жилах! –
Тогда и ту ослабшу ногу,
Котора в мире колебалась,
В отверсту занесу гробницу,
Где погрузилася одна. –
Ах! – медленно уже вратится
На оси треснувшей своей
Лет поздных томно колесо...
Вы видите ли горлиц там,
Пред западным лицем светила
Из теплых вылетевших гнезд,
Воркующих на ветхой кровле? –
Вы видите – их вмиг не будет;
Оне исчезнут в синеве. –
О! – скоро с стоном разрушится
Телесна храмина моя,
В которой горлица тоскилва,
В слезах взирая непрестанно
В ея решетчатую дверь,
Мнит скоро выпорхнуть на волю. –
Ах! близок час сей, как душа,
Подобно горлице стенящей,
Возьмет полет свой, – а куда?..»

Тут старец, орошен слезой,
Умолк, – а юноши и старцы
Твердили весь увет его
И впечатлели внутрь сердец;
Но дряхлы жены, обаянны

Арабского словами гостя,
У коих сгиб морщин рисует
Печать печальну: *помни смерть*! –
С немым почтеньем приступили
Лобзать края его одежды;
Ни пыль, ни грязь не отвращали
Благоговейных уст от ризы.

В сих тихих нравственных беседах
Селяне горных деревень
Часы вечерни провождали,
Пья сизой дым из трубок длинных,
Доколь на западе заря
Мерцая стала потухать;
Уже внутрь хижин запылало
Огнище посреди помоста,
Питаемое горным маслом,
Вкруг коего они, сидя,
Пропели свой *акшам-римас*[1],
Но наш *Шериф* изнеможенный
Не мог, как прочие, сидеть.
Он на ковре лежал узорном;
Потом, подъяв свою главу,
С печальным вздохом возгласил:
«Где верный посох мой! –
И он устал; подайте мне!
Подайте бедный посох мой!
Уже довольно он служил;
С ним я окончу *драмму* жизни! –
Ты, отрок! – подойди ко мне! –
И поведи меня туда, –
На оный мшистый скат горы! –
Там я в сей час, – избранный час,
Ах! – может быть – уже в последний

[1] Молитва магометан по захождении солнца.

Приятным наслаждуся видом
Сей потухающей зари,
Сего мерцающего неба,
Сих хороводных ясных звезд;
Потом, – приникнув, обращу
Слезящий взор на общу матерь,
Сырую землю, – где усну, –
На сей врачебный сумрак света,
Любезну зелень прозябений! –
Ах! – вы – оставьте здесь меня! –
Ушел ли мой *Мурза*? – он в доме!» –
Так рек *Шериф* – и был спокоен;
Но он, как тихий пламень, гас.

Уже *Мурза* распростирает
В объятиях единокровных
Сиянье радости домашней. –
Мать нежная его объемлет;
В нем милого пришельца лобжет,
Драгого сына в нем находит,
Исполненна душевной пищи;
Второго видит в нем *Шерифа*
И льет потоки слез отрадных. –
«О сын мой, сын любезный мой! –
Так вопияла мать счастлива
С слезящей некоей улыбкой, –
Благодарю Пророка ныне,
Что осенил он жребий сына;
Благодарю его за счастье...
Ах! сын мой! – как утешишь ты
Свою слезящу милу *Цульму*?
Она и день и ночь вздыхала,
Страдала, млела, тосковала;
О сколько слез она лила? –
Как усладишь ея минуты?
Как совершишь ея надежды? –

Поди! – спеши обнять ее!
Ты заслужил уже ее;
Ты руку с сердцем заслужил;
Поди! – спеши обнять ее!
Но где *Шериф,* – твой путеводец,
Сей твой достойнейший наставник?»

Мурза

Он там, – он там, – я приглашу;
О мать, почтеннейшая мать,
Ты мне теперь благословляешь
Обнять прекрасную, – о счастье! –
Так, – и Пророк благословил
Священный мой союз сердечный;
Я видел тень его святую. –
Теперь я поспешу к бесценной,
К душе, – к сей *Цульме* несравненной.
Что остается? – все свершилось;
Сама душа во мне спешит. –
Любезна мать, вели устроить
Все брачные обряды нужны!
Пускай светильники возженны
Пылают с радостным движеньем
В чертогах брачныя любви!
Все ль родственники в храме?
Все ль торжествует? все ли дышет?
Пойду я к ней! – но ах! возможно ль? –
Учителя недостает...
Пойду к нему сперва; он нужен;
Он дух моих часов блаженных;
Пойду, – прерву его беседу».

Мурза бежит и зрит *Шерифа,*
Готового на некий путь,
И застает сии слова:

«Я токмо отдохну, – вещает
Сей старец, несколько осклабясь
И встав, – объемлет посох свой, –
А успокоя дух и плоть,
Я скоро возвращуся к вам.
Ах! – как болезнует душа,
Что мне теперь, – *Мурза* любезный,
Участником не можно быть
В твоем священном торжестве!»

«Ты, – ты оставишь нас, *Шериф*! –
Вещает с нежностью *Мурза,* –
Нет, – ты не должен нас покинуть;
Какая радость брака будет,
Которую не возвышает
Отец, – учитель, – друг, – мудрец? –
Увы! – *Шериф*! – я трепещу!..»

«Не бойся, мой *Селим,* – пресек речь старец, –
Я в теле здрав еще теперь
И чаю радость разделить...
Но есть теперь желанье тайно,
Чего мне выразить не можно;
Бог, – Бог зовет, зовет меня на гору;
Яви покорность мне ты в сем! –
Дай мне единому глас сердца
Вознесть Отцу души и жизни!
Сей час мне дорог, – невозвратен;
Иль ты не можешь без меня
С своею *Цульмой* ликовать? –
Желаю получить тебе
Вернейшу руку от нея! –
Вот! – что мое желает сердце!
Да снидет Божеская тень
На долгоденствие твое;
Сие благословенье неба

Превыспренностью превосходит
Все тучны в *Таврии* холмы;
Супруг ты будешь, – буди нежен!
Не столь две плоти, сколь две души
В едино тщись совокупить! –
Ты буди в милости подобен
Хашему – другу всех убогих!
Вельможа славный сей в востоке
Четыредесять врат имел
В забралах дома своего;
Но ни едина не была
Возбранна бедности стенящей;
А ты, едину дверь имев
Не заключенну от убогих,
Яви щедроты разну цену!
Без ропота и без киченья
При малом, – не богатом брашне
Укруг последний, данный бедным,
Как сорок величайших кошниц
С пшеницею или плодами. –
Так буди к бедным сердоболен
И не забудь всего того,
Что сердце вопиет мое!
Твоя же нежная подруга
Да уподобится супруге
Святого мужа, *Ибрагима*! –
Тогда – все узрите *Эдем*;
Но время, – я иду на гору».

Так рек он и повлекся к скату.
Остановись еще, заря! –
Ликуйте, сребреные звезды,
И выводите полный месяц! –
Играйте, ветерки вечерни!
О сладкопевец, соловей,
Запой теперь ты брачну песнь!

Се, юноша любезный, – нежный
Идет в украшенный чертог! –
Кто там, прекрасна, как луна,
Покрыта дымкой, стройна станом,
Опершись на плечо его,
Идет так скромно, благородно?
То *Цульма,* – свет очей *Мурзы...*

Возможно ль, чтобы черна горесть
Летала над главами их? –
Какая туча смеет грянуть?
Какая грусть теперь дерзнет
Смутить веселые минуты? –
Уже вечерний пир шумит. –
Пирян всех лица расцветают;
Все божества забав летают.
Там быстро скачет *Терпсихора*;
Там носит *Именей* свой факел.
Церера ставит сладки яства,
Помона ставит плод душистый
С багровым соком нежной *асмы*[1];
Все весело, и все цветет;
Но тут и мрак, где полный блеск.

От ужаса обмерший отрок
В гостиницу вбегает бледен
И вопиет прерывным гласом:
«Не ждите более *Шерифа*!
Не придет в брачный пир учитель...
Сидя на косогоре долго
Взирал на небо – и вздыхал!
Потом, увы! – без чувств повергся
И более не пробуждался».

---

[1] *Асма* лучший виноград из красных во всей *Таврии.*

Не столь перуны огромляют,
Как страшные сии слова.
Шум радости стал воплем слезным;
Тогда и само горно масло
В лампадах с треском зашипело. –
«*О Магомет*! – *Мурза* рыдает, –
Как можно ликовать тогда,
Когда учитель гибнет наш?
Увы! – когда жених здесь скачет,
Учитель наш жених стал гроба. –
Пойдем! – отложим торжество! –
Какая радость в горький час?»

Печальны гости прибегают
И зря простерта вопиют:
О бедный наш Омар! – о бедный!
От сих рыданий дух *Шерифа*
Как будто паки возвратился. –
Он томны очи отверзает
И слабым гласом им вещает:
«Глубокий сон, – железный сон,
Друзья, – меня одолевает. –
Ах! знать на вечность засыпаю. –
О чада, – приступите все! –
И ты, – *Мурза*! – почто ты плачешь?
Все так же уснете, как я;
Не сетуйте, – дражайши дети! –
Вы пели свой *акшам-римас*;
А я в последний раз скончал
Сию вечерню песнь священну. –
Вы божество благодарили,
Что день спокойно провели;
А я благодарю за то,
Что тихий жизни день свершил;
О мой *Мурза*! – се запад дней!
А ты в сей запад начинаешь

Восход супружественных дней;
Как жаль, что сон мой роковой
Смутил блеск радости твоей! –
Воспомни мудрецов *Мемфиса*!
При пире их всегда лежали
Умерших кости на столах.
Хотя дышу в последний час,
Но да не всуе я дышу! –
Не сетуй, – буди мудр ты так,
Как мудры жители *Мемфиса*!
Вот что, – пока дышу, – вещаю!
Ты завтра узришь Божье солнце;
Но я, – я больше не узрю;
Уже – над оком ночь висит, –
Ночь вечная висит, – увы! –
Моя жизнь – также закатилась. –
Но ах! – *Алла* не позволяет,
Чтоб в третий раз сходить в *Медину*
И там близ праотца почить. –
А после встать – к рассвету славы...
Но заклинаю вас – Пророком;
По крайней мере – пренесите –
В *Натолию* – мой бедный – прах!
Сие лишь только мне приятно,
Что, где из персти я исшел, –
Там – паки в персть – пойду родную;
Ах! – я – уже слабею, – млею;
Вот! час приспел новорожденья!
Прощайте! – и пребудьте верны
Алле – и Белому Царю! –
Никто другой, – лишь он един
Да будет вашею главой!
Познайте, что его щитом
Ограждена терпимость вер!
Скажите то же чадам вашим
И вспомните – когда – о мне! –

Ах! – как – редеет в сердце – бой?
Се – смертный – мрак! – о вечна ночь!
Алла! – при-ми мой – дух! и – о-о –»

Сказал! – и отвратясь лицем
Простерся, – воздохнул – и умер. –
Бесчисленные токи слез,
Пролиты по его кончине,
Гораздо были изобильней,
Чем наполнявшая вода
Тот драгоценный водонос,
В который праотец его
Главу лишь внедрил на минуту;
Он ощутил в одну минуту,
Что на седьмом он пробыл небе
Уж несколько пресветлых лет. –
Вещают, что при сем *Мурза*
Провозгласил в хвалу *Шерифа*
Прекрасную надгробну речь.

Туда ж приспевши *пастухи,*
Что были в горных с ним пещерах,
Приусугубили свой плач
И так оплакивали смерть
Сего достойного слез друга:

1 пастух

О дщерь *Киммерии*! – кого? –
Кого ты ищешь? – нет его! –
Нет пастыря сердец сего! –
Злосчастна дщерь страны блаженной!
Зри! – кто на скате там лежит? –
Омар, – наставник твой почтенной!
Там слава музульманов спит. –
Как! – как *Шериф* сей мир оставил?

Как пал бессмертный? – плачь о нем!
Но он – долг странника исправил;
Да будет вечный мир на нем!

2 пастух

О сын *Измаила*! – внемли! –
Когда иных персть иссушенна
Погибнет, в вихрях расточенна,
Восхитясь от лица земли, –
Его – пребудет имя верно,
В сердцах *измальтян* бессмертно;
Он памятен столетьям всем;
Да будет вечный мир на нем!

1 пастух

Когда дождемся мы рассвету;
Когда заутра первый луч
Падет к останкам сим из туч,
Проводим по его завету
Их в лоно матерней земли!
Сие уста его рекли;
Да будет вечный мир над ними!

2 пастух

Се дружбы долг лежит меж нами,
Чтоб и усопшим мы друзьям
Осталися еще друзьями! –
Сей жертвы требует он сам;
Се он из гроба к нам взывает!
Дух с тверди зрит и помавает!
Да будет духу вечный мир!

Мурза

Итак, друзья, и вы, пришельцы!
Оставим слезное рыданье!
Но завтра, – как румянец утра
Украсит облака над морем
И оживит холмы и дебри, –
Положим мармор здесь, как знак
Шерифовой святой кончины! –
О вождь мой! – ты того достоин,
Достоин памятников лучших;
Да будет вечный мир с тобой!

Так кончилось рыданье горько;
Вещают, что в наставший день
Мурза, во бденьи ночь проведши
И брачну радость отложа,
В часы ночные токмо тщился
Собрать сокровища понятий,
Изящных мыслей, выражений –
И возгласил прекрасну речь
В печальном провожденьи гроба.
Муллы и знатоки *Корана*
Сему дивились велеречью;
А добры *музульманки* с ними
Излили реки слез усердных.

Но здесь – я око отвращу
От столь плачевного позора
И возведу спокойный взор
На перву степень трона нощи.

⟨ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ⟩

Содержание

Образ сумерек. – Тени ханов. – Горячий морской ветр. – Местопребывание рыб. – Ловля их – весенняя и осенняя. – Деятельность ночных и других сим подобных существ. – Соловей. – Бдительное сострадание. – Не меньше того и зависть. – Явления воздушные. – Нравственное извлечение из песнотворения. – Имн Царю Царствующих

Смотри! – как сумрак восприемлет
Обыкновенный свой престол
В тенистом нашем *кругозоре*[1],
И кажется, что торжествует
Умершего *Шерифа* смерть.
Увы, – *Омар*, – и ты скончал
Урочно странствие свое! –
Хоть ты, свое считая рвенье
Священным, препинался много;
Но добрый путь тебе, – *Омар*!
Оставь пещися храбрым *россам*,
Пещися мудрому Царю
О соплеменниках твоих,
О коих столько ты болел!
Победам *россов* вслед течет
Мир вечный, – долу здесь и там. –
Ты спишь и не проснешься завтра;
Твоя ночь гроба – вечна ночь;
А здесь – ночь мира начинает

---

[1] Так переведен горизонт; но я осмелился в первых песнях перевесть его *глазо-ем*, или *обзор*, что, кажется, не ближе ли означает силу термина?

Свинцовым скиптром помавать. –
Ея ужасну мановенью
Покорствуют различны тени:
Одне нисходят с верху скал
И длинной мантией своей
Далече покрывают долы;
Другие, цвет имея грубый,
Идут не скоро созади. –
Мне мнится, – с ними восстают
Из праха грозны тени *скифов*. –
Там тени странствуют шерифов;
Там ходят призраки *Фоантов*
Или ужасных *Митридатов,*
Или растрепанных *Медей*,
Или *Фалестры* копьеносной? –
Здесь тень является *Мамая,*
Что, зверским оком озираясь,
Терзает с стоном грудь власату,
Где раны те еще горят,
Которые впечатлены
Десницей страшною *Донского*[1],
Тогда как с грубою гордыней
Сей зверь, из *Перекопа* мчась,
Хотел в *Куликовских* долинах
Несчастных россов подавить;
А тамо вьются над гробами
Угрюмы тени *Мубареков,*
Мурат-Гиреев и *Салметов*. –
Ужасны тени сих мужей! –
Их смуглы, кажется мне, чела
Покрыты преисподним мраком...
Их черны взоры не находят

[1] Великий князь *Димитрий*, проименованный *Донский* по случаю славной победы над *Мамаем*, был отец и утешитель бедной тогда России.

Своих потомков на хребтах. –
Как воют там они в скалах? –
Какие страшные стези
В равнинах горных пролагают? –
Касаясь бисерной росы
Сухими перстами своими,
Следы ужасны оставляют
В страх утреннему пастуху.

Но что? – какой свирепый ветр
Еще от моря восстает[1]? –
Он с юга дует и шумит,
Подобно быстрой, жаркой буре! –
Как стонут южные брега?
Как здесь качается сей лавр
С опущенными вниз листами? –
Как там ручьи трепещут в падях
От сей внезапныя тревоги? –
Я ощущаю зной – он жжет
Тогда, как должно охладиться;
Я слышу тяжкий дух – он душит,
Тогда как должно освежиться;
Но серный пар сей давит чувство. –
Ах! – знать, еще в пучине скрыты
Подземны вещества горючи!
Они, парами из-под бездны
В сумрачную исшедши твердь,
Разносятся по долам бурей. –
К тебе, – природа благотворна,
Хвалу возносит житель здесь,
Что знойный вихрь преходит скоро,
Что сей воздушный демон мести,

[1] Около южных берегов Таврии в сумерки бывает с моря пресвирепый ветр, подобный шквалу, отменно горячий и тяжко пахучий; но он скоро утихает.

Едва гортань разинет знойну,
Сжимает и смыкает паки. –
Зри! – тамо в отдаленном юге,
В краю сумрачна горизонта
Еще в полкругах некий гром
Чертит сребристые бразды;
Но рев уже не слышен прежний. –
Зарница не гремит над нивой. –
Здесь все спокойно, – все молчит.

Се! – пролегает путь к брегам! –
Я темный путь туда приемлю
И зрю вдали кустарник малый
Иль пастуха, идуща с моря,
Высоким длинным великаном
Или густым столпом тумана. –
Но златоперых *щур* соборы,
Любители зари последней,
Парят вблизи приморских гор
И, зыбля крылошки зелены
Над темной спинкою своей,
Прохладный сумрак рассекают,
А желты шейки протягая,
Еще поют пискливым гласом
Свободу от дневнаго зноя.

Какая тишина в водах? –
Они, как зеркало, стоят.
Когда с *Кафинских* берегов
Взираешь на равнину моря,
Тогда печальны стены града
Рисуются в стекле пучины
Во образе развалин зыбких
И слезную в слезах *Фетиды*
Картину в сумрак представляют. –
Как тамо рыбы выпрядают

И, сделав в воздухе полкруг,
Тотчас опять стремятся в бездну?
Лишь за собою оставляют
Кругов морщины по водам.
Там рыбы *ханские, пеструшки,*
При свете звезд или луны
Выставливают в быстром ходе
Из зыби черно-пеги бедра,
Или *султански рыбы* тучны[1],
Которых вес в роскошном Риме
Равнялся с весом серебра,
Пурпуровой блистают кожей
Сквозь чешую свою прозрачну.

Но как *Овен* нетерпеливый,
Расторгнув топотом своим
Покровы снежные зимы,
Откроет кроткий месяц роз
И выведет из зимних хлевов
Стада блеющи в царство *Флоры*;
Иль как печальный *Скорпион*
Ниспустит над пучиной гладкой
С небес туманные завесы
И длинную осенню ночь
В трояком мраке углубит,
Тогда пронырливый рыбак,
Приметив в воздухе покой
И в море чаемую тихость,
Пускается с подсветом в бездну. –
Горящий пламень, проницая
Далеко в тиху глубину,
Огнисту башню протягает,
По жидким вьющуюсь зыбям. –

[1] Ханские и султанские рыбы так называются от татар по отменно хорошему вкусу и виду.

Тогда, – под скромным как веслом,
Сверкая, резвый пурпур скачет,
Обманутые чада моря,
Стремясь на роковой сей огнь,
Бывают жертвою плачевной. –
Рыбак неумолимый, ждав
Сего с дрожаньем потаенным,
Уже давно раскинул сеть,
С колеблемой лодьи восклоншись,
Во вред сим вод простым народам. –

Тогда *кефаль* сереброчешуйна
И остроносый жирный *скомбер,*
В последний раз пером плеснув
Средь матерней своей стихии,
В жестокой попадают плен.
Уже в грядущую весну
Не будут с братьями чинить
Периодический свой ход
К *Дунайским* устьям быстротечным
Или через пролив *Стамбула*
В *Архипелажскую* пучину,
А после паки возвращаться
При днях осенних в зыбь *Эвксин.*

У тихих сих блестящих вод,
Где свод небес изображен,
Как в ясном некоем зерцале,
Служащим эхом для цветов,
И где все яворы прибрежны,
Наклонши в зыбь власы зелены,
Являются во глубине
Бегущими рядами быстро, –
Я всюду зрю безмолвный мрак
И всюду кротки тени нощи. –
Лишь в злаке шелковиц густых

Среди приморских вертоградов
Не дремлют токмо *листо-липки*[1]
И тонким гласом сон наводят. –
Они, из усыренных долов
Взбираясь в мрачный час по древу
И к тылу листвий прилипая,
Всю темну ночь поют до утра. –
Меж тем как под густой гробиной,
Качаясь, белоперый *сыч*
На ветви томно восклицает
И в целу нощь окрестны долы
Тоскливой песнью оглашает,
А в злачной густоте аржанца[2]
Бродящий рябоватый крастель
С зарею тусклой раздает
Клик громкий по холмам пустыни, –
Горящи *светляки* в садах[3]
Свой тусклый факел возжигают. –
Как слабо отгоняют тьму
Сии толь дробные огни,
Сии трубчатые светочи,
Которыми песок морский
И тучный злак везде усеян
То посреде сырых ложбин,
То средь брегов, покрытых влагой? –
С какою радостью виющись
Ночные бабочки над полем
По свойственному им влеченью
Стремятся к слабым сим *светочам*? –

---

[1] Род очень малых и очень легких лягушек, которые, прицепясь к листам дерева, всю ночь кричат. Голос их не противен и несколько похож на сверчка, но громче. Оне больше подходят к травяным кобылкам, или стрекозам.

[2] Род травы, похожей видом на рожь.

[3] Светящиеся червяки.

Смертельна радость! – ах! – сколь часто
На самом полету бывают
Лишь жертвою нетопырей,
Что, выпорхнувши из среды
Кафинских дремлющих столпов
Или осиротевшей веси,
Их жадным поглощают ртом?

Но все сии ночные виды
Еще не сильны обаять
Моих полувздремавших чувств
С такою силою живою,
Как доброгласье соловья. –
Как нежно тамо *Филомела*
Под тению раин высоких
Ночную восклицает песнь? –
Чу! – ка́к немтующий сей гул,
Колена песни повторяя,
Волшебной трели подражает! –
Вот! – то воздушное зерцало,
Что, преломя лучи звенящи,
Хотя неверно, но приятно
Утесам смежным их собщает!

Пой! – пой! любезная певица,
Наставница моей *камены*! –
Пой в славу нощи, – в честь любви!
Сия приятна нощь одета
Не в зимню ризу грубой волны
Или стигийской черной ткани,
Но в мантию пушисту, легку,
Которая не заграждает,
Не подавляет, – но разносит
Твой громкий голос по долинам. –
Тебе прекрасная звезда,
Тебе *Венера* прекатна, –
Дщерь нощи, – дщерь пучины внемлет. –

Ах! как пленяюсь я лучем
Ея мигающих очей, –
Когда из-за холмов камнистых
Она дрожащий сыплет свет
И сладостны часы любви
Низводит в осененный мир? –
Пой! – пой, любезная певица,
Во славу нощи, в честь любви!

Все дремлет, – токмо две *печали* –
Печаль *сострадающих* сердец,
Печаль *завистливых* сердец, –
Покровом бледным осененны,
Одни теперь бессонны стонут.
Ах! – обе факел возжигают,
И обе слезы испускают;
Но перва ангельски льет слезы,
Другая *Стиксовы* крутит
Иль крокодиловы слез токи. –
В слезах печали благородной
Играют божески лучи
И милосердья райски слезы
О жребии несчастном ближних;
В слезах последней огнь крутится,
Огнь смертна факела ея,
Что зыбля завсегда она,
Скрежещет ржавыми зубами,
Дрожащи движет сини губы,
Глотает внутрь мяса змиины;
Терзается, что счастлив ближний,
Сокрыты вымышляет ковы,
Чтоб возмутить огнем тлетворным
Блаженные соседа дни,
То приписуя те пороки,
Каких совсем он не имеет,
То устрояя ложну славу

В оклеветание его;
А слава, – кто того не знает? –
Широкие имеет уши,
Подобно так, как сильный страх
Великие глаза имеет. –
Ах! – *зависть* льет на пуховике
Ночные слезы и о том,
Почто судьбина не сравнила
Ее с отважным *Геркулесом*
Иль с сыном славного *Филиппа,*
Или с *Адонисом*, иль с *Крезом*! –
Ах, – гнусная *Алекта* в плоти![1] –
Доколе прогорит твой факел?

О небо! – ниспусти все ветры
И погаси сей страшный факел! –
Пускай не дремлет лишь премудрость
И ищет благодатны меры,
Чтоб зависти пути пресечь,
Обезоружить мышцы ей
И радости бальзам влиять
Заутра в удрученно сердце! –
Премудрость скромна, – благородна;
Ея благотворенья тихи
Подобны облачной росе,
Что падают с небес в молчаньи. –
Как назову такое сердце? –
Источник слезоструйный благ,
Отколе капли сожаленья,
Отрада, благость и веселье
Во грудь злосчастному текут.

Меж тем премудрость созерцает
Явленье в тверди с восхищеньем,
Что суеверие считает

[1] Фурия.

Злым знамением для вселенной,
И заключает некий рок
Для сел, градов и сильных царств.

Сии блудящие огни,
Сии горящие змии
Спадают с небеси отвесно
Или летят горизонтально
В чудесных видах перемен. –
Сия комета быстротечна
Бежит, – стремится в бездну солнца;
Но возвращаяся назад
Из страшного пространства неба
Спускается в сей дольний мир
И увеличенным хвостом
Дрожащу землю осеняет. –
Сармат! – чрез тридцать лет, – внемли! –
Чрез тридцать лет она скатится[1]
Из дальних небеси пустынь. –
Предтеча ей – торжествен ужас;
Сопутник – океан огнистый;
А след – цель поприща чудесна. –
Она и древле посещала
В час грозный *Цесаря* последний
И мрак спускала над *крестом*...
Она, – она зардеет вновь.
Тогда помыслят, что падет
На первый *Чатырдагский* верх;
Но верх сей перед ней пылинка. –
Она страшна, – кого ж страшит? –
Порок, – слепое суеверье
И зависть, крадущу средь ночи
Сон сладкий у самой себя.

---

[1] В 1835 году большая комета возвратится близко к земле, как полагают.

Но важна мудрость, дщерь *Зевеса,*
Что чувствует в сей важный час?
Она превыше всех сумнений
Сего пришельца поздравляет
И видит токмо в сем предмете
Обычный оборот звезды,
Которая, как и другие,
Вратится в длани Провиденья. –
Восток, полудень, поздный вечер
Не есть ли солнца путь урочный?
Почто ж сей путь не страшен нам? –
Почто ж его палящий зной
Ключей студеных не страшнее
Для дышущих под вечным зноем,
Под пламенем лучей отвесных?

Но, о *камена*! – кончи песнь! –
Ты общи зришь теперь красы,
Какие вся вселенна зрит,
А *Херсонисский* лучший день
От нас теперь закрылся в мраке. –
Престань, престань петь летний день!
Уже завеса ниц упала.

Тобою, кротко размышленье,
Хощу теперь я заключить? –
Твоею перевязью легкой
Хощу венчать я томну песнь. –
Я целый день принес на жертву
Приморской арфе в *Херсонисе.* –
Я пробежал, – хотя небрежно, –
Под *Херсонисским* небом поле
Явлений, не воспетых россом.
Пусть строгий суд и нежный вкус
Простит мои поползновенья! –
Должна ль отвага оставаться
В притворе храма *Аполлона*? –

И должен ли порыв души
Слабеть и медлить при труде,
Что кроет музы нову силу?

Моя сопутница, *камена,*
Поутру в орошенных долах,
А в полдень на горах прохладных
Дорически вдыхала песни. –
Теперь последнюю вдыхает. –
Пусть песнь, – как размышленья дщерь,
Еще в последний раз проникнет
Небесный свод сквозь тьму висящу
При всходе сребреной луны! –
Природа днѐм пленяла много,
Как белокура нека *нимфа*;
Теперь еще пленяет больше,
Как черновласая девица.
Природа, как моя *Сашена,*
Котора в ясный день являет
Одно блистание лица,
А в тихие минуты ночи
Тайнейши прелести свои.

Се! – там, в восточной стороне,
Темно-янтарный холм обширный
Растет из-за стеклянной бездны! –
Как тамо протяжен ко мне
Свет зыблется по бездне длинный? –
Какое серебро струится
В упадшем, – мнится мне, – в пучину,
Волнистом, светлом сем столпе?
Я зрю в торжественном безмолвьи
Сначала полукруг великий;
Велик он; – тонкий сей туман
Обвод кровавый расширяет;
Кровав он; – стелющийся пар
В нем бледный цвет переменяет.

Се! – целое луны чело! –
От сребреных ея лучей
Бледнеют мшистые холмы,
Бледнеют белы стены башней,
Бледнеют куполы мечетей.

Ах! – пусть она дню подражает? –
Но день, – сей день не возвратится! –
Где делось розовое утро? –
Где слава полдней? – пролетела. –
Чу! – бьет час нощи! – вот бой крови,
Сатурновой бой быстрой крови! –
Вот мера настоящей жизни! –
Что наша жизнь? – мелькнувший день!

О сколь тиха заря дней юных! –
В сем утреннем сумраке зрим
Предметы токмо в половину. –
Но внутренняя *раздражимость*[1]
Уже приемлет царство в сердце.
Она канал есть легкий жизни;
Она теченьем правит соков;
А как? – все то тогда сокрыто. –
Что чувствуем, того не знаем;
Поем, – как утренние птицы,
Не зная радости причины,
Играем, – как младые агнцы,
На шелкову идущи пажить,
Не зная, встретится ли волк? –
Слезимся, – как роса воздушна,
Что лишь напыщится, – исчезнет. –
Ни пылка страсть, ни тихий разум
Листков своих не развивают

[1] Irritabilis, Reïtz – дражимость, или раздражимость.

И кроют их еще в пукете. –
Увы! – где ж дни сии блаженны? –
Как сон минули, – а невинность...
Повязка с скромных глаз спадает,
И в чувствиях рассвет белеет.

Бурливый вихрь страстей слегка
Шипеть в то время начинает. –
Любовь раскладывает огнь,
Чтоб остру стрелу раскалить
И в жилах кровь воскипятить. –
Та тиха искра, что в очах
Во время юных дней сияла
И чистый огнь лишь возвещала,
Теперь уж пламенем пылает. –
Горящий взор перелетает
С предмета на другой предмет. –
Не милы сверстники младые,
С кем игры прежде разделяли. –
И самая вернейша дружба
Свои права тогда теряет. –
Не милы те поля открыты,
Где прежде игры ожидали. –
Уединенных рощей тень
Убежищем любимым стала;
И кто свидетель страсти нашей,
Которая тогда снедает? –
Свидетель токмо лес и тени. –
Ни музы, ни *Минерва* мудра
Не отвлекут от мест печали
В бессмертные свои объятья.
Лишь знанья занимали мозг,
А сердца – не коснулись музы;
Любовь, – любовь владеет им;
Тогда пылающее сердце
При чтении лишь нежной песни

В честь некиим бровям прелестным
Подобится плавильной пещи;
Во груди зной; – так что же медлить?
«Где ты, прекрасная? – где ты?
В каких пределах обитаешь?
Какое нас делит пространство?
Хотя не знаю я тебя!
Но *симпатия* потаенна
Уже давно знакомит нас;
Уже давно соединились
Пылающие наши души.
Приди ко мне, – сужденна нимфа!
Приди! – узнай, как сердце тает?»

Так в страсти мы тогда взываем;
Глаза для сердца *клада* ищут;
Глаза встречаются, – и с кем?
С той самою заветной нимфой,
Что стоила толиких вздохов;
Потом усмешки, – речи, – клятвы;
Когда препоны нет к союзу,
Все укрепляет нежну страсть;
Кто ж прочего потом не знает?
Тогда сбираем мы фиалки,
Гвоздики пестры, розы алы,
Чтоб русы увенчать власы
Возлюбленной своей *Эрринны*
Или украсить с нежным вкусом
Цветами полну грудь ея;
Тут мним, что розы и фиалки
Гораздо менее цветущи,
Чем нежное лице ея,
И запах их не столь душист,
Как тихое ея дыханье.
Ах! коль приятны дни любви! –
Но если бурны *ураганы*

Ужасной ревности восстанут,
Увы! – тогда мы все клянем,
Клянем и самый день рожденья.

Так мирт цветет; се! – лавр растет! –
Что медлить? – время лавры жать! –
Уже блистают над главой
Часы кипящи пылких лет;
Другая страсть в крови пылает;
Палящий чести зной горит
И возжигает скромный дух, –
Забыв, что токмо в сердце должно
Искать блаженство непреложно,
Преследуем иное счастье
По стромким оного скалам;
Но часто лишь его рамена
В мятежном мире уловляем;
Хотя бы на брегах *Невы,*
Хотя бы на брегах *Эвксина,*
Или в златых песках Востока,
Или в златых *ливийских* сушах,
Или в *голкондских* рудокопнях
За ним гнались мы опрометом:
Когда усмешки не покажет;
Все суетно; – оно летит,
Как молния летит оно
И слепо на главу падет;
Где ж чаще? – там, где лесть ползет
И с нею наряду идет;
И на кого же? – на раба,
Кому, – как страстная блудница,
Слепою жертвуя любовью,
Дает свою бесстыдну руку,
Роскошно разверзает лоно. –
Однако – гонимся за ним,
Хотя лишь зрим его рамена.

Тут мы на *Марсовы* поля,
Где зыблется кровавый пламень,
Где кровожадная Мегера
Ужасный факел потрясает, –
Бежим, себя позабывая;
Раздастся ль тамо пушек гром? –
Восторг военный дух объемлет;
Сверкнет ли длинный копьев лес? –
Бежим в сию железну рощу;
Подставит ли смерть остру косу? –
Мы скачем бодро через косу;
Или спешим лице представить
В шумящем зрелище градов? –
Кипяще рвенье нас выводит
На горизонт в гражданском мире. –
Как славно быть планетой там,
Где блещут все плоды олив!

Или грядем в уединенье, –
Преследуемы в прочем славой, –
Открыть всю *сродность* чрез перо? –
Внутрь-уду пробудяся жар,
Возженный некогда едва
Бессмертным духом чистых муз,
Но затушенный вихрем страсти,
Воспламеняет паки душу
И проницает поздный век,
Хотя б не разгорелся ныне. –
Природа доставляет краски;
Вкус очищает тонку кисть;
А слава шепчет, – как зефир,
О тех веселых шумных плесках,
Что при суждении картин
В позднейшем мире возгремят.

Но ах! – сколь часто удается
Ступить тогда на верхню степень,

Когда неумолимо время
Точить железо начинает? –
Сколь часто на главу седую
Венец лавровой надеваем,
И кажется, что только с тем
Возносим на трофей блестящий
Одну очарованну ногу,
Чтобы с слезами проливными,
Или с параличем сильнейшим
Другую водрузить во гроб.

Так мы в полуденны часы
Кипящей нашей средней жизни
Стремимся к выспренним звездам;
Взбираемся до замка славы. –
Хотя гора ея стремниста,
Как *Чатырдаг* или *Кавказ*;
Хоть дышуща ея труба
Пустые буквы в воздух мещет;
Но мы идем, – скользим, встаем
И иногда – туда восходим.

Восходим, – тут ты, *сибарит,*
Просиживаешь целы ночи
Под светлостью ночных лампад
За лакомым столом в чертоге;
Тут ты, от счастья охмелев
И быв любовью упоен
Среди своих прекрасных *Фрин,*
В себе не помнишь человека
И мыслить о себе дерзаешь,
Как бы о новом божестве;
Тут ты сидишь надмен, – а там
Невидима десница пишет
На марморной твоей стене
Печальну меру живота

И час небеснаго суда;
А там – торжественный гнев неба
Уже катает грозны громы
Под рдеющим *Судьи* престолом. –
Как? – ты бледнеешь, новый бог! –
Ты изменяешься в лице!
Ты тщишься преложить сии
Черты небес чрез ложный толк;
Ты тщишься ради ободренья
Под шумом Вакховых знамен,
Под тенью шепотливых миртов
Уста у совести зажать! –
Не беспокойся! – приговор
Уже произнесен на небе.

О небо! – все сии деянья,
Которых образы блестящи
В очах земли велики суть,
Перед тобою – что такое? –
Извилины неважны червя
Иль блудные шаги греха. –
Ах! – кто б из человек не пал?
Кто б был всегда неколебим?
И мудрого стопа неблазна
Нередко подле рва скользит. –
Где ж точный человек найдется? –
Ответствуйте мне, мудрецы! –
Вотще ты, чудный *Диоген,*
Его на торжищах искал;
Фонарь твой вечно не погаснет;
Весь мир ничто, как маскерад. –
Нет в мире ни одной души,
Котора бы, подобно небу,
От дерзостных нашествий облак
Не помрачалась никогда. –
Сия душа, – сей протяженный

Светильник столповидный с неба,
Луч, сыплющий в юдоль плачевну,
Всегда ли чист – и не тускнеет
От мглы, из моря исходящей? –
Ах! – часто пятна пристают
На чресла пламенны его;
Но ты, – о милосердо небо! –
Женешь их духом уст своих
И радугой его венчаешь. –
По буре устаем в пути;
Зной, – гром и молния паляща
Свирепствовать перестают. –
Мы ищем тишины в тенях;
Горящий дух внутри хладеет;
Тогда пришедши важна *Мудрость*
И с нею *Опытность* седая
Снимает с глаз завесу мрачну
И, радужный развивши пояс,
Нас с строгим небом примиряет,
И рдяным перстом указует
На вечеряющий день жизни.

В то время шествуем ли в роще?
Идем ли по полям зеленым?
Идем ли на холмы кладбища? –
Там слышим воздыханье мира;
Там зрим развалины его
И сгнивший механизм его. –
Здесь зришь источенные мышцы
И ноги лжебессмертных Марсов;
Там попираем прах и кости
Блистательных любимцов счастья,
В которые еще поныне
Сиротски слезы проникают;
Здесь плачешь над сухой ланитой
И грудью некоей *Астарты,*

Где прежде лилии белели,
Где прежде розаны дышали;
Но только лишь краса исчезла,
Все лилии сии потускли,
Все розаны сии поблекли. –
Так дщерь весны в саду цвела,
Раскинувши свои листочки,
Как гибки длани, благовонны;
Ее лелеяли зефиры,
Поили тихие дожди,
А красили лучи небесны;
Тогда – любезна дщерь весны
На тонком стебельке прямом
Головку нежно поднимала
И всех пленяла и манила;
Все отроки ее любили;
Она божественна, – вопили;
Все девушки ее хвалили;
Она прекрасна, – говорили;
Но лишь могуща кисть природы
Толико прелестей в цветочке,
Толико света перемен
Преобразила в темну смесь,
И дщерь весны бездушна пала;
Тогда ни отроки не любят;
Она божественна, – не вопят;
Тогда ни девушки не хвалят;
Прекрасный цвет, – не говорят.

Здесь видишь челюсть *сибарита,*
Там топчешь ребра великанов
И черепы полубогов. –
Ах! – где корона с митрой были,
Там из червей венец плетется;
Где роза на щеках алела,
Там черный муравей влечется.

Да, – важны были полубоги;
Их все страшились, как елени;
Теперь на мшистых их могилах
Елени, – дики козы скачут. –
Единый нежный друг несчастных,
Кому стихия – есть любовь,
В ком дышет жизнь одной любовью,
Кончает поприще спокойно;
Его брада белеет поздно;
Глаза зрят тихий запад дней;
А если он во гроб нисходит,
То гроб ничто, – как лишь трофей. –
Но злый, – сын пагубы, – завистник
Рассыплется не погребен. –
Тогда его ужасны кости
Вовеки не обрящут гроба,
Но будут ввек в степи белеть
И ввек на знойном солнце тлеть;
Поросший васильками холм
Над ним не будет возвышаться;
Не станет устрашенный путник
Сидеть на диком сем холме;
Но, отвратясь, минует кости,
Что будут спать железным сном.

Но что же тамо извлекает
Из наших глаз нежнейши слезы? –
Се! – персть почиющая присных
Или сотлевший тот убрус,
Который покрывает чела
Отцев, – супруги, – друга, – милой...
Убрус священнейших залогов,
Которой я лобзал в слезах
При длинном похоронном звоне! –
Как сей предмет остановляет?
Как быстро душу проницает!

С каким внушением сильнейшим
Напоминает о кончине?

Когда приходит кто из них
В сию гостиницу почить
И посох у дверей бросает,
Ах! – что тогда мы ощущаем? –
При бое той дрожащей меди,
Что башни на стенах стенает
И смертный стон свой протягает,
Мы тотчас слышим: *помни смерть*! –
Какое строго поученье! –
Мы слышим тайный *парок* труд
Над нитью жизни человеков. –
Когда дыхание втекает
В скудельной *Прометея* труд,
То *парки*, взяв тончайший лен,
Вертят крутящееся древко
И начинают свой урок
С пророческою сею песнью:

«Крутись, мое веретено!
Пряди! пряди! – Лампада жизни
Уже засвечена от неба:
Пряди судьбину существа,
Явившегося ныне в мир! –
Почто сия скудель слезится? –
Или предчувствует беды
И горьки токи пота с кровью? –
Крутись, – мое веретено!» –

Так сестры тут поют рожденье,
А небеса дивятся твари,
Произведенной ими в гневе;
Но только лишь скудельный труд
Теряет огнь и распадает,

Дабы опять преобратиться
В бездушну прежнюю скудель,
Тогда поют почтенны сестры
Иную роковую песнь:

«Престань, веретено, вертеться
И прясть судьбину вещества! –
Вот – скоро дряхла нить порвется!
Ах! – так преходит слава дня;
Ночь вечна крадется из бездны,
Чтоб заступить престол его. –
Атропа! – где твое железо? –
Увы! – коликие страданья
Сын крови должен перенесть,
Доколе стричь начнет сестра? –
Престань, веретено, вертеться!»

Нить кончится; – а вы, любезны
Залоги бьющегося сердца!
Вы, после бурь стремясь к покою,
Залогом становитесь гроба. –
Мы видим, – чувствуем сие. –
О! – если б после грозных бурь
И наших дней был запад чист!

«Что до меня, – вещает здесь
Космополит – и зритель мира, –
Когда судьбина не покажет
Усмешки лучшей, как сия,
То пусть в блаженном равновесьи
Мое содержит бытие! –
Пускай огонь страстей в душе
На три степени жар опустит!
Гордыня! – любочестье! – гнев!
Забота! – суета! – все страсти!
И ты, – раболюбиво счастье! –

Я научился ведать ваши
Обманы, ласки и насмешки.
Да уничтожат бурный приступ
Сии крутые вихри ада
Ко входу моея души!
Да снимут страшную осаду
Сии тиранны дерзки с сердца! –
Кляну я всех *сирен* коварства!
Кляну я все плоды *Гоморры*! –
Но пусть в челе и сердце свет
Не погасает никогда! –
Пусть совести моей свобода
Никем отъемлема не будет!
Но быв всегда мне соприсущна,
Отгонит всякий страх теснящий
И духу даст златые крылья! –
А *Феб* не возбранит мне в лире
И держит над главой лампаду! –
Тогда-то мир и радость духа
Моей стихиею пребудут. –
Тогда ко мне в долину снидет
Хотя малейша тень *Эдема*
С блаженной высоты востока.
Но коль блудящие огни,
Что путника в обман приводят,
Черту покажут ложну света
И нарисуют в точке зренья
Светильник суетной надежды;
Или предскажут гнев судьбы,
Который дни мои отравит;
Друзья оставят, – ах! – оставят;
Тогда пусть *дух благий Сократа,*
Мне шепчущий: *Познай себя*! –
Ведет по слезной сей долине
Разумно до предела дней!

И разве, – разве быв водим
Я богомудрием и *Юнгом,*
В час некий буду созерцать
Одними *Томсона* очами
Прекрасно царство сельских видов! –
Тогда в гостинице спокойно
Оставлю верный жезл – и лягу,
И там помажусь, – уврачуюсь
Спасенья вечного елеем.

И тако я умру безвестно
От дому матери далече! –
Тогда – и та из звезд малейших,
Под коей некогда родясь,
Дышал я на земле живых, –
Какое б тайное влиянье
На всю мою жизнь ни имела, –
Не будет озарять меня,
Не будет даже вредной силы
Иметь на тлеюще чело
И на рассыпавшися перси;
Я ввек сию звезду забуду. –
Сопутники моих дней юных
Искать меня повсюду будут,
Но не найдут уже меня. –
Они последуют стезям,
Проложенным моей стопой;
Пожмут друг другу теплы руки,
Мое воспомнят бедно имя
И, в перси бья, возопиют;
Но гласа их я не услышу;
Я лягу близ пучины черной;
Я в желтой персти здесь усну,
Где ясные мои глаза
Навек засыплются песками;
Закроется студена грудь

Сосновыми сырыми дсками. –
А ты, подруга сердца нежна,
С которой было б все здесь мило, –
В лугах, лесах, горах и долах, –
Без коей здесь – увы! умру, –
Ты, может быть, переживешь;
Конечно, – ты живи! – еще живи! –
Ах! – не закроешь глаз моих!
Ты не оплачешь! – я усну, –
Усну в пустыне, не оплакан
Никем! – слеза из глаз катится;
В слезе моей дрожит луна,
Как мала сребрена звезда! –
О скорбна мысль! – здесь устаю;
Здесь томну арфу повергаю».

ИМН ЦАРЮ ЦАРСТВУЮЩИХ

К Тебе, – которого премирный
И вечно непреложный дух
Колеблет твердь и дол обширный, –
Там движет многозвездный круг,
А здесь ось мира нагибает,
Кавказы, – Альпы претирает;
Твердыни в бездну низвергает;
Под солнцем топит гор утес;
Иль – высит, или ниц склоняет
Тяжелый дольних царствий вес! –
К Тебе, – Царю земных царей, –
Воззвав, – колена преклоняю
И томну арфу повергаю
Из длани трепетной моей.

Се *Херсонис* благословенной!
Что ныне он? – что древле был?
Он некий малый мир в вселенной,
Над коим некогда парил
Твой дух, – сей вождь небесных сил,
Когда он, яко плод зачатой,
Во мраке первобытных дней
Зрел в бездне черных вод чреватой;
Когда *Любовь*, – всех *жизнь* вещей, –
На крыльях голубя летала
Над нежною его пленой
И в тихом чреве согревала
Животворящей теплотой.

Согрела, – он из бездн изникнул
В прелестном, пышном виде вдруг,
Как бы позорищный полкруг;

А Ты, – а Ты над ним воздвигнул
Блаженства пурпурну зарю
Калифам, – канам и *ЦАРЮ...*

Твой перст творящий, благостынный
Во изобильи находил
Сии леса гостеприимны;
Твой перст чудесный воздоил
Сии цветущи вертограды,
Сии багряны винограды,
Сии смоковниц древеса,
Сии высокие раины
И доброплодные маслины,
Сребристых тополей леса,
Гробины, кедры, буки, тисы,
С бессмертным лавром кипарисы.

Но в тот ужасный век седой,
Как, потеряв он век златой, –
Увы! – в железный низвергался,
Где в первый раз металл раздался,
Где вся растлилась плоть и кровь,
Где в злость перелилась любовь,
Где бранным рдело всё недугом;
Брат стал не братом, – друг не другом;
Где на безропотных главах
Оливные венцы бледнели,
А изверги в литых бронях
Противу ближних свирепели
И с быстрой молнией мечей
В доспехах крепких, громозвучных
На братиев, – отцев, – детей
Полились в долах злополучных, –
В сей век, – родивший дику брань, –
Твоя багреющая длань,
Потрясши огненный сноп молний,

Сии хребты шатнула дольни
Во основаниях своих,
Шатнуло дно песчано их;
Воздвигла *трусы* в царстве темном,
Что, в чреве заревев подземном,
Зевнули, – горы пали в гроб;
Иль – быстро разлияла всюду
Иноплеменников потоп,
Что, вдруг исторгшись изнутрь-уду
Кавказских седоглавых гор,
Кровавый произвел позор.

Когда ж во славе обновился
Тот светлый *полдень тишины,*
Тот век блаженный покатился
Поверх холмов сея страны,
Как примиренны небеса
Излили благодатный ток
На горы, долы и леса,
На берег, камни и песок, –
Твое вседетельное *Слово*,
Чтоб бытие воздвигнуть ново,
Здесь водрузило с лепотой
Краеугольный камень свой,
Да не подвигнутся священны
Сии незыблемы хребты.

Но как в владыках несравненный,
Сын мира, – неба, – правоты, –
Внук *Ольги* мудрой и прелестной, –
По тьме увидел свет небесной,
Твое, – предвечная *Любовь*, –
Влиянье ощутил с струями,
Где возродил он плоть и кровь
Пред *Херсонисскими* брегами, –
Ты, Боже, погасил навек

Подземный пламенник средь бездны;
Ты ржущим там горнилам рек:
Не прейдете предел железный!

Перуны раздраженны там
Крутых брегов не потрясали,
А дики *свары* по полям,
Зажегши факел, – не ристали;
Тогда лук сильных изнемог;
Тогда вражды сотерся рог.

Ах! – время в мире скоротечно
Картины пременяет вечно! –
Вещь кажда век имеет свой;
Гнездящесь зло во тьме густой
Еще свое чело вздымало;
Еще те вежды разжимало,
Что, только слабо воздремав,
При первом открывались зове;
А хитроокий *грех*, восстав,
Желал прохлады в общем крове;
Князь тьмы, – плотоугодный князь,
Преторгши с небесами связь,
Лелея песнью *грех* нечистой,
Носил его в груди пушистой. –
Тогда, – тогда *всемстяща* длань
Еще сводила звезды в брань;
Еще месть средь колес сверкала,
Еще жезл медный простирала
И богомерзких поражала.

Высокоцарствуяй! – ужель
Сия волниста колыбель, –
Сия пениста зыбь пучины,
Где в юности сей край почил,
Вновь двигнет шумные стремнины,

Со дна с песком подымет ил
И будет гробом водосланым,
Где погребется и умрет,
Покрывшись сводом волн пространным,
Сей брег, сей дол и сей хребет!

Ужели кровожадна свара,
Дщерь ада, – *Ктезифона* яра, –
Еще покатит средь колес
Булатных копьев звучный лес?

Ах! – удержи еще, Всесильный,
Бразды сея судьбы строптивны! –
Мятежны бури предвари!
Продли дугу Ты хризолитну,
Сей желтый пояс ниц простри
И чресла препояшь холмов
Блаженством мирных дней возможных!
Расторгни ухищренный ков
Исчадий *Галлии* злобожных,
Друзей строптивых *агарян*, –
И мышцей предвари всевластной
Ужасных правил их обман,
Да шум *Секванских* волн опасной
Не отзовется в сих брегах
И не промчится в сих хребтах!

Благоволи – да Ангел мира
Над каждым здесь холмом парит
И, светом озаря эфира,
На здешних долах водворит
С блаженством тишину любезну!
Да *лиры* златострунной гул
Проникнет долы, горы, бездну
(И никогда бы не уснул);
Да всюду громко раздается,

От *Коза* к *Форусу* прострется
И тамо – век твердить клянется
Любовь толь сильну, – яко смерть,
Орестов, – *Пиладов*, – чад дивных,
Которых рок грозил пожерть, –
Сих двух душ слитых, неразрывных!

Да ключ богатой лихвы, – *труд*, –
На плуг облегшись искривленный,
Ведет бразды нив углубленны
В цветущей тишине минут
И чреватеющей природе
Различным семенем плодов
Даст руку помощи в свободе,
В тенях блистающих садов!

Но паче здесь, Царь сил небесных!
Владычество возобнови
Сиона дщерей благовестных,
Надежды, – *Веры* – и *Любви!* –
Да *Истина*, – как солнце вечно, –
Среди блаженной сей страны
Стоит незыблемо, беспечно
На сгибе суетной *луны*!

О Ветхий деньми! – Всемогущий!
Воззри с осклабленным лицем!
Храни во всякий век грядущий,
Изникший сей из бездн *Эдем*! –
Да *Херсонис* в святом восторге
Ввек славословит и поет
Твое в нем имя, – как в чертоге, –
Доколе *россам* лавр цветет!

Екатерина II. Портрет работы Д.Г. Левицкого. 1783 г.

Князь Потемкин принимает Крым в подданство России.
Картина Б.А. Чорикова

Н.С. Мордвинов. Портрет работы неизвестного художника. Конец XVIII в.

Чатырдаг. Картина К. Боссоли. 1840-е годы

Долина реки Бельбек. Картина К. Бессоли. 1840-е годы

П.А. Румянцев. Портрет работы неизвестного художника. Конец XVIII в.

В.А. Зубов. Портрет работы Ж.Л. Вуаля. 1791 г. (?)

Александр I. Портрет работы Дж. Доу

Дополнения

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «РАССВЕТ ПОЛНОЧИ»

259. ДАНЬ БЛАГОТВОРЕНИЮ

Его Высокопревосходительству господину адмиралу и разных орденов кавалеру Николаю Семеновичу Мордвинову, милостивому государю и благотворителю с благодарнейшим сердцем приносит

Семен Бобров. Марта 4 дня 1802 года.

Вотще тюльпан в долине спит,
Коль на чело его склоненно
Скатился с тверди маргарит,
Подъяв чело одушевленно;

Как в злачном храме, он в долине
Приносит тонкий фимиам
Багряной утренней богине.

Благотворитель! – я тобой
К блаженству ныне примирился
С жестокосердою судьбой,
Твоей душой одушевился.

Денница мне – твоя душа;
Она своей росой целебной,
В очах ток слезный осуша,
Врачует мой недуг душевной.

И духи жизненные вспять
Моей камене обращает,
Да пламя Фебово опять
По томным жилам в ней взыграет.

О сердце! – биться не престань
В горящих чувствах бестревожно,
Доколе парка непреложна
С тебя известну взыщет дань.

260. АНГЕЛ БАГРЯНОРОДНОГО ОТРОКА, 8 НОЯБРЯ

Salve vera Joves proles!
Virg⟨ilius⟩

В пространстве голубого свода,
Где воздух пламенный горит,
Где возвышенная Природа
Зря *вечность* над собой, – молчит;
Где свет млечной, сей путь пространной,
Подобен чаще искр слиянной, –
Кто зыблет, как комету, шлем
И, огненным маша мечем,
Виющимся среди десницы,
Парит на крылиях денницы? –
Не дух ли, что блюдет
Души и жизнь и свет?

Он быстро область света рдяну
Полетом молнии сечет,
И за собой *звезду* багряну
По розам утренним ведет. –
Звезда с душею – в мир призванна,
Сквозь мглу полярного тумана
В соборе *Августейших* звезд
Течет – и в мраки дальних мест
Дожди златые в искрах мещет,
Сама улыбкой юной блещет. –
Чудесная краса! –
В ней персть и небеса...

Спустяся над *Невой* сребристой,
Глядится в синих зеркалах;
В них сыплет огнь, – и огнь струистой,
Резвяся, скачет на водах,
Туманы дальны разженяет,
Разлиты морем вкруг страны,
И *Финский* воздух позлащает
Поверх спокойной глубины;
Лишь пурпурны струи играют
И *нимф* на игры вызывают. –
  Здесь изумлен стою,
  Картину зря сию...

Кто ж сей? – кто образ сей ужасной,
За кем *огня струя* бежит
В подобии звезды прекрасной?
То дух, – чад света вождь и щит; –
Гнев *Иеговы* в челе сверкает;
Перун горит на раме крил;
Меч *Элои* в руке пылает;
Пред ним дрожит мир черных сил;
Он *тьме* за *свет* издревле мститель;
Он *Михаил*, – он зла казнитель;
  Он Божья длань суда,
  Длань силы; – но *звезда*? –

Звезда? – то отрок *Августейший*
Багрянородный *Михаил*,
Которого сей вождь святейший
Объемлет ныне сенью крил
И равно-ангельный влагает
В младые перси жизни дух,
И здравых сил бальзам вливает,
Да некогда, – храня полкруг,
Он мстит, как вождь сей, сонмам злостным
Мечем *суда* молниеносным.

Сколь луч надежды мил
В тени небесных крил!

Луч мил в тени! – о *нимфы* юны,
Возникните из *Финских* вод!
Вздымайте свод сереброструйный!
Звучите белой дланью в свод!
И вы, – с своих холмов приспейте,
Стыдливы *музы*, в шумный лик!
Вы стройтесь, пойте, в длани бейте!
Се *Отрок* в торжестве возник!
О дщери солнцевы! воспряньте,
Ударьте в лиры, в трубы гряньте,
Сколь ныне день блажен,
Сколь лестен, сколь священ!

261. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ РОССИЙСКОМУ ЧАПМАНУ[1] А⟨лександру⟩ С⟨еменовичу⟩ К⟨атасанову⟩

Кого среди гробов ты ищешь, странник слезный?
Он здесь – безгласен спит; но там – немолчны бездны,
Эвксин и шумный *Бельт* векам возопиют,
Из чьих стремились рук в пучины их бурливы
Бойницы в казнь врагам крылаты, горделивы. –
То *К⟨атасано⟩ва* ума и славы труд...
Увы! – Сей *Чапман* наш нисшел во мрак гробницы
В тот день, когда узрел он первый луч денницы[2].

---

[1] *Чапман* был в Швеции знаменитый строитель кораблей, главный начальник верфей и, так сказать, систематик и усовершитель корабельной архитектуры.

[2] Он скончался в самый день рождения своего; надгробный памятник с надписью, усердием почтенной его супруги, поставлен на Смоленском кладбище.

262. ВОСПОМИНАНИЕ ГР⟨АФА⟩ ВАЛ⟨ЕРИАНА⟩ АЛ⟨ЕКСАНДРОВИЧА⟩ ЗУБОВА ПРИ ЕГО МОГИЛЕ

О ратник! – зришь ли гроб в пустыне?
Кто там уединенно спит –
В тени древесной – при пучине, –
Под дерном, – мирным сном покрыт? –
Ах! – утренняя заря с востока
Не взглянет на него заутра!...

Ты плачешь; – многие вздыхают,
По нем льют реки из очес,
Друг другу персты пожимают;
Источник их различен слез. –
Любовь, – отрада, – нежность плачут,
И благодарность – там слезится.

Слезится; – здесь ли плакать должно?
Здесь дань сия не вместна их;
Сей гроб – прибежище возможно
Печальных, скорбных, немощных;
Сей гроб – гостиница уставших,
В пути тернистом изнемогших.

Коль твой клеврет над сею перстью
Покоит томное чело;
Сняв шлем, – простясь с кровавой честью,
Целит несметно ран число;
То благодетеля гробница
Есть лучший знак его бессмертья.

Знак, небу и земле любезной;
Гром гаснет, – лавр истлеет там,
Нет гроба лишь душе небесной. –

Но кто он? – Знаем ли сердцам?
Чья тень над гробом сим? – Ты видишь;
Сей животворный глас? – Ты слышишь.

«Несчастный! – нет при гробе лести;
Я друг еще за гробом твой;
Я не искал пустыя чести;
Сердца – вот памятник весь мой!
Ваянье, надпись, своды гроба
Не мне, – то пища взоров чуждых.

Но я под смертной даже тенью
Хочу мглу светом оживить,
А гроб – гостеприимной сенью. –
Спеши туда стопы омыть! –
Пусть в бурях борются другие!
Ты ляг на гроб мой, отдохни!»

Услышал ли ты, ратник честной,
Что дух благий вещает нам?
Се Ангел, дух любви небесной
Из гроба вопиет векам! –
Он, быв вельможа – человек,
Он был Ирой – друг человека;

Не тот Ирой, что созидает
Холмы трофеев из голов,
Что свой кумир сооружает
Рукою смерти средь веков
Или на счет другого жизни
За гробом имя покупает;

Но кто чертеж доброты пишет
И строго ценит дни других;
Что до минут последних дышет
Любовью к жизни немощных,
Кто к ним из гроба длань возносит;
Вот наш Ирой, по ком слеза!..

Блистал ли царедворцев в сонме?
Он паром их не заражен;
Стоял ли на закружном холме?
Он омраком не возмущен;
Он был крылатым *Трисмегистом*
Божественной *Афины россов.*

Когда цари с концев вселенной
Стекались с скорбной царств судьбой
Пасть пред *Афиной* несравненной,
Он был *Полярною звездой,*
Что кажет мореходцам путь,
Меж вихрей прочих звезд не движась.

Стремился ль он в врата железны
Среди висящих южных скал,
Что строго смотрят с облак в бездны,
И царство камней проницал,
Где сын *Филиппов*, как *Зевесов*,
Разил peруном полвселенну;

Где *Севера творец*[1] возникнул
Сквозь степь *Магога*[2] на *Кавказ*,
Дремучих стран слонов достигнул,
Где царство *Кирово* потряс,
Исторг ключи блестяща царства
И вечной славою покрылся?

Пред ним бледнели *эламиты*[3],
Упали тьмы несчетных сил,
Дрогнули горы ледовиты;
Сам *Кир* пред ним – склонил бы тыл;
И те ж ключи, что *ПЕТР* им отдал,
В руке ироя возблистал.

---

[1] Петр Великий.
[2] Вообще страна *скифов, гуннов, татар* и пр.
[3] Персиане.

Но милый блеск победы новой
Души ирийской не растлил;
Не столь священ венец лавровый,
Сколь масличный ей тамо был;
Счастливая рука железа
Блистала, – но не тьмила сердца.

Стремился ль в рыцарской отваге
С восточных к западным странам,
К полям *сарматским*, к шумной *Праге*?
Он стал ногой бесстрашной там,
Где адова рука ужасно
Махала вкруг его во мраке.

Воздвиг ли тамо *Марс* перуны
Сокрыто из крамольных стен,
Отколе наш сей витязь юный
Ударом первым был сражен? –
Но что? – одной стопой в могиле,
Другой остался в мире к благам.

Средь бранных туч и в мирной сени
Он славы истинной искал.
Он многих – всех был *добрый Гений;*
Таким же и за гробом стал;
Не в суетных мечтах был нежен,
Но в пользах ближнего священных.

Таков был *Зубов* – муж бессмертный,
Сей друг других, сей братий брат,
Сей сын отечества усердный,
Сей дух хранитель *солнца чад*[1].
Его наследье – светла вечность;
Но грех – не лить нам слез надгробных.

[1] *Музы* и все *дети Аполлона.*

Так; – грех не лить нам слез надгробных,
Но грех – не отереть и слез;
Его гробница – пристань скорбных.
Ах! утрення звезда с небес
Его заутра не возбудит...
Но вместо оной – вечно солнце...

263. ПЕСНЬ ЭПИТАЛАМИЧЕСКАЯ НА БРАК ВЫСОЧАЙШИХ ЛИЦ

Never from thes hour to part,
wéll live and love so true.

Oliver Goldsmith

С сего часа мы будем вечно
Друг с другом жить, любить сердечно.

Оливер Голдсмит

Не в эфирные чертоги
Пылкий *Гений* мой парит,
Где ликуют в славе боги,
Где *Зевес* им пир творит;

Где рукой бело-румяной
Миловидный *Троев* сын
Им подносит нектар рдяной,
Как велит небесный чин;

Или где с душей прелестной
Юный *бог любви* и нег,
Утвердя союз чудесной,
Дышет вечностью утех;

Где сердца небесны рдеют, –
Пьют кипящую любовь,
Бьются, бьются, – млеют, млеют
И струят эфирну кровь.

Нет, – *Олимп* теперь склоненный
Блещет средь *Петровых* стен,
Здесь повеял рай блаженный,
Здесь мой *Гений* восхищен...

Здесь в величестве сияет
Светлый сонм богов земных;
Карл Марии покоряет
Нежно сердце в сонме их.

Вдруг с огнем летит в чертоги
Златовласый *Именей.*
Все сретают гостя боги
С умиленною душей.

«Боги и богини мира!
Разверзайте вы свой дух!
Снова два луча с эфира
В светлый ваш вливаю круг...

Се любви Чета высока
Во чреду богов течет! –
Слава дивной силе рока! –
Величайтесь! – он их шлет».

Рек он; вдруг из стран перуны
С торжеством блеснув звучат;
С ними слышны лирны струны,
С ними и сердца гласят.

Се величественны лицы
Зрят священну цепь меж них,
Зрят связуемы десницы
И величат участь их!

Так как там, – где горни лицы
На *Олимпе* пир дают,
Диевы две юны птицы
Огнь любви у трона пьют;

Там с улыбкой нежной боги
Двоицу пернату зрят,
Зрят лобзанья их, восторги
И бессмертьем их дарят.

Ты, – что царства поглощаешь, –
Хрон, – седое божество,
Что всечасно устрашаешь
Трепетное естество!

Прочь отсель с железом мрачным!
Прочь! – иль косу притупи,
Или пламенником брачным,
Если можно, растопи!

264. УСПОКОЕНИЕ РОССИЙСКОГО МАРОНА

Как тихо день его, – как скромно
К вечерней клонится стране,
А *лира солнцева* – как томно
Поникши млеет в тишине? –
Алански музы! – воздохните!

Но сей остаток века поздной,
Тогда – как вечность предстоит,
Блестя сквозь сумрак, стражей грозной,
Еще денницы луч вторит;
Мир Божий веет в запад жизни.

Заря вечерня потухает;
Но свет пурпуровый ея,
Как утренний еще играет;
И пламенна его струя,
Как луч сквозь мглу восточный, льется.

Сей сумрак тихий, но унылый
Вдыхает мне тоску и страх,
Что скоро свет сей прейдет милый;
Но в Амфитритиных лесах
Еще я слышу соловья.

Таков при старости маститой
Российской наш *Марон* прямой,
Блестящий, нежной, сановитой;
Каков же был он дней весной?
Каков в полудни лет своих?

О *россы*! был ли столь счастливый
С *Петровых* славных дней меж вас
Парнасский витязь терпеливый[1],
Как сей, – возникший на *Парнас*,
Сей бард, – сей *Гений* солнце-родный,

Так, – многие певцы умеют
Блистать в полуночной стране;
И все их песни пламенеют;
Но крылатеют ли оне
К престолу небеси – толь живо?

Когда он трогал струны лирны
И петь *мир нравственный* желал;
Какая мудрость! – свет эфирный
Игру его одушевлял?
Как дух его поет! – что внемлет?

[1] Подлинно между дарами поэта считается потребным великая *терпеливость*, или так называемая у римлян *longanimitas*, чтоб сочинять долгое время и со всею исправностию важные *эпопеи*. Таков и наш российский *Марон*. Всякое же лирическое творение по надлежащему есть плод вспыльчивого и непродолжительного восторга, хотя и он сам по себе драгоценен.

М.М. Херасков

Когда он брал трубу священну
Петь *небо благодати* нам,
Склонившесь древле к Борисфену,
Или *российской* славы храм,
Воззванный из развалин слезных,

Какое вышне вдохновенье
Гремящий глас его живит?
Какое мужество и бденье
Толь важны жертвы пламенит
Владимиру и *Иоанну*!

Гул пения сквозь мрак, туманы
С брегов *Москвы* сперва летел,
Проник до *Рейна* и *Секваны,*
Над их струями восшумел
И там очаровал сердца.

Там *Гений* и его *Помпилий*
С *Эгерией* творцов в суде
Сияние красот открыли,
Подобно Северной звезде,
Гораздо ране *Флориана*[1].

---

[1] За несколько лет перед сим французский *Меркурий,* рецензируя Флорианова *Нуму,* приводит российского сочинителя также *Нумы*; не зная, по-видимому, ни имени, ни дарований сего последнего, а судя о нем только по немецкому переводу, хотя с некоторою сбивчивостью, говорит к чести его так: «В Германии выдана в свет одна эпическая поэма, как перевод с российского языка, под таким же заглавием, как и у г. Флориана, *Нума Помпилий.* Немецкий, либо иперборейский сочинитель, не имея навыка к таким изворотам, к каковым сродны некоторые из наших одноземных писателей, взял себе за правило следовать во всех отношениях характеру своего героя, занятому из беспристрастного Плутарха. Жаль, что г. Флориан не ведал сего источника; он мог бы почерпнуть из него многие идеи и присвоить их к изящному своему перу.

Сим он пленил и дебрь и камень;
Он многим бардам в грудь вложил
Небесный песнопенья пламень;
Он многих в мраке пробудил,
О лестный жребий! – и меня...

Я долго в юности безвестной
Еще во тьме себя не знал;
Мой спящий *Гений* в сфере тесной
Едва ль когда б из ней восстал;
Он век лежал бы в прахе скрытый.

Я слышу лиры звук могущий,
Дотоль непостижимый мне;
Я слышу глас, меня зовущий
К яснеющей вдали стране;
Тут дух мой реет из под крова...

Тогда *Марон* сей мне явился
Аланских песней божеством;
Никто, – лишь он с улыбкой тщился
Мне указать небесный холм;
Он сгиб души моей раскрыл.

Конечно, не легко переложить на наш язык главные черты сей иностранной поэмы, где Нума описывается восходящим в Капитолию и упраздняющим целеров; но г. Флориан умел бы извлечь некоторые места о весталках, равно как и о нимфе Эгерии. Сверх того, что сие последнее отношение имеет не простые и необыкновенные места нравственности, видна еще там отважность, возвышенность и глубокомыслие; там действующее лице говорит о Религии, как друг истины, а о Политике, как друг свободы. – Г. Флориан без сумнения принял бы себе в пример сие чужеземное произведение и переселил бы красоты оного во втором или – если б для сего недоставало времени – в третьем издании своего *Нумы*».

Так, – я сперва ему обязан,
Коль мой соотчич внемлет мне;
И чести знак мне им показан,
Коль не стыдит чело мое·
Священных ветвей от дубравы.

Где ж он? где *бард* среброчелый,
Где сладкогласный *Феба* жрец,
Что пел весною *Филомелой,*
В полудни жизни, как *мудрец,*
А в вечер гласом *лебединым*?

Где он? – не там ли, в сени мирной,
Где *Аполлон* вечерний спит? –
Он там; и прежний голос лирный
В последний раз уже звучит;
Но он и в сумрак дней пленяет.

Так *лебедь* бела воспевает,
Как смертный час свой ощутит,
Крыле сребристы опускает,
В последни на *Меандр* глядит,
Гнет выю, – млеет, – издыхает.

И он – пел кротко, но сердечно
И дань душевную исторг;
Потом уснет, – как *лебедь*, вечно;
О *Феб* мой! – приими весь долг, –
Что я имею, – песнь и слезы...

265. НАДПИСЬ НА КОНЧИНУ КАМЕР-ФРЕЙЛИНЫ ЕК... М... Ж...,
умершей на 18 году возраста

Вчера, как роза, я цвела во славе, в силе.
Сегодня час приспел; – и ввек увяла я.
Заутра мать с сестрой придут к моей могиле,
Поищут розы сей, но не найдут ея...
Восплачут; но вотще? – дух розы в горнем свете
И ждет иной зари, чтоб спеть в нетленном цвете.

266. НА КОНЧИНУ Г⟨ОСПО⟩ЖИ ЯК⟨ОВЛЕ⟩ВОЙ
от отцовского лица к детям

Вот, дети, гроб ея – гроб матери бесценной!
Крушитесь вы по ней! – я в скорби изнемог;
Источник слез моих среди тоски иссох;
Подруги больше нет, – нет сей главы почтенной! –
Ах, чада! – кто без ней ко груди вас прижмет?
Кто в хладном сиротстве у сердца вас согреет? –
Но *Тот,* – что врановых птенцов младых жалеет,
Хотя воззвал ее, – ток ваших слез отрет.

267. НА СМЕРТЬ Н.Н.

Я чувствую в душе урон подруги милой;
Пришлец! – и ты с душей, – и ты вздохни по ней!
А мой источник слез иссяк над сей могилой;
Она прешла, – с ней все... кроме любви моей...

268. ИМН ВЕНЕРЕ[1]

Многопрестольна, несравнена,
Зевеса дщерь, краса небес,
В улыбках нежных ухищренна,
Гордящась прелестьми очес!
К тебе, *Киприда*, припадаю;
Смягчи тоску, чем я страдаю!

Ты нежно иногда внимала
Мой томный вопль, мой страстный глас,
Как я твою власть ублажала;
Услышь меня еще сейчас!
Сойди, владычица блаженна,
В сиянье лепот облеченна!

Оставя кров отца священный,
Сходила прежде ты с небес;
Парящи горлицы[2] впряженны
Несли тебя среди колес;
Я зрела, как они слетали,
Крылами сизыми махали.

Ты, сшедши с легкой колесницы,
Птиц быстрых отлуча потом,
И в виде выспренней царицы
Вещала с ласковым челом:
«Почто еще ко мне взываешь?
Иль новый ропот повторяешь?

Какое рвенье беспокоит?
Могу ль мятеж сей укротить?

---

[1] Сей *имн* почитается мастерским произведением славной *греческой* стихотворицы *Сафы.* Он переложен с лучших переводов, особливо с *латынского* и *англинского.*

[2] На других языках здесь запряжены воробьи.

Кто сей тиран, кого достоит
Моим могуществом смирить?
Кто люту страсть в тебе умножил?
Скажи мне, *Сафо*! – кто встревожил?

Твоих ли недр он убегает?
Сам скоро за тобой пойдет;
Твои ль дары пренебрегает?
Сам жертвовать тебе начнет;
Он хладен. – Скоро возгорится,
Твоим веленьям покорится».

О нежна мать сердец преданных!
Еще молю, присущна будь!
Смягчи огней свирепость тайных!
Ослабь мою стесненну грудь
И дай мне все, чего дух жаждет,
Чем сердце пламенное страждет!

269. ПАРАФРАЗИС ПЕРВОЙ ПЕСНИ ЕВРЕЙСКОГО ПЕВЦА В ПОЛЬЗУ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
Соч. г. Попия

Блаженна та в женах супруга,
Что к светским глупостям нейдет,
Не клонит к грешным песням уха,
Не сетует, что цугу нет.

Супруг ей тщится угождати,
Употребляя день и ночь,
Чтобы любовь ей доказати,
Чужих прелестниц гонит прочь.

В ней самый сладкий плод созреет;
Супруг же паче процветет;
Сия жена во всем успеет,
Что ни творит, пока живет.

Не тако вероломки блудны,
Питающи желанья студны;
В блаженстве сем им части нет;
Ртуть мозг и кости их пожрет.

Но дщери чистые и скромны
Супругов добрых обретут;
Растленные же дряхлы, томны
В больнице с срамом согниют.

270. ПЕСНЯ С ФРАНЦ⟨УЗСКОГО⟩

In vino veritas ets.

В вине вся истина живее, –
Пословица твердит давно;
Чтоб чарка нам была милее,
Бог истину вложил в вино;
Сему закону покоряюсь;
И я за питуха сочтен;
Все мнят, что я вином пленяюсь;
Но нет, – я *истиной* пленен.

Все мнят, что сроду я охоты
К наукам скучным не имел
И, чтоб пожить мне без заботы,
Я ставлю прихотям предел;
Всяк думает и в уши трубит,
Увидевши меня в хмелю:
Он в рюмке лишь забаву любит;
Нет, братцы! – *истину* люблю.

Всяк думает, что пламень страстной
Подчас мое сердечко жжет
И что молодки только красной
Для счастья мне недостает;
Так; подпиваю и с молодкой;
И все шумят, что я хочу
Искать утехи с сей красоткой;
Эх, братцы! – *истины* ищу.

271. НАДПИСЬ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ПРОФЕССОРУ СКУЛЬПТУРЫ Ф⟨ЕДОТУ⟩ ИВ⟨АНОВИЧУ⟩ ШУБИНУ

Сын хладныя страны, где *Гении* восстали,
Где *Ломоносовы* из мрака возблистали, –
Из россов первый здесь резцом чудотворил
И видом дышущих утесов изумил;
Земные боги в них мир новый ощущали;
Рим и *Болония* в нем *Гения* венчали;
Екатерины дух, что нам открыл закон,
Воззрел, и под его рукою мрамор дышет,
Где, мнится, божество еще нам *Правду* пишет[1]. –
Но сей наш *Прометей*, сей наш *Пигмалион,*
Бездушных, диких скал прямой животворитель,
Природы друг и сын, искусством же *зиждитель*,

[1] Около половины прошлого века он был посылан из Академии художеств во *Францию,* откуда был посылан в *Рим*, где достоинством опытов своих обратил внимание многих знатоков, и между прочим *герцога Глочестерского* и *графа Орлова* в бытность их тамо, и сделан членом *Болонской* академии. По возврате в *Россию* он многие продолжал работы, удостоен милостей *Екатерины II*; наконец сию государыню представил из мрамора в виде законодательницы; сам же скончался в маие мес⟨яце⟩ сего года. – Он был единоземец *Ломоносова* и первый из россиян скульптор.

В ком покорителя она страшилась зреть,
А с смертию его боялась умереть, –
Сам спит под камнем сим, но к вечной славе зреет,
Доколь наставница – *Природа* не истлеет.

272. СТИХИ К НЕКОТОРОЙ ИЗЯЩНОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ В С⟨АНКТ⟩ П⟨ЕТЕР⟩БУРГЕ

Не сам ли *Цинтий* вечно-юный[1],
Оставя в тверди лирны струны,
На *семь певцов* себя делит
И стройным хором здесь гласит? –
Не он, – но сонм один отличный,
Семь Цинтиев в себе вместив,
Единство в целом сохранив
И сливши лик свой седьмеричный,
Гармонию небес разлил
И в дольнем храме *твердь* открыл.

273. ГОД К ВЕЧНОСТИ

Anni tacite labentis origo,
Dexter ades ducibus.
Ovid⟨ius⟩

Крылатою покрытый славой
При томном дней своих конце,
С осанкой доброй, величавой,
С улыбкой важной на лице,
Исполн корыстьми недра тощи,
Сын бездны, ветхий деньми год

[1] Известно, что *Цинтий,* Кинфей, или Аполлон, бог музыки и гармонии.

Свершает путь; час бьет полнощи;
Отверзся в тьме сафирный свод;
Посол туда, – с ним дщерь *Фемиды*.

Вокруг главы его сребристой
Перун излучистый шипит,
А за стопой его стремнистой
Огнистая черта бежит
И, мнится, скрывши огнь громовый,
Или растопит зимний хлад,
Иль таинства откроет новы,
Иль будущих деяний ряд, –
Таков последний путь его.

Сын смертный матери бессмертной
Созвездий крайний круг сечет,
Несет в устах отчет ей верной,
Сжав томны крылья, – предстает.
«Внемли, – вещал он в изумленьи, –
Вращаясь с вихрем горних тел,
Я быстрым оком все движеньи
Блестящи в дольнем мраке зрел,
Как зыби инея под солнцем.

Я зрел в природе разны дивы,
Дождивши камни зрел с небес,
Без треску молнии игривы. –
Но столь блистательных чудес,
Какими в дни мои последни
В полях вечерних *росс* блистал,
Ни я, ни мой предместник прежний
Досель нигде не созерцал. –
О мать! – Ты знаешь славу *россов*.

Мне мнится, – звезды, пробужденны
В пустынях небеси судьбой,
Иль вышни силы, окрыленны

Огней троякой быстротой,
Сошли на запад в буре бранной,
Иль сам нисшел Отец веков,
Колебляй молний сноп багряной, –
Сам Бог ста в сонмище богов
Судить их в буре? – се деянье!

Из праха до земного бога
Возникший быстро счастья сын,
Надмен могуществом, *Магога,*
Как хищник средь чужих долин,
Обвив перуны мглой коварства,
Блеснул; – и *дщерь паннонска* зрит
Ужасный их изгиб средь царства,
Немеет, – зыблется, – дрожит
И в сердце чувствует змию...

Но там, – ты зришь, – где обольщенна
Сия владык несчастна дщерь,
Поруганна и расхищенна,
Как трость пустынная теперь
Шатаяся на бреге *Истра*,
Клянет в тоске лишь вранов весть, –
Стопа возникла *россов* быстра,
Воздвигла в вихрях ярых месть;
И галл сгибается, – бледнеет.

Тогда – как средь миров окружных
Я вел коней звезды дневной
К полнощи от пределов южных,
Казалось, – счастье с сей звездой,
Воздев туда десницу мстящу
И к *росским* обратясь сынам,
Вернуло ось свою блестящу
От знойных поясов к снегам
Во гневе к тем, с усмешкой к сим.

Возможно ль? – новы *Бренны* в злости,
На вихрях счастья своего,
Стремились тьмами против горсти,
Как сильных пять на одного;
И *росс*, – и *росс* с бронею веры
Один против пяти летит! –
Где были дивны толь примеры?
Но истина сие твердит;
Я зрел ее при свете молний.

Я зрел, как без громов помчались
Верхи железных *росских* рощ,
Проникли, – лавром увенчались. –
Так в мразной тверди в мрачну нощь
Ряды полос огнистых яры,
Сих хладных молний без громов,
Ударом отразя удары,
Пронзают строй других столпов,
Багровым ливнем кроя снеги.

Пусть демон ярости б утроил
Молниеносных толщу стен;
Но *росс* шагнул, – поверг, расстроил,
Махнул, – и толща прах и тлен
Под дланию его булатной. –
Где *савроматски* их толпы?
Где их тристаты в силе ратной?
Легли, как бледные снопы;
Я мимо шел, – и се не бе!..

Нет, – токмо *Гении* едины
Должны с орлиным сердцем быть,
Чтоб в тьмах полеты ястребины
Одною горстью потребить;
Я вижу их, – один, пылая,
Как *Леонид*, возносит длань,

Другой, как *Фабий*, направляя
К вернейшей славе бурну брань,
Связует с мудростию доблесть.

Иной сквозь дробный дождь свинцовый
Мчась с смертью рядом, как *Алкид,*
Из рук врагов рукой багровой
Исторгнув знамя, с ним парит;
Другой, как в некоей пустыне
Зря четырех волков набег,
И, кажется, грозя судьбине,
Разит троих; – четвертый в бег...
И сам в строю без шума славы.

А тамо, – где дружина ратна,
Лишась главы своей в вождях,
Шаталась, – как лодья злосчастна,
Носима без кормы в волнах, –
Вдруг витязь некий крылатеет,
Как из-под трупов иль гробов,
Взывает к ней – и с нею реет
Сквозь весь железный лес врагов,
Где ждал его в конце венец.

Не так ли бурная стремнина
Бежит сквозь зыбкий нивы строй? –
Гордилась нива златовыйна
Перед волчцами высотой;
Но сын *Рифейских* гор бурливый,
Созвав бегущи тучи врозь,
Как вал, ворвался в чащу нивы,
Взревел, летел, промчался сквозь;
И нива – вся лежит за ним.

Что вижу? – брань сильнее пышет
Под западной звездой в огне; –
За ней ад серным прахом дышет;
На бледном скачет смерть коне. –

Но кто в сумраке пламенеет,
Как в шлеме огнен Херувим? –
Пред ним, мне мнится, рок немеет,
Согнулась люта смерть пред ним;
Над ним луч радужный разлит.

О Мать! – не меч, не бури бранны,
Но мир, щит царствам, тихий свет
Приносит Гений сей венчанный;
О равно-ангельный полет! –
Но чтобы пред лицем вселенной
Дуга сияла мирна впредь,
Се *Ангел россов* ополченной
Был должен в буре возгреметь!
Пред ним, – за ним – и в нем Бог сил.

В нем Бог; – с ним россы полубоги;
Где он, – там всяк из них *Алкид*;
Всяк сын *Зевеса* грозный, строгий;
Всяк гидру растерзать спешит.
Чего их грудь, их мышца медна
На поприщах не премогла?
Холмы ли ржут? иль воет бездна?
Иль шепчет в дебрях крамола?
Копья не склонят, вспять не пойдут.

Гроза путей, стихий бурливость,
Змии в дали и под стопой,
Союза томного строптивость,
Громов измена, с гладом бой –
Се гибельны скалы подводны! –
Но гнев стихий, *Магога* ков,
Геены клокот, бездны грозны
И василисков тайный лов –
Удержат ли спартанско рвенье?

Нет, – не в долине сладострастной
И не в пушистом недре нег,

Но в долах смерти, где ужасной
Под ухом стонет *Стикса* брег, –
Там дух сих *Леонидов* зреет;
Любовь толь крепкая, как смерть,
Под бурей их сердца лелеет
И через косу в звездну твердь
Уносит их на крыльях славы.

Ужасная судьба! – нет боле
Претекших рыцарей веков;
Суворовых нет в ратном поле;
Они сокрылись в вечный кров.
Но там, где АЛЕКСАНДР душею, –
Любовь из праха их зовет;
Пускай отцы легли с бронею!
Наследный·дух их не умрет;
Бренн горд; – но есть еще *Камиллы.*

О вечность, – зри, кто блеском ложным
И кто прямым здесь озарен!
К тебе несу с отчетом должным
Героев российских честь имен;
Те, кои с тучей громовою
Возникли из среды огня, –
Се вкупе здесь уже со мною!
О Мать! – прими их и меня!..
Но доблесть их – венчай, блюди в сынах!

А ты, преемник, в путь готовый!
Коль солнца пламенных коней
По безднам сквозь пары багровы
Над тусклой поведешь землей,
Да паче ось его блистает
В небесных радужных лучах,
Чем мещет бури, чем мерцает! –
Или в свинцовых вновь дождях
Ударит гром!.. о грозный *Гермес*!»

Так рек посол седый, согбенный
И в лоно Матери упал;
Дрогнули крылья утомленны,
И следом вихорь пророптал;
Преемник с ревностью крылатой,
Внимая старческий глагол,
Спешит надеть свой шлем пернатой
И вдруг с дождем сребристым в дол
Летит, – и круг времен гремит.

274–276. ОТРЫВКИ ИЗ САФЫ

1

Блажен, как жители небесны,
Тот, кто всегда с тобой сидит,
Всегда твой слышит глас прелестный,
Всегда усмешки милы зрит,
Улыбки ясным дням подобны!

Оне другого восхищают;
Но мне смертельны – рвут мой дух;
А как уста мои вещают:
Нейдет, еще нейдет твой друг;
Тогда едва дышу, немею;

Тогда язык мой цепенеет;
То в жилах тонкий огнь бежит;
То свет в очах моих тускнеет,
Иль над челом туман висит,
Иль в скуке шум глухой жужжит.

То пот холодный выступает,
То дрожь объемлет весь состав;
Бой жил себя позабывает;
Сухой травы бледнее став,
Я вяну, – млею, – обмираю...

2

Уже вечерняя звезда во тьме блистает
И прочих жителей к работам призывает;
Но мне, любезна мать, никак не можно прясть;
Лютейшая мое терзает сердце страсть.

3

Блистающих Плиад уводит
С собой сребристая луна;
Настал полночь; – час проходит;
А я – еще сижу одна...

277. ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ[1]

Еще крутится вихрь сребристой
И зимню вьюгу вновь зовет;
Он звал; – и вдруг росой зернистой
На злак проталины падет;
Се веет девственна весна!

Начав с пылинки светлокрылой
До полу-ангельских существ
Как бы по тьме ночной унылой
Среди естественных торжеств
Всяк смысл и сердце воспрядает.

Начав от ландышей душистых
До гордого царя лесов,
До *Несторов* седо-ветвистых
Дух жизни реет сквозь покров
В эфирных быстрых переливах.

---

[1] Сия песня ничто иное, как весенняя жертва для души мною почитаемой.

Все дышет вновь; – *Любовь* цветами
Живит зарю и роз листки;
За сими, мнится, мотыльками
Крылаты гонятся божки
Иль прыгают с мычащим стадом.

Чу! – там слышна в дубравной сени
Симфония – сердец язык!
Из птиц сильнейший в песнопеньи
Пернатый управляет лик
Среди берез сереброкорых.

Все дышет миром; – слава лета
Еще в млечном ростке лежит
Иль, в ризу молний не одета,
В гробах под инеями спит,
Хоть часто узы рвет и в весну.

Но зри, коль быстро жизнь дыханий
От грубой персти над тобой
Течет от пламенных созданий!
С какой усмешкою живой
Любовь связует цепь Природы!

Стихии ею примиренны,
Мне мнится, заключают бой;
Сыны времен – часы блаженны –
С венчанной розами главой
Текут плавней под сводом неба.

Без ней бы все себя забыло;
Без ней в составе естества
Все б пусто, все ничтожно было;
Без ней мы мертвы вещества;
С ней гении, пророки-боги...

Так, с ней и ты весной, в дни юны
Язык богов к себе призвал;

Эфир проникнул в лирны струны;
Ты песнь из сердца извлекал;
Ты пел – *о росский Монтегю*![1]

Я слышал звук красноречивый,
Когда ты пел *времен полет*,
Полтавский гром и меч счастливый;
Я зрю еще, как кисть дает
Германским гениям оттенки.

Весна прешла, – но летом зрится
В тебе *полдневный Аполлон;*
Аланска муза тем гордится,
Что, шед с тобою перед трон,
Умела сблизить лиру с скиптром.

Она в порфире, как денница,
Летит туда с престола день,
Где рыщет диких коз станица,
Где сокол прячется под тень,
Где долго был бы гроб талантам[2].

А ты, как Феб, – тех чад лелеешь,
Что дышут воздухом весны;
Как Феб, – умы негреты греешь
И гениев средь глубины
С улыбкой майской освещаешь.

Ах! – сей лишь песнью не пленишься,
Где нет весенней жизни той,

---

[1] Милорд *Монтегю* был покровитель англинских певцов и сам не меньше знаменитый певец; он много сочинял изящных стихов, и между прочим поэму о сражении *Боинском*. – Кажется, смело можно сделать некоторое сравнение между сим милордом и моим благодетелем.

[2] Известно, что ныне назначены университеты в отдаленнейших пределах Российской империи, как то в Тобольске и пр.

Которой ты в других дивишься...
Но будь, – будь *Монтегю ты мой!*
И я – тем буду, чем другие...

278. ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ СЕТУЮЩЕГО НА БЕРЕГАХ БУГА 1794 ГОДА

В черны тучи облеченна,
Осень хлад с собой несет
И, туманом покровенна,
Тяжкие часы влечет.

Я таким же тусклым мраком
На юдоли сей покрыт,
Вижу между бледным злаком
Смертный блеск косы сокрыт.

Мельпомена воспрещает
Мне в юдоли сей плясать;
Кинуть лиру заставляет,
Чтоб на флейте воздыхать.

Рок, о рок! – почто сурову
Рано желчь приносишь пить?
Рок не внемлет; – желчь готову
Поспешает в сердце влить.

Проклинаю день рожденья,
Как я первы слезы лил,
И, как видно, для мученья
Я в юдоль сию вступил.

Ни покрова, ни прохлады
Не сретаю я ни в чем,
Ни надежды, ни отрады,
Ни насущной силы днем.

Выду ль на берег? – тоскую,
Как тоскует *Буг* в волнах?
Бугу в буре я ревную;
Вою в горе при водах.

Выду ль в поле я с тоскою,
Чтоб размыкать скуку дней?
Зарастает подо мною
Чисто поле *полыньей*.

Воззову ль к *отцу веселий,*
Чтоб найти отраду в нем?
С ним лишь чувствия тупели;
Тьмился дар души совсем.

Горе мне! – ни луг зеленый,
Ни камнистый *Бугский* брег,
Ни *ли⟨д⟩ийский бог* червленый
Не дают прямых утех.

Все, в чем музы мне клялися,
Тигров всадник сей пресек. –
Тигров всадник! – удалися!
Удалися ты навек!

Но увы! – коль хмуря очи
Рок улыбкой не блеснет;
Пусть среди житейской ночи
Дух мой в вечну ночь пойдет!

279. ПЕСНЯ, ЛЮБОВНАЯ СВИРЕЛЬ[1]

О нежный глас свирели!
О глас любви моей,
Что в нежной хвалишь трели
Красу Лизетты дней!

Свирель! ты много льстила
Надеждою пустой;
Так пой неверность милой,
Мою же верность пой!

Любовь и пламя страстно
В очах ея блестит;
Я мнил, что огнь согласно
В ея душе горит.

Но в утро дней Лизетте
Забава токмо льстит;
Увы! она во цвете –
И может изменить.

Сей глас, в обманах гибкий,
Всего мне был милей;
Хоть речи и улыбки,
И все изменно в ней.

Но мной она владеет;
И я б желал, – увы!
Пусть нежность лишь имеет,
А меньше красоты!

---

[1] Сия песня переведена с французской известной песни под названием: *O ma tendre musette etc.* Мера почти та же соблюдена.

О нежный глас свирели,
Утешь печаль души,
Пой мне Лизетту в трели!
Надежду мне внуши!

Я зрю ее прекрасной,
Прекрасной всякой раз;
Виню свой рок несчастной,
Люблю же – всякой час.

280. ОТЪЕЗД ЛЮЦИНДЫ ИЗ УКРАИНЫ[1]

Тужите, слезные *дриады,*
В ночной тени густых лесов!
Тужите, томны *ореады,*
В уединении холмов!

Так, – вас *Люцинда* покидает;
Она всю власть отселе впредь
Над теньми вашими слагает
И все Природе отдает[2].

Ваш собеседник, гул, не станет
На глас *Люцинды* отвечать,
Простонет – и стонать престанет;
Он будет млеть, – а вы рыдать.

Пойдете ль вы в тоске глядеться
С брегов в стекло *Гипанских* вод?
Но вы не можете смотреться;
Слеза из глаз в кристалл падет.

---

[1] Сия печальная песня положена на музыку и играна на гитаре.

[2] Под именем *Люцинды* одна почтенная дама имела действительно на берегах *Буга* род небольшой мызы с садом, окруженным лесками.

Вот, – вот спешит она! – вздохните!
Спешит она с драгой семьей,
Ах! – может быть навек; простите
И сиротейте после ней!

Простите, душиньки лесные,
И оставайтесь без нее!
Она летит в места иные,
Где восприяла бытие;

Где кров – и лучша сень судьбины
С улыбкой ждет ея к себе.
Теки, *Люцинда*, из долины
К полярной царственной звезде!

Теки в страну свою родную,
Где в славе *Невский* ток живой
Ведет сквозь тень стражниц густую
Прекрасный берег за собой!

Пусть в тайне вождь и страж небесный
Тебя к брегам сим поведет!
Пусть он проложит путь прелестный
И нить пути и дней стрежет!

281. ПРИБЫТИЕ ЛЮЦИНДЫ

Снова, – снова торжествуют
Нимфы чисты *Финских* вод;
Снова скачут и связуют
Легкой дланью хоровод
В честь тебе, *Люцинда!*

Здесь с улыбкой ощущаешь
По тумане ясный свет;
Кровных, ближних обнимаешь,

Что тебя чрез столько лет
В круг свой ожидали.

Ты навек уже забудешь
Горестный, пустынный край,
А всечасно здесь зреть будешь
В дружнем круге милый рай
И блаженство жизни.

Разве неки тени ночи
На мгновение сойдут
На твои небесны очи
И унынье наведут,
Если вспомнишь *Бугский* брег;

Если вспомнишь ты в кручине
Гроб, где прах сыновний скрыт,
Гроб, стоящий в той пустыне,
Где до *утра* сын твой спит[1];
Тут слеза скатиться.

Но не сетуй! – цвет алеет
На унылых тех холмах,
Где сладчайший сон лелеет
В гробной люльке мирный прах;
Мир небесный праху!

[1] В самом деле сын ея, будучи около трех лет от роду, в том краю умер и с крайней горестию там погребен.

282. ПОЛЬСКОЙ[1]

1 хор:

Пой, мой дух блаженный,
Пой сей день бесценный!
Мой предмет драгой
Ныне друг с судьбой.

2 хор:

Мой предмет любезной
В радости бесслезной.

1 трио:

Не слеза здесь вместна,
Но усмешка лестна;
Здесь любовь и мир
Строит счастью пир.

2 трио:

Нежна роза вянет,
Коль роса не канет;
Вей с росой зефир!
Вей с любовью мир!

---

[1] Сей польской в Николаеве во время бала игран был в ⟨17⟩97 году на роговой музыке с певчими. Он по содержанию не важен, но замечателен по тому, что самая Люцинда, о коей выше сказано, сочиняла музыку, к которой мною применена после мера стихов сего содержания.

283. СЕЛИМ И ФАТЬМА. ДРЕВНЯЯ БЫЛЬ

Подражание *Маллетовой* английской балладе *Генрих и Эмма*[1]

Среди долины, окруженной
Байдарской каменной скалой,
В густой *бакше* уединенной[2]
Невинность крылась и покой;
Там матерь жизнь вела смиренну,
Котора лишь того ждала,
Чтоб, дщерь оставивши блаженну,
От мира с миром отошла.

Прелестна *Фатьма* удивляла,
Сама не знав, своим умом;
В *мурзах* знатнейших страсть вселяла;
В подругах ревность со стыдом;
Вдруг к ней младый *Селим* подходит, –
Пленяет, – льститься, – сам горит;
Лишь только нежный взор возводит;
Приемлет лавр, – но не тягчит.

Любезна *Фатьма* не краснеет
Толь чисто сердце получить;
Селим той мысли не имеет,
В чем целомудрие претит. –
Но ах! – отец сребролюбивой
Претит вступит *Селиму* в брак
С девицей бедной, несчастливой,
Богатство коей – ум и зрак.

---

[1] *Г. Лейер* превел английскую балладу на французский язык стихами, а *Руссо*, его друг, положил на музыку.

[2] *Бакша* – то же, что приятная садовая окрестность. Таковых прелестных окрестностей довольно почти по всему Таврическому полуострову, а наипаче в достойной примечания *Байдарской* долине.

Отеческой ужасной власти
Селим не мог против-стоять;
Не мог против-стоять и страсти;
Отходит, – но спешит опять,
Не к *Фатьме*, но в местах окрестных
Он учащает тот лужок,
Где *Фатьма* из очей прелестных
Пускала нежных слез поток.

Нередко при луне унылой
Внимала, как *Селим* клянет
Близ сада ночью рок постылой
Дотоле, как заря взойдет. –
В сей тяжкой и несносной доле –
Любить – и друг друга не зреть, –
Не видя он надежды боле,
От скорби начал в жизни млеть.

Селим в очах отца томимый
На ложе роковом лежит;
Старик, отчаяньем крушимый,
Хотел своей ошибке мстить,
Но поздно; «Небо, чтимо мною, –
Селим вопил, – меня зовет...
Дозволь еще узреться с тою,
В любви к которой меры нет!..»

К одру любезного предмета
Девица с трепетом идет
И, зря, – что гибнет прелесть цвета, –
Без чувств на одр его падет. –
Их разлучают; он страшиться;
Очами ищет *Фатьму* вкруг
И как бы вечно вверить тщится
В ея объятия свой дух.

По сем смятении жестоком
Она приходит в смысл опять,

Сидит в молчании глубоком;
Однак – надежды не видать;
Она обратный путь приемлет
При грустных сумерек часах,
В окрестностях *мечети* внемлет
Тоскливый клик *сыча* в тенях.

Влечась сквозь сень раинной рощи[1],
Мнит слышать по стезе своей
Гонящусь тень во мраке нощи;
«Прости, прости!..» – вещает ей
Глас умирающий призрака,
Который, мнится, прицеплен
К стопам ея во время мрака
И, кажется, одушевлен.

Вдруг с ужасом она внимает
На *минарете*[2] врана глас,
Что сердцу *Фатьмы* возвещает
Любезного последний час. –
Тогда – в шалаш свой поспешает,
Стучится, побледневши, в дверь;
«Свершилось, мать моя! – вещает. –
С возлюбленным... и мной теперь!..»

Лишь только к прагу приступила,
Где тщетно мать зовет ея;
Упала к прагу, – взор закрыла,
Как жертва страсти своея. –

[1] Известно, что это род высоких осокоревых деревьев, которые представляют вместе и величественный и несколько печальный вид. Некоторые путешественники, смотря на них издали, ошибкою почли их за кипарисы.

[2] *Минарет*, род турецкой или татарской колокольни, или сзывной башни.

Сии любовники толь страстны
Обнявшись к *гуриям*[3] летят;
Гроб увенчал их жар несчастный;
Селим и *Фатьма* – вместе спят.

284. К ПРАХУ ИВ⟨АНА⟩ П. ЯНЖУЛА М⟨ИХАЙЛОВСКО⟩ГО

Быв добр, – быв тих, – быв мил душей
И быв достоин многих дней,
Он рано лег, сражен косою[4];
Ах! – в полдни крылась ночь; мраз цвет убил весною;
Но *Сый* весною дней зрел жатву добрых дел,
Воззвал с среды пути; – и *Янжул* отлетел.

285. ПОХОДНЫЙ БОЙ

Ступайте, ратники полночны!
Ступайте! – громы вас зовут.
Пред вами три вождя всемочны,
Как огненны столпы, идут.

---

[3] *Магометанский* рай содержит красавиц, называемых *гуриями.* Думать надобно, что сие слово происходит от греческого kore, *девица.* Есть и немецкое слово, похожее на сие имя; но оно значит непотребную девку.

[4] Сей любезной молодой человек по знанию своему в *фармацевтике,* а особливо по добрым качествам сердца своего действительно заслуживал лучшую участь и долговременнейшую жизнь. Кончина его последовала от нервозной лихорадки сего года в апреле на самой Пасхе. Памятник ему поставлен на кладбище в большой *Охте.*

Кто против мышцы их восстанет?
Рекут скале ли: устранись!
Скала, как быстра лань, воспрянет;
Рекут воде ль: оземленись!
И бурна бездна мостом будет,
Безмолвна бездна зыбь забудет.

Пред вами *Веры* щит творящий;
Природа ль непокорна ей?
Пред вами дух *Надежды* бдящий;
Венец ли не блеснет зарей?
Пред вами дух *Любви* пернатый;
Отечества ль смутится взор?
За вами – те ж вожди крылаты;
Летят, – и легионы гор
Живят и движут за собою;
Смеются горы треску молний.

Алански высоты маститы,
Утесы *Финских* берегов,
Кавказы древни сановиты,
Рифейских страшный ряд хребтов –
Се позади оплот камнистой,
По вашим движимый следам!
Бог дышет в их груди кремнистой;
Се новые возникли там
Пожарский с Мининым из мрака!
Перун и злато предков с ними.

Враг тот же, росские герои!
Но в больших гордости мечтах.
Давно ль он спорил с вами, вои,
Во славе первенства в полях?
Тогда как ваш клеврет безратный,
Не могши с вами рядом стать,
Пред ним склонил перуны хладны,

Вступил он с вами в пылку рать.
Что ж? враг при силах седьмеричных
Не мог быть равен с вами в духе.

Уже Титан сей подавляет
Стенящий юг одной рукой,
Другую с факлом протягает
На полнощь, вызывая в бой;
Сквозь яры взоры выникает
Глубока мысль о общем зле;
Несытость челюсть расширяет;
Тьмы ковов в дерзостном челе;
Развалины – улыбок пища;
Опустошенье – след его.

Его станицы тьмой полчатся
В вечерних зыблемых полях;
Поля вечерние дымятся,
Крутя умершей славы прах;
Там вихри огненны высоко, –
Высоко вьются над страной;
Там скорбь, отчаянье жестоко
О мести молит вас одной. –
Туда, российски броненосцы!
Туда! – да будет там им гроб!..

Не в чуждой области, как прежде,
Где всяк из вас сретал их шесть,
Скудел и в снеди и в одежде,
И всяк соблюл геройства честь;
Но в рубежах своих полчитесь
Не чуждых кровы подкрепить,
А за себя уже стремитесь
Столетню славу подтвердить;
Ваш вождь не чуждый – соплеменный,
Под бранным шлемом поседевший...

Ужели *Святославов* древних,
Камиллов, Друзов российских кровь[1]
Не протекает в жилах верных,
И не возжет их духа вновь?
Ужли тех умер дух бессмертный,
Пред кем *Зевеса* ⟨*сын*⟩ бледнел[2],
Дрожал *Абдуллов* сын[3] зловерный?
Нет, *россы*! Он в вас жив и цел;
Премена лишь одних имен,
А *дух* превыше всех времен.

Надменность *галла*! – Ратоборцы!
Кто *Бренн* был? кто *Надир* такой?
Как бури, мчатся мироборцы:
Хрипели тьмы под их пятой;
Кровавоструйны *Эриданы*[4]
Клубили жертвы их в волнах;
Дрожали *Рима* истуканы;
Моголы низвергались в прах;
Но где бичи? – среди трофеев
Нашли себе ужасный гроб.

Быть сильну слабостью противных,
Высоку низостью иных,
Ужасну робостью унывных,
Велику малостью других,
Обезоружить облеченных
В кольчугу *самодвигов* их,

---

[1] *Пожарского* и *Трубецкого* можно назвать *Камиллами;* а *Суворова* Друзом, проименованным *Германиком* по многим отношениям.

[2] Читатель, под сим именем разумея Александра Македонского, будет также разуметь подражателя его Карла XII.

[3] Магомет, а под именем его и все султаны.

[4] Так названы несобственно реки: *По* в *Италии* и *Гангес* в *Индии*.

Наемных, – златом обольщенных, –
Се ложный подвиг татей сих!
Се хищных торжество ничтожно,
Что губит имя лишь деянья!

Но кто воинствен в поле прямо?
В ком столь незыблемы столпы?
Кто храбр без татьских козней тамо?
Чья грудь, чьи мышцы, чьи стопы
Считают бунт стихий забавой?
По сим чертам единых вас
Вселенна признает со славой.
Един во всей вселенной глас:
«Ужасен страх; но страх вас ниже;
Ужасна смерть; вы смерти выше».

Перуны на перуны быстры,
Удар стремнистый на удар,
Изгиб на их изгиб волнистый:
Се лишь обычный спора жар!
Но с мудростью решимость, ревность,
С единством доблесть, дух живой,
С любовью выше смерти верность, –
Се на врагов оплот прямой!
А в сем вы, россы, несравненны
С народами во всей вселенной.

Сей дух, дух твердости, дух веры,
Дух *росса*, дух царя, Бог сам
Врагу ль попустит выше меры,
Чтобы столетней славы храм,
Чтобы основы благ различных,
Чтоб стены наших олтарей
Дымилися от молний хищных?
Един ли век в черте своей
Возникшу славу ограничит?
Не выше ль всех она времен?

Нет! вижу в ваших взорах пламя,
В сердцах кипяще рвенье, месть;
В челе решимость, правды знамя;
Вы грудью оградите честь
Престола, олтарей священных,
Судьбину дев, сынов и жен
И гробы праотцев блаженных!
Успех над тем ваш несомнен,
Кто лиц одних похитил царства,
Но царства не стяжал сердец...

Пусть он опустошеньем блещет!
Пусть он, как тигр, на наш предел
Неистовые взоры мещет!
Из облак тигра зрит орел...
Перуны адские крылаты,
Змеяся окрест вас, сверкнут;
Снопы их стрел спадут зубчаты;
Но духа в вас не потрясут;
Грудь ваша – есть отвод громовый,
А грудь врага – цель ваших громов.

Ужасна гидра седьмиглава!
Страшилище из бездн ползет;
Крутится выя величава;
Смерть в каждом зеве; кто дерзнет?
Идет, – идет *сын Диев* смело;
В очах надежды огнь горит;
В деснице древо устарело;
Он гидру зрит; разит, крушит;
Еще главы растут на ней;
Дробит последню... гидра пала.

Какая слава! Ясно слышу
В веках ея стократный звук;
Какие там венцы, я вижу,
Блистают, ваших ждут лишь рук?

Никто сей *гидры* многоглавой
Не смел, не силен был сразить;
Но вас венец сей ждет со славой;
В вас всяк *Алкид*, – готов отмстить;
И змий изрыгнет с ядом жизнь,
И будет снедью хищным птицам.

О ратники великодушны!
Ступайте! слышите ли гром?
За вами новые послушны
Оплоты с пламенным челом;
Пред вами огнен столп в пустыне;
В нем *Гений* ваш, Бог сил идет.
Весь мир на вас взирает ныне;
Весь мир от вас судьбины ждет;
Весь мир сомстит вам, соревнует,
Соратует, – соторжествует...

286. К ПАТРИОТАМ ВЕЗДЕ И ВО ВСЯКОМ.
На случай маниф⟨еста⟩ от 20 ноября сего года

Проснитесь, Гении России!
Проснитесь, праотцы, в сынах!
Воздвигните священны выи
Из гроба в поздных сих веках!

Се АЛЕКСАНДР вас вызывает
Любови гласом из гробов!
Он вас, – он вас узреть желает
В душах отечества сынов!

Почто небесный огнь *Алкея*
Теперь певца не оживит,
Или *спартанский* дух *Тиртея*? –
Певец подвигнул бы гранит...

Что зрю? – *Пожарские* маститы
И с ними *Минины* встают;
Черты в челе их сановиты;
Их глас священ; се вопиют!

«Потомки! неужли век паки
Сарматов и Орды Златой?
Они ль змеятся вновь сквозь мраки?
Мужайтесь в ревности прямой!

Когда нас окружали бездны,
Не ужас кости леденил;
Но скорбь любви, – рок общий слезный,
Геройства жар скалы живил.

Тогда сокровищ холм сребристый,
Отцев щиты сквозь пыль и прах,
Герои, как рои огнисты,
Из пепла выникли в бронях.

Ваш век блистает ими боле;
Любовь с величеством сидит
На торжествующем престоле;
Она полсвета ополчит.

Не холм сребра, – *Рифей* услужный
Перед ея стопой падут;
Не рой, – но легионы дружны
С востока и с полден пойдут.

Что медлить! – та же в вас струится
Великих предков славна кровь;
Дух тот же самый пламенится;
В сердцах сыновних та ж любовь.

Попустит ли сей дух державы,
Чтоб *Мать* склонясь толиких *стран*
На урну вековыя славы,
Слезой омыла горесть ран?

Или, – о рыцари маститы! –
Чтоб слезный сын и бледна дочь,
Объемля гроб ваш, мхом покрытый,
Вздыхала при луне всю ночь?..

Или, – чтоб ваша обреченна
Подруга нежная сердец, –
О юны вои, – быв плененна,
Позором стала наконец?

Нет, – ваша грудь – щит медный, россы! –
Всемощна Вера и любовь
Речет: *подвигнитесь, колоссы!*
И галл пигмеем будет вновь...»

Так вопияли тени славны
И скрылись, – где ж? – в сердца прешли. –
Восстаньте, *Минины* воззванны!
Дни вашей славы рассвели...

287. РОССЫ В БУРЕ, ИЛИ ГРОЗНАЯ НОЧЬ НА ЯПОНСКИХ ВОДАХ

Illi robur et aes triplex
Circa pectus erat, qui...
Nec timuit praecipitem Africum...
Nec tristes Hyades, nec rabiem Noti, etc.

Horat⟨ius⟩

Слонова кость и медь тройная
Отважну крыла грудь того,
Который, в область волн дерзая,
Ни *Африки* порывных бурь,
Ни гибельных *гиад* плачевных,
Ни ярых ветров полудневных
Не устрашался среди бездны.

Гораций⟨ий⟩

К РОССИЙСКИМ МОРЕХОДЦАМ

Вам, соревнователи *Колумбов*, *Гам*, *Дреков*, *Ансонов*, *Куков* и *Перузов*, – вам, которые, может быть, совершили обширнейший круг водошествия, нежели они, которые, начав от *Бельта* до *Камчатских* вод, обтекли целую вселенную и едва под самым созвездием *Арктура* не сблизили конец плавания с началом оного, – вам, российские мореходцы, которые проникли неведомые дотоле воды, проливы и острова, победили ужасы стихий, презрели все угрозы *Эола* и *Нептуна* с неслыханною отвагою к пользе и славе Отечества, – вам посвящаю сию слабую дань воображения сердца. – Знаю, что вы достойны *Мантуанской* музы, воспевавшей некогда многотрудное плавание *Троянского* князя – благочестивого *Энея*; но надеюсь обресть между вами любителей песнотворства, котóрые не откажутся внять собственной славе из немтующих уст *Финского* певца.

Последний луч небес вечерних,
Упадши в зыбь *Японских* вод,
Брегов коснулся дальних, черных
И вспять скользнул по гребням волн;
Скользнул – и вдруг угас до утра,
Как молний скоро-вратный луч.

Из бездн над бездной ночь нависла;
Туман осенний в клубы свился;
Все тихо по местам окрестным. –
Но там – как тать – в дали сумрачной
С страны мерцающей восточной
Гроза подъемлет дикий лик...
Вдруг бури грозный гул завыл
Из дальних сводов царства вод;
Се знак сраженья бездны с небом!

Бледнеют, мнится, сами боги;
Их самый вестник крылоногий

Оставя должность, крылья сжал
И скрыл чело свое во тьме[1].
Ужли то знак его посольства
Поведавший *Зевеса* волю? –
Безмолвный ужас все объемлет;
Един отец богов не дремлет;
На бурях, как на конях, едет;
Главой блестящей разделяет
Темно-холмисты сонмы туч.

Все чада дрогнули Природы,
И горня твердь, и дольни воды.
Косматые снижаясь тучи,
Бегут над ропщущей пучиной,
Подобно черным воям Ада. –
Какое зрелище чудесно?
Валы не гнут своих гребней

---

[1] Прошлого 1804 года 19 сентября, когда наши мореходцы, объехав свет, отправлялись из Петропавловской гавани в *Японию* и уже за два дни назад, т.е. 16 числа, видели берега оной, и от них направили путь к *Диеменсову* проливу, – барометр на корабле *Надежде* предвещал худую погоду; почему они, спустив браспреи, брамстенги, зарифили марсели. Ветр усиливался; они, закрепив все паруса, осталися под штормовыми стакселями; но шкоты и лееры их, не вытерпев, сильно изорваны были; тогда уже наши плаватели нашлися только под маленьким бизанью. Опасность отчасу более. – В 9 часов вечера сей самый барометр так упал, что чрез три часа совсем не видно было ртути. По сей причине полагают, что барометр может прибавлен быть еще на один дюйм. Таковое сокрытие ртути предвещало необычайную перемену воздуха. Наши мореходцы подлинно претерпели тогда столь ужасную бурю, что прежде их едва ли самые славнейшие мореплаватели – *Кук*, несчастный *Перуз* и прочие – выдерживали подобную. Ночь, тучи, гроза и сильные противные ветры составляли ужасы ея. Говорят, что тогда брызги волн, превратяся в росу или в некий густой туман, наполняли всю атмосферу. – *Известие очевидца г-на Ратм⟨анова⟩, вытерпевшего с прочими сию необычайную бурю.*

Обыкновенными хребтами,
Но, в мгле воздушной разлетясь
И в пыль туманну превратясь,
Высоко реют над пучиной.
Паряща влага обнимает
Весь тьмой исполненный обзор. –
Иль твердь влечет упорну бездну,
Иль бездна, мнится, твердь влечет,
Иль обе зрятся вдруг слиянны.
Се новый Хаос восстает!

Там – в горних – рдеющая длань
Громодержителя во мраке
Сечет густые облака;
Здесь – долу – сильна длань *Ифеста*
Среди ночныя темноты
Снопы огнисты низвергает
Из полостей *Камчатских* сопок,
Из чрева дымных *Ксимских* гор.[1]

Толь грозна ночь была в востоке,
Когда российские *Колумбы*
Боролись с бурей в море чуждом;
Когда Страшилище воздушно
Исторгшись из Восточных гор
Смутило царство тихой бездны[2],

[1] В то же время мореходцы, держась оконечности острова *Ксимо*, прошли к нему неизвестным дотоле проливом и там видели стога *вулканических* гор, дымившихся и изрыгавших пламя.

[2] *Восточное* море называется также и *Тихим*. – Наши мореходцы по приезде к берегам *Японии* узнали, что во время сей самой бури происходило там сильное землетрясение, от коего разрушилось великое число домов и погибло множество жителей. *Голландские* корабли, стоявшие у *Дезило* в прекрасной *Нангасакской* гавани, сорваны с трех якорей и брошены на подветренный берег. Жители не запомнят столь ужасной перемены в природе и дивятся, каким образом *русские* плаватели могли вытерпеть оную и уцелеть.

Подвигло *Нангасакски* воды
И там, схватив кормы, как хищник,
Ударило их адской дланью;
Суда легли на брег разбиты;
Когда с ним вкупе трус подземный
Потряс *Японские* брега,
Поставил корнем вверх древа,
Низверг и зданья, и людей,
И трепетный *Нипон* шатнул;
Толь грозна ночь была в Востоке!

Вы, что вселенну обтекали,
Что в неизвестные страны
И в пагубны пути дерзали,
Бесстрашны *росские* сыны!
Ужели вы средь чуждых вод,
Где грозная эфирна сила
Тифонов буйных пробудила,
Ужели вы должны погибнуть
От дому матери далече?
Иль вы стремитеся в отваге
В *Фетидины* пещеры смерти
По гибельным стезям *Перуза*?[1]
Ах! там ли гроб ваш должен быть,
Где вы хотели сорудить
Бессмертны Памятники Славы?
Как? – разве кротка *Урания*,

[1] Заверить можно, что первые *россияне* удачно выдержали столь ужасный порыв двух стихий, в коем участвовали, конечно, и другие две. Поныне удивляются, что *Куком* вытерплен сильный шторм около *Новой Зеландии*; но в записках его видно, что барометр не был ниже двух последних делений; а мы три часа почти совсем не видали его. – Не думаю, что славнейший из мореходцев *Ла Перуз* выдержал шторм, подобный претерпенному нами; но если выдерживал, то, как говорят, вскоре и погиб со всем своим экипажем. – *Слова того же г-на Ратм⟨анова⟩.*

Что спутницею вам была, –
И *Маин* сын, торговли бог,
Что к вашей цели был вождем,
Ведут к могилам водостланым!..

Се старший бездны сын валит! –
Я зрю хребет его подъятый;
Валы косматы покрывают
Гребнистое чело его;
Свинцовые стопы шумят,
Как Этны внутрь своих подошв;
Разложисты и цепки когти
Плеснут, – и в плеске реет смерть;
Гортань, как алчна пропасть, разом
Сто диких рыков отрыгает. –
Се зрю его перед собою!
Он выю сильну напрягает;
Он быстро скачет чрез корабль;
Он край единый отторгает
И сим же ивернем огромным
Другие члены отрывает;
Се зрю его на корабле!
Он вдруг вторгается туда,
Куда гостеприимна длань
Совсем его не приглашала
И где покой един назначен;
Он, все презрев, – покой крушит,
Все рвет, иль давит, иль дробит.[1]

[1] В то время ветер дул с Оста в самой силе; волны, ударяясь о корабль, часто перескакивали через оной; одним валом сорвало с ростар лисель с его рейками, бросило на подветренной шкафут в сетку, которую, даже с железными секторами выломив, унесло в море; также прикрепленной в железных цапах на руслинях запасной рей был оторван. – Другой жесточайший вал, ударив в подветренную боковую галлерею и выломив как ее самую, так и часть

Неустрашимые! – я вижу
Зияющу под вами бездну;
Кто вас спасет, великосерды!
Се гроб отверст! – Ад в нем клокочет;
Се с вами я держусь за вервь!
Но вал бурливый рвет его;
Се с вами я объемлю щоглу!
Но щогла, – слышите ль? – трещит.
Се вихри хищные, схвативши
Надуты ветрила упруги,
С стремнистой рыстью, с резким свистом
Рвут, – реют, – треплют и терзают,
И расторгают их на полы. –
Раздранны вретища, повиснув,
Полощутся на вервях всуе. –
Иль не страшитесь вы сего?
Иль вы надеетесь еще!
Вы равнодушны меж гробами;
Вы лишь дивитесь меж трудами
Порывам дерзким сына бездны;
Обозреваете спокойно
Нелепое чело его
И пасть клокочущу его. –
Вас делит лишь от смерти дска;
Но смерть от духа далека;
Небесны силы вас стрегут.

гака-борта, ворвался в капитанскую каюту, куда и нахлынуло воды выше колена. Сей наглый гость все, что ни было привязано, или оторвал, или раздавил. Два бота, прикрепленные на бизань-руслинях, раздроблены были от него; подветренной борт вырван из своих заклепов; вахтенный офицер брошен от безань и грот-мачты; но, к счастию, он успел ухватиться за леер. – *Свидетельство того же очевидца.*

Сыны *Нептуна*, мнится, сами,
Не могши вас преодолеть,
Сложив вину на бога ветров,
С унылым воем признаются,
Что никогда они не смели
Сынам Великого владыки,
Владыки мощной Полунощи,
Изрыть в морских долинах гроба
Иль, нагло их суда похитив,
Ударить о брега камнисты;
Что если царство вод смятенно
Не в силах их принять со дружбой;
То не они виновны в том,
Но область бурных их соседей,
Восточных стропотных дыханий,
Которые; наруша мир,
Вломились в влажны их долины
И возмутили чад лазорных
Против полуночных пловцев.

Неустрашимые! – я вижу;
Вас чит и небо, чтит и бездна;
Вас чтит судьба и сами боги.
В сем вы превыше *Ла Перузов*;
Возможно ль было духу пасть?[1]
Не слышите ли? – полночь бьет;
Се из-за гор *Рифейских* дышет
Вечерний равносильный дух!
Он послан в помощь вам богами.
Какая чудная премена?
Восточны ветры вспять бегут,
И область вод – в своих пределах.

[1] Наши мореходцы действительно сохранили тогда присутствие духа, я соболезновал только о том, что ветр дул прямо на берег.

Тогда богов крылатый вестник,
Из тьмы безвестной выникая,
Чело сребристо показует[2],
Подъемлет бодрые крыле,
И глас *Зевеса* извещает:

«О вы, страшилища воздушны,
Смутители небес и моря!
И ты, несытый изверг бездны,
Глотающий корысти суши!
Умокните и мне внемлите!
Так Бог богов глаголет вам:
Доколь дерзаете теснить
Сынов Великого монарха?
Доколь им будете претить
В путях всеобщей славы, пользы?
Чрез них я то хочу открыть,
Что кроется в пределах мира
Или в святилищах природы;
Чрез них хощу я возвеличить
Моей *Урании* полет;
Хощу соединить торговлей
Пределы тихих вод восточных
С брегами бурных бездн полночных.
Вы ль, – вы ль дерзаете отъять
Мою, – ея – и россов славу?
Познайте! – слава АЛЕКСАНДРА,
Как добродетель, – мне любезна, –
Иль тем еще вы недовольны,
Что вы *Виллогбия* внезапу

[2] Около полуночи к общей радости поднялся противный ветр и задул прямо с берега; а в то время и барометр опять показался; ртуть, которой столько времени было не видать, час от часу возвышаясь, предвещала хорошую погоду.

Сковали льдистою рукой[3],
Что *Куку* смертной бурей мстили
И что *Перуза* поглотили? –
Иль тем еще вы недовольны,
Что ныне корабли *Батавски*
Отторгнувши насильно с котв
На брег повергли, поразили? –
Что вижу я? – все боги низши
В движеньи, ропоте, смятеньи! –
Они восстали с вами вкупе. –
Эола видя в лютой брани
И вод царя в мятежном буйстве,
Ифеста ль вижу также в пепле,
Кующа молнии зубчаты,
И с ним *циклопов* средь горнил,
Подъемлющих тяжелы млаты! –
Не попущу сей крамоле...

Тогда – как ратны братья *россов*
На Западных полях карают
Тебе подобна, – изверг бездны, –
Сии среди Восточных вод,
Толь смело препираясь с вами,
Воистину премогут вас;
Но вы не победите их;
Клянуся вечностью и *Стиксом*,
Не победите духа их.
Я сотворю их грудь подобной

---

[3] Кавалер *Гуг Виллогби* посылан был от королевы *Елизаветы* с первым кораблем для открытия прохода к Северо-Востоку; но он при вступлении в царство вечных льдов в самые минуты трудной службы своей замерз, или, лучше, оледенел со всем экипажем. Сие приключение столько же относится к ужасной силе стихий, сколько несчастная судьба *Перуза* и самое происшествие, выдержанное нашими мореплавателями.

Гранитному хребту *Рифея,*
Которая средь бурь ужасных
Усильям вашим посмеется.

О необузданные чада!
Противясь рвенью АЛЕКСАНДРА,
Противитесь мне – сыну *Хрона.*
Я научу вас покоряться
Отцу богов – и духу россов.
Бегите, буйные, бегите
С студом в свои вертепы мрачны!».

Так вестник именем *Зевеса*
Изрек к страшилищам морей.
Внезапу волны обратились,
И ветры дружески за ними. –
Денница тиха рассмеялась
Сквозь слезы радости жемчужны
И рдяный пурпур покатила
По утренним струям пучины;
Морские чуды заныряли;
Дельфины из-под зыбких кровов
До половины выпрядали;
Лишь их кипящий след сребреет.
Открылись злачные брега,
Осенней роскошью гордящись;
Увы! – открылися на них
Стези пространны грозных трусов
И новыя могилы лепот...

Коль чудно действие стихий?
Там, где маститый, зрелый год
С поникшею главою млеет,
Где осень на брегах желтеет,
Бездушна леторасль бледнеет,
Которой жизнь едва висит

На слабой жилке, ветви гибкой, –
Малейше воздуха движенье,
Малейша капелька дождя
Срывает с ветви дряхлый лист;
А здесь, – где горные хребты,
Веков рукою воздоенны,
Главой касались облаков
Или где здания фарфорны,
Трудом столетий сооруженны,
Смеялись челюстям времен, –
Сильнейшие перунов тверди,
Сильнейши преисподни громы
Могли шатнуть их основанья,
Потрясть кремнисты их сердца,
Изрыть их чела оснеженны,
Столетни истребить труды
И низло́жить твердыни горды. –
Но *росс* под падающим небом,
На воздымающейся бездне,
Средь вод, спирающихся с твердью,
Среди развалин влажных моря,
Среди сражения стихий,
При буре, естество мятущей,
Подобно как бы при легчайшем
Движеньи воздуха тончайшем,
Неколебим и невредим;
Кто ж вождь его средь бурь! – Бог сил;
И *росс* – в пристанище ступил.

288. НОВОЕ ОДОБРЕНИЕ КОММЕРЦИИ В ТАВРИИ 1806 ГОДА

Природы дивный сын, о *Чатырдаг*[1] священной!
С тех пор, как ты подъял чело из бездны темной,
У стоп своих ты рой богов и смертных зрел,
Зрел подвиг *Гермеса*[2] и в славе поседел;
Но зрел ли ты когда, чтоб вестник сей чудесной
На лучших крылиях летал по поднебесной?

Меж *тавров, кимвров, грек* и *Генуи* детей,
Или воинственных потомков *Чингисхана*,
Кто был хранитель-дух торговли чад Явана?[3]
Констанциев ли сын[4], *Магмет* или *Гирей*?
Они ль обилья рог в Тавриде истощали?
Они ли благ струи с престолов изливали?

Нет, исполин седый! нет, дивный столб небес!
Ты ныне только зришь событность сих чудес;
Ты ныне выше стал, – стал великан плечистый;
Отдай же с плеч своих цветы и дуб тенистый,
Чтоб Белому Царю венец из них соплесть,
Который *Гермеса* с тобой возвысил честь.

А слава, – что благих чтет Гениев издавна,
Увидев, что рука назначила державна
В парении ему счастливейший успех, –
Да возлетит в громах на твой холмистый верх
И возгремит оттоль в концы земли трубою,
Коль АЛЕКСАНДР велик щедротою прямою.

---

[1] Известная в *Крыму* высочайшая гора.

[2] *Гермес*, или *Меркурий*, бог-покровитель торговли.

[3] Чада *Явана* – греки, происходят от сего патриарха, сына Ноева; а страна *Иония* обязана ему своим именем.

[4] Константин Великий и все его преемники малое обращали внимание на Черноморскую торговлю.

289. ГЛАС ОСКОРБЛЕННОЙ ДРУЖБЫ ПО СМЕРТИ NN К БЛАГОРОДНОМУ АЛКИДУ N.

Тебе, любимец, друг *Паллады*,
Глас музы незнаком моей;
Но ей знакома святость правды,
Живущая в душе твоей;
Знаком ей дух, богам угодный,
В делах и чувствах благородный,
Зарей сияющий в тебе.

Я, как *Сократ Алкивиада*,
Не так как *Тимон*, муж лихой,
Люблю тебя, друзей отрада,
Друзей и истины герой. –
Язона сродник ты достойный,
Но больше сердцем однокровный,
Язона ты знавал; – мир праху!

Вот гроб его уединенный
В священной тишине стоит,
Сей гроб, где купол осененный
Из-за дерев густых блестит;
Сей гроб, где дружба огорченна
Досель крушится, возмущенна,
И тень благословляя – плачет!

Что песнь моя? – ты знаешь боле,
Кто был *Язон*, – как сердцем мил;
Имев друзей, вторый был в доле,
Не так как *Дионисий* был,
Но так как брат и друг усердный. –
Ах! – умер брат и друг сей верный;
И дружба – все с ним погребла.

Ты помнишь, как по нем вздыхали
Иные, скрыв личиной взор;
Да, – подлинно они рыдали;
Потом, – о подлость, злость, позор! –
Из рдяных глаз их адска сила
Исторгла слезы крокодила;
И слезы дружбу уязвили!

Тогда злословье, зависть с мщеньем,
Принявши гнусный образ змей
В изгибах разных и с шипеньем
Излили яд в его друзей. –
Тут дружба не могла злосчастна
Спастись от жала их опасна;
Звала *Язона* тень – вотще.

Вотще невинность защищалась
Эгидом скромности своей;
Толпа завистных ополчалась
Бросая стрелы с ядом к ней.
Ах, мой Герой! ты сам свидетель,
Как пострадала добродетель, –
Гонимая в изрыту бездну.

Ты зрел искусство хитрой злобы;
Ты зрел в ея усмешках цвет;
Но ад горит среди утробы,
В душе геена бурна ржет. –
Ея титаны, чада гнусны,
В ударах мщения искусны:
Куют перун, но не гремят.

В тот даже час, как зеленеет
С оливой мирт на их главе,
Под миртом кипарис темнеет;
В тот час, как на своем челе

Черты любови выставляют
И жалость с лаской изъявляют, –
Кинжал свой прячут под полой.

В тот час, как слезы проливают
И даже как богов с небес
С усердным видом призывают,
Пускают яд свой из очес;
Богам в обмане изменяют
И вдруг – с кинжалом нападают
На имя, счастье и спокойство.

Ах! горе, если нет в то время
Отважныя руки такой,
Чтобы сие змеино племя
Гордящесь гребнем над главой,
Виющеся в глухой ложбине,
В пестро-чешуйчатой личине
Могла сразить, – спасти невинность!

Язона нет; – кто ж может скорбных
Покрыть щитом его друзей
От крамолы чудовищ злобных
И шлем сорвать гребнистый змей?
Здесь сильны лишь одни *Алкиды*,
Сыны *Паллады* и *Фемиды*. –
Какой восторг! – *Алкид* возникнул.

Алкид такой в тебе открылся,
Великий по душе своей;
К родству и злу не пристрастился,
Но сострадал к судьбе друзей,
Которых славу столь обидно
Язвила фурия бесстыдна;
А ты, – ты гидру низложил.

Теперь сей изверг ядовитый
Лежит свернувшись, лижет ил;

Серпы *зубов* его разбиты;
Невинных грызть нет больше сил;
Цена, покой, права священны
Уже вновь дружбе возвращенны,
Ты заградил уста сей гидры.

Хоть дружба, лавром осененна,
В нем тщится слезы скрыть тоски,
Что, будучи вождя лишенна,
Лишилась дружеской руки;
Но, быв утешена тобою,
Мешает с радостной слезою
Торжественны свои улыбки.

Алкид! – сия хвала без лести;
Не презри чувства моего!
Ты большия достоин чести,
Но не могу изречь всего;
Я, токмо эху дел внимая,
Дух благородный обожая,
Тебя, Герой мой, величаю.

290. ПОСТОЯНСТВО МУЗЫ. К ДРУГУ АКАСТУ

Ужли моя гитара скромна
В углу покрыта пылью спит?
Ужли еще безмолвна, томна,
В присутствии любви молчит?

Ах! прежде так она дышала
И так свой голос возвышала,
Что *Бугский* брег внимать любил[1]
И часто, – часто ей вторил.

---

[1] Сочинитель некогда с своим другом находился вместе на берегах *Буга*.

Нет, мой *Акаст*! – Хоть не похоже
Здесь небо на *Херсонску* твердь;
Но дух и сердце музы то же
И может тот же глас простерть.

Твой милый *Гений* тот же ныне;
Почто же здравия богине,
Гигее песней не поем
И радости не призовем?

291. ПЕСЕНКА НЕВИННОЙ ДЕВУШКИ

Пой, пеночка, певица нежна!
Ты всем довольна; – нет забот;
Листочик – кровля безмятежна;
Там зной не жжет, – дождь не сечот.

И я пою, – и я немтую
Любовь моих весенних дней;
Не мирты, – лилии целую;
Тут зной не жжет; – тут нет дождей.

Пой, пеночка, под тихой тенью!
Любовь подруги пой своей! –
Любовь одна награда пенью;
За вздох получишь радость в ней.

И я пою, – но не вздыхаю;
Дамоны не тревожат дней;
За пенье только ожидаю
Улыбки метери моей.

Не пой же, пеночка прекрасна!
Любовью ты награждена;
Пусть я пою весной!.. несчастна! –
И мне готовит рок она.

292. ШЕСТВИЕ СКИПЕТРОНОСНОГО ГЕНИЯ С ПОЛУНОЧНЫХ ПРЕДЕЛОВ РОССИИ К ЗАПАДНЫМ МАРТА 15 ДНЯ 1807

Tempus erit, cum vos, orbemque tuebitur idem.
Ovid. Fast. L.I. V.529.

Грядет весна; – и жизни Гений
Летит на северны холмы,
Летит из облачныя сени,
Подъемлет дол из смертной тьмы
И торжествует над зимою,
Над хищницею сельских прав.

Вотще стихии зло-мятежны
С ужасной наглостью мятут
И твердь, и дол, и сини бездны;
Вотще строптивы вихри вьют;
Дубравы с корнем исторгают
И жизнь былинок убивают.

Грядет весна; – и купно с нею
Приходит Судия стихий. –
Коснется ли рукой своею?
Воздушные ея враги
Бегут во глубину полнощи,
Трепеща от лица его.

Воззрит ли? – племена природы
Из сени смертной восстают;
Дхнет дух его; – и быстры воды,
Преторгши льдисту цепь, текут. –
Таков сей Судия эфирный,
Таков сей миротворец мира.

Хотя стихии браноносны
Еще возобновляют брань;
Но сей *Озирид* светоносный
Приемлет их бразды во длань,
Смиряет их порыв вначале
И утверждает Флоры трон.

Хотя зима рукою медной
Еще дерзает леденить
Денницы ранни слезы бледной
И снежной мглой часы темнить;
Но вдруг немея пред Судьею
Бежит – и бурных чад уводит.

Оне, царице ледо-челой
С роптаньем покорясь тогда,
Спешат в вертеп оледенелой,
Уносят свой позор туда
И пред горящими часами
Не кажут больше глав косматых.

Тогда титаны ледовиты
Перед царем планет слезясь,
Падут во глубины открыты,
Теряются в струях носясь;
Чуть видны стропотны их мышцы
Полурастопленны лучами.

Тогда холмы чело зелено
Возносят к выспренней стране
И сверху видят отраженно
Чело в струистой глубине,
Куда соперники их льдисты,
Низверженны, как в гробе, млеют.

Тогда дубравы обнаженны,
Стенящи томны купины,
Долины, вьюгой расхищенны,

Вдруг внемлют духу тишины
И кроткому часов полету,
С усмешкой девственной парящих.

Гряди, царица дней блаженных!
Гряди! – стихии согласуй
И над толпами бурь смятенных
Во славе кроткой торжествуй! –
С тобой долины наши мирны,
С тобою паствы обновяться.

О росс! – весенний, живоносный
Феб с юга к северу течет;
Но твой, – твой *Гений* венценосный
С полнощи к западу грядет,
Да в западе проникнет тучи
Своим сиянием всемочным.

Отечество в любви желает,
Да обожаемый отец
Ежеминутно превитает
Близ преданных ему сердец, –
Полет орла бесценен, важен;
Но для птенца разлука скорбна.

Так чада повсечасно алчут
Очей любезного отца;
Коль видят их, – сердца их скачут;
Не видят их, – дрожат сердца. –
Толь вожделен отец семейства,
Милующий своих детей!

Но ведают, что в том же праве
Еще сыны и братья их,
Которые в полях ко славе
Стрегут покой домов своих;
Он должен, как весенне солнце,
Одушевить и сих сынов.

Грядет он; – агнцам невозможно
Пастись на пажитях своих
В часы весенние спокойно,
Коль пастырь от ограды их
Не отженет зверей грозящих
Жезлом, несущим жизнь и смерть.

Чтоб тигров кровожадных, лютых
Отгнать – иль сокрушит вконец,
Потребна твердость стен сомкнутых,
Единство молний и сердец.
И се скипетроносный пастырь
Спешит на пажить в ужас тиграм!

Вотще мятежны изуверы,
Гордясь обширностию плеч,
Мечтают выше сил и меры
Содвинуть горы, – твердь облечь. –
Герою ль ложному дерзать,
Где Бог, – где Вера зиждут чудо?

Се *Гений* наш богоподобный,
Как Судия стихий, – как *Зевс*,
Понес свой меч молниеродный,
Весы свои туда понес,
Да тем очистит твердь от туч,
А сими рок решит вселенной!

Гряди! – гряди, Отец героев!
Как Бог среди богов, восстань!
Воспламени сынов и воев!
Слей их в единой дух на брань!
Слиянье душ – и их движенье –
Чуднейше любви творенье.

Тогда они с содружным жаром
На жатву славы полетят
И гармоническим ударом

Геенны сына поразят,
Низложат, – и судьбину мира
Свершат, как новы *Озириды.*

Отец! – да будет страж небесный
Сопутником в твоих путях!
Да бури расточит окрестны
И по торжественных громах
Во образе звезды вечерней
Провозвестит покой вселенной!

293. НА РЯБИНОВОЕ ДЕРЕВЦЕ,
выросшее само собою из бронзового
лаврового венца, что на монументе
Румянцова-Задунайского,
на Царицыном лугу

Природа, мати чад послушных!
Велишь – и жизни тайный дух,
На легких крылиях воздушных
В металл и прах стремится вдруг.

Велишь – два царства сопрягутся,
В металле семена растут;
Из меди силы жизни льются
И в злачных стеблиях цветут.

Возможны ли сии премены?
Все можешь ты, о мать вещей!
Се выник первенец зеленый
Из медных недр рукой твоей.

Власы чела его тенисты,
Мне мнится, в образец берут,
Метальный хладный лавр ветвистый;
Но сами, в кудри вьясь, растут.

Быть может, выдет в сем растеньи
Многоветвистый *Нестор* впредь,
Который может без сомненья
Угрозы бурь, веков презреть.

Природа, мать существ несметных!
Ты отдыхаешь много лет,
Чтобы *Румянцовых* бессмертных
Еще произвести на свет.

О Всемогущая! – ты млеешь:
Ужель иссяк источник твой? –
Нет, – не в одних сынах радеешь, –
Везде; – и сей блеснет Герой.

Средь бранных бурь, в часы громовы,
Принявши *подлинник* в пример
И в памятник венец лавровый,
Возникнет он превыше сфер.

294. ЦАХАРИАС В ЧУЖОЙ МОГИЛЕ[1]

Какая ночь!
Толь грозно никогда не падала с небес;
Толь грозно не было еще вкруг гроба здесь.

[1] Сказывают, что известный немецкий писатель Цахариас, или Захарий, возвращаясь некогда домой в глубокую ночь через кладбище, упал нечаянно в вырытую могилу. Не рассудив выбраться из сего ночлега, остается он в нем. Но пробудясь при звуке колокола и почувствовав то ужас, то уныние, выходит тотчас оттуда, спешит домой, садится за перо и в первом жару изображает сии чувствования стихами: Weich eine Nacht! – умея же играть на фортепиане, кладет их на музыку, достойную своего предмета. Вот почему дано оглавление сей песни. Переводчик тщился по возможности сохранить не только смысл и силу выражений, но и самую меру подлинных стихов, дабы можно было пользоваться готовою музыкою.

О мать земля! здесь прах почиет тех,
В прохладе недр твоих,
Которых мир столь много прнебрег,
Лишь небо высит цену их.
Но что за громкий тамо звон?
Сквозь воздух стонет он.
Я слышу меди стон,
Я слышу, к смерти будит он!
Восстань, душа!
Почто тебя объемлет *трепет* вновь?
Ах, сей ли гроб твой взор мятет,
Где ляжет токмо плоть и кровь?
Ты, что во мне и жизнь и свет!
Куда отсель,
Как я уже престану быть?
Престану быть! – *ужель*?
Ум содрогается – *уже не быть*!
Желанье злейшее могил!
Желанье без надежд! Кто влил,
Кто мог тебя внутрь сердца влить?
Уже не быть!
Ах! как болезнует *отчаянная* грудь!
Всемощна грусть! сильнее смерти грусть!
Я, робкой скорбью сокрушенный,
Лежал у гроба распростерт,
Твоим мерцаньем устрашенный,
О бесконечна смерть!
Я зрел, отчаян в бездне мрачной,
Хаоса пред собой престол
И слышал шум стремнины алчной;
Уже и в зев ничтожства шел...
Но вдруг небесный *глас* к покою
Нисшел от высоты
И рек: «Не в гневе создан Мною,
Не в вечну жертву гроба ты;

Нет – не страшись! Твой дух живый взнесется,
И то, что тлен рассыплет в персть,
Из персти паки воззовется
Во славу, в вечну честь!»

295. К МЕРКУРИЮ
Подражание Горацию

Атланта внук сладкоречивый,
Что в мрачной древности веков
Преобразил сердца строптивы
Уставом игр, и силой слов,
И лирою, что ты обрел.

Тебя Зевес в небесны кровы
Приял, чтоб быть послом богов;
И весть твоя, как луч громовый,
Сквозь мраки мчится облаков –
Из тверди в ад, из ада в твердь.

Сам пастырь звезд благообразный,
Быв пастырем среди лугов,
Вотще чинил угрозы разны
Тебе за скрытие тельцов;
Ты видел вместо их улыбку.

Погиб бы ране царь Фригийский,
Когда б он без тебя пошел
С дарами в грозный стан Ахивский;
Но ты его безбедно вел
Сквозь пламенную рать Атридов.

Чистейши души в свет из нощи
Не смеют без тебя парить;
Ты властен лики теней тощи
Златым жезлом своим водить –
О Маин сын! – будь славен вечно.

296. К Г⟨ОСПОДИНУ⟩ Г⟨ЕРИН⟩ГУ НА КОНЧИНУ ЕГО СУПРУГИ МАРИИ Н.

Тогда как час утех отважно
На резвых крыльях поспешал,
Чу! – смертный колокол протяжно
На башне в полночь простонал.
Тогда как Ангел покровитель[1]
Хотел с лазурью *свет* простерть, –
Се новый Ангел твой хранитель
Парит сквозь тьму и мрачну смерть.

Ты зришь, – се тень *твоей* Марии
Из нощи гроба выспрь летит!
Се перед ней дрожат стихии!
Се над тобою тень блестит!
Священна стража! – муж прискорбной!
Нет сей Люцинды дорогой;
Но все она еще с тобой,
Как некий охранитель скромной.

Ах! прежде ты сей день сретал
С улыбкой, с поцелуем нежным;
Часы забвенья оживлял;
Теперь сретаешь с оком слезным
Среди ужасной пустоты;
Теперь ты в гробе прах лобзаешь,
Детей с тоскою обнимаешь
И с плачущими плачешь ты.

Не внемлешь ли? – Се тень вещает:
«Не плачь, супруг, и мне внуши.
Коль смерть мой образ похищает
Из глаз одних, – не из души;

[1] Ея смерть случилась пред имянинами ея супруга.

Коль я живу в груди сострастных,
Коль в сердце я живу твоем,
В чертоге драгоценном сем:
Супруг! – живи ты для несчастных!
Живи ты для моих детей
И пальмой кипарис увей!»

297. КЛАДБИЩЕ
(из Клопштоковых од)

Как тихо спят они в благом успеньи!
К ним крадется мой дух в уединеньи;
Как тихо спят они на сих одрах,
Ниспущенны глубоко в прах.

И здесь не сетуют, где вопль немеет!
И здесь не чувствуют, где радость млеет!
Но спят под сенью кипарисов сих,
Доколь от сна пробудит Ангел их.

О если б я, как роза, жизнь дневная,
В сосуде смертном плотью истлевая,
Да рано ль, позно ль тлен отыдет в тлен,
Здесь лег костьми моими погребен.

Тогда при тихом месячном сияньи
С *сочувством* друг мой мимошед в молчаньи,
Еще б мне в гробе слёзу посвятил,
Когда б мой прах слезы достоин был.

Еще б один раз дружбу вспомянувши,
В священном трепете изрек, вздохнувши:
«Как мирно он лежит!» – мой дух бы внял
И в тихом веяньи к нему предстал.

ВАРИАНТЫ РАННЕЙ РЕДАКЦИИ

загл. Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе. Лирико-эпическое песнотворение Николаев, 1798

⟨*Посвящение*⟩ ⟨нет⟩

«*Живейшим солнцем озаренна...*» ⟨нет⟩

вм. «*Предварительных мыслей*« ⟨Посвящение⟩

ВИЦЕ-АДМИРАЛУ МОРДВИНОВУ

Ваше Высокопревосходительство!
Милостивый Государь!

Вот некоторое изображение Таврии! – воззрите на него и услышьте предварительный суд о нем! начало сего плода возрастом своим обязано еще первому Вашему обозрению сего полуострова. Неоспоримо, что многие мысли здесь уже не новы и давно известны; но сыщется ли в природе вещь, которая бы когда обладала телом совсем новым и отменным от своего естественного? разве одно исчадие природы. – Покрой одежды различен; а сущность в наготе своей всегда постоянна. Сей одежды требовала самая вводная повесть о магометанском мудреце, который составил из утра, полудня и вечера для воспитанника своего нравственную жизнь человека; свойство же азиатских бесед подкрепило мое намерение, хотя и оно не новое; не меньше и Гений старожителей Таврических к тому споспешествовал. Всякому известно, что вместо того было бы сухое и скучное описание красот Таврического дня, если бы тут лица, не взирая, что они худо или

хорошо вымышлены, сколько-нибудь не отживляли сего сочинения тенями своими.

Творение сие писано белыми стихами. – Но я не воспящал себе, если равнозвучие выходило само собою на конце. Славнейшие англинские писатели, Мильтон, Аддисон, Томсон, Экензайд, также и немецкие, Клопшток и другие, презрели сей готической убор стихов. Правда, слух наш, привыкший к звону рифм, не охотно внимает те стихи, на конце коих не брящают однозвучные слова. Мне бы казалось, что рифма никогда еще не должна составлять существенной музыки в стихах. Если читать подлинник господина Попия, то можно чувствовать доброгласие и стройность не в рифмах, но в искусном и правильном подборе гласных или согласных букв, употребленных кстати в самом течении речи, что и служит согласием музыкальных тонов. Бесспорно, что наш язык столько ж иногда щедр в доставлении рифм, как италианской, после которого и признается он вторым между приятнейшими языками в Европе; но кто из стихотворцов, хотя несколько любомудрствующих, не ощущает тяжести их, ради которой он принужден лучшую мысль и сильнейшую картину понизить или ослабить и, вместо оживления, так сказать, умертвить ее? ибо рифма, часто служа будто некиим отводом прекраснейших чувствий, убивает душу сочинения.

Благодарение судьбе просвещения, что некоторые из наших отважных умов согласились на то, чтобы оставить сей образ готической прикрасы! – но то сожаления достойно, что они в сем случае из одной крайности поскользнулись в другую. Начав употреблять дактило-хореи, ясно показали, что они едва еще по-видимому вникли в точные законы римской древней меры; как же? У них в стихе весьма часто бегут короткие буквы перед двумя или тремя согласными, которые бы всегда требовали предыдущую стопу долгую. Признаюсь, что храня правило легкости в течении слова, я не осмелился последовать таковому недостаточному примеру в знании римской меры; кольми паче и не дерзал по образу некоторых смельчаков пуститься на дактило-хореические стихи с

рифмами. Мне казалось, что тогда будет одно только скорое бряцание без силы и знания точных римских правил; почему я и рассудил, сколь было бы тягостно и вредно вплетаться в сии неразвязные оковы, из коих наконец надлежало бы с отчаянием вырваться! Римляне знали великую тонкость в стихотворческой музыке; напротив того, ныне мы, так мелко судя о сем искусстве, находим в своих руках токмо недостроенную римскую лиру, или арфу. Читая в праотце велеречия и парнасского стройногласия, Омире, а особливо там, где он в подлиннике изображает морскую бурю, раздирание парусов и сокрушение корабля, также читая и в знаменитейшем князе златословия и сладкопения, Виргилии, полустишие: – *Vorat aequore vortex*; или в Горации сии плясовые стопы: *ter pede terra*, я тотчас чувствую чистое и свободное течение гласной буквы или короткой стопы, пред гласной же или одной согласной, либо долгой стопы, и вопреки тому; а наипаче тайную гармонию в благоразумном подборе буквенных звуков, чему конечно научает едино знание механизма языка. Словом: – чрез самое произношение ощущаю действительно, каким образом шумит буря, крутится водоворот и корабль поглощается.

Отец российского стопотворения, просвещенный Ломоносов, в том показал самый лучший и поучительнейший опыт чрез стопы: – *Только мутился песок, лишь белая пена кипела*; но сия образцовая легкость, согласие и чистота меры осталась, кажется, без всякого примечания и едва ли принята точно в примере чистых дактилей?

Мне скажут, для чего я после такого рассуждения не избрал лучше прозу? – не спорю, что это было бы лучше. Но всегда ли парение парнасское в прозе терпимо, без коего я не мог обойтися здесь? менее ли также и в прозе нужна гармония, как и в стихах? Кому не известна Геснерова проза в прекрасных идиллиях или Фенелонова во французском Телемаке? Кто не почувствует превосходство ее в сравнении даже лучших стихов? – Да не помыслит кто, что я дерзаю сим образом отвращать сотрудников от Парнасских их нарядов!

Я единственно рассуждаю, что, избрав род четверостопных белых стихов и несколько в том подражая Тассу, писавшему *Освобожденный* свой *Иерусалим* четверостопными же, но с рифмами, стихами, имел то намерение, дабы себя облегчить от наемных уз и лучше дать ощутить меру сего, так сказать, почти прозаического стопостремления.

На сем-то основании построенное мною сие небольшое здание посвящаю *Вашему Высокопревосходительству*. Я ведаю, что вкус и разборчивость просвещенной души *Вашей* ничего такого не ищет в сей (простите мне сие выражение) готической штукатурке, в чем другие льстятся найти славу пиитического ремесла. Следственно, я уже и спокоен, когда сие безмолвие рифм не огорчит *Вашего* слуха и не заставит сожалеть о них.

Равным образом Вам не противны будут здесь некоторые вновь составленные слова. Вы сами уверены, что, многим вещам если не дать нового и особого имени, то невозможно их и различить с другими в свете вещами; – а притом обыкновенные слабые и ветхие имена, кажется, не придали бы слову той силы и крепости, каковую свежие и с патриотическим старанием изобретенные имена. По равномерной причине я часто выводил отметки как ради известной точности и объяснения вещи, так и для избежания труда в продолжительных проверках, каковых бы требовали некоторые не весьма знакомые, там встречающиеся, собственные и существительные именования. Гораций без сей полезной и необходимой отваги, с какою он созидал новые определительные названия вещам, всегда бы находил бедность в своем языке. Сие, по моему мнению, одолжение языку гораздо простительнее, нежели ввод чужестранных слов без нужды, как то: *рельеф*, *барельеф*, *мораль*, *натура* и весьма многие тому подобные. Вам известно, с каким негодованием просвещеннейшие из англичан смотрят на то, если иностранные слова празднуют у них в чужом покрое; они тотчас их перерождают в собственные, хотя и весь их язык, правду сказать, почти заемной. Но мы, напротив того, в сем случае не жалеем еще

быть учениками и сами не хотим сбросить с глаз своих повязки, чтоб быть учителями. Пренебрегши драгоценный вкус нашей древности, по крайней мере, в старобытных песнях или народных повестях и поговорках, не перестаем пресмыкаться в притворе знания своего и, никогда не растворяя собственных красок, пишем чужою кистию, и даже с кичливою некоею радостию употребляем чужие слова и вкус не только в чужой же одежде, но и свои родные одеваем на иноплеменничью стать. О! если бы поспешнее отверзлось собственное святилище познаний и вкуса!

Наконец должен я сказать, что примечаемая в сем творении, а особливо на конце оного, некая унылость пера, не будет угодна для многих весельчаков. Но если это ни что иное, как естественное действие обыкновенного оборота дня, которое тогда играет в чувствительной душе, то кто действительно чувствовал над собою силу утра, полдней, особливо же вечерних минут и ночных мраков, тот оправдает сей плод чувств и пера моего.

Дабы не утомлять более сим родом предуведомления, то я в заключение сего поспешаю открыть Вашему Высокопревосходительству, какое движение одушевляло и назидало сей образ труда моего. Может быть, он и не достиг бы посильной своей зрелости, которою при всем том и теперь еще можно хвалиться, если бы один из знаменитых животворителей оного не возрождал во мне толь нужного вдохновения во все течение сего труда. Я не меньше обязан в том побудительным желаниям и советам Его Превосходительства Петра Федоровича Геринга; почему и казалось мне, что тот, который содействовал силою советов сочинению, благоволил бы с равносильным влиянием сопроводить также и последствие оного. И так я льщусь, что благороднейшее сердце Ваше приимет с обыкновенною снисходительностию сие излияние моего пера. Вы сей час услышите о сем и мольбу приморской музы моея; а я таковым приятием совершенно буду уверен, что не тщетна была та возможная корысть, которую во время первого обозрения скифской страны сея Вашим

Высокопревосходительством взоры мои некогда приобрели, память соблюла, а воображение дополнило, и что сие конечно будет торжественнейшим знамением новых Ваших милостей, и усугубит продолжение того благодарного чувствования, с каковым быть непреложным правилом поставлю, доколе есмь,

Милостивый Государь!
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА!

Преданнейший слуга

Сочинитель.

ВСТУПЛЕНИЕ

вм. «К единственному другу природы»

Здесь вопиющей музы глас
Взывает на приморской арфе. –
Здесь те поет она предметы,
Что злато-пурпурна денница,
Что полдень, облеченный в зной,
Что поздны вечера часы
При пламенном влияньи Льва
В благоцветущем *Херсонисе*
Вдохнули в скромну грудь ея.

Услышь сей робкий глас! – услышь!
Услышь, – блаженный друг природы!

Благотворящая природа,
Котора на хребтах высоких,
На мшистых берегах *Салгира*,
Альмы, и Кара-су, и Качи,
И средь источников гремучих

Ликует в полной лепоте,
Дала мне красок пестроту,
Которыми я не забыл
Рисунок слабый оттенить
Твоих холмов и долов злачных,
Твоих зеленых вертоградов,
Твоих ключей сереброструйных,
Где очи бдительны твои
В спокойны иногда часы
Находят зрелище *Помоны*,
А драгоценные досуги
Златой сретают года труд.

Яви рисунку нежный взор
И усмехнися, – друг природы!

Явишь, – коралловы холмы,
Салгирские брега тенисты,
Благоуханные дубравы,
И величавые раины,
И сено-лиственные ильмы,
И помавающие сосны
С такой же живостию будут
В оттенках неких сей картины
Цвести, – дышать, – и возвышаться,
А резвые ключи гремучи
Такою же стопою будут
Скакать в шумящей песни мере,
Как в самом подлиннике пышном,
Неподражаемом, – чудесном.

Хвались тогда своею долей,
Моя счастливая *камена*,
Что в благодетельной деснице
Твоей возможной кисти плод
Толико будет оживлен,
Толико будет награжден!

⟨ПЕСНЬ ПЕРВАЯ⟩

эпиграф

Ille terrarum mihi praeter omnes
Angulus ridet.

Horat⟨ius⟩

Все земли красоту являют,
Но той усмешкой не пленяют,
Как злачный сей предел.

Гораций

перед 1

Пускай *Гельвеция* блаженна[1]
Пленяет дщерей *Меонийских*
Вершинами хребтов *Альпийских*,
Покрытых вечной сединой,
Или зелеными брегами
Своих излучистых протоков
И сребро-зеркальной равниной
Пучинородного *Лемана*! –
Пускай *Сатурнова* земля,
Где *Тибр* и *Эридан* клубятся,
Возможны краски истощить
Для тонкой *Аддисона* кисти!
Пусть на брегах туманных *Темзы*
Воображенье *Экензайда*
Фессальскую долину ищет,
Обитель мирну сил лесных,
Где втайне нимфы с древним *Паном*
На сено-лиственных брегах
В часы златые ликовали! –
Я в *Херсонисе* многохолмном
Под благодатным небосклоном,
Где и тогда, как *Водолей*
В других пределах обретает
Окованный свой льдом сосуд,

[1] Ср.: *Херсонида, К единственному другу природы*, ст.1–113.

Нередко веет дух весны,
Нередко ландыш изникает,
Уединясь в млечных долинах,
Или на сланцовых вершинах
Найду *Гельвецию* с хребтами,
Найду *Сатурнову* страну,
Темпийские луга найду.

Доселе ни едина муза
Не строила здесь звонкой арфы;
Быть может, – ни един проток,
Ни ключ кипящий не струит
Гремящей песни краснопевца
И не бежит в небесной мере,
Какую чувствуем в стихах. –
Ах! – может быть, давно иссякли
Иные реки не воспеты. –
Ключи их мертвы, – онемели;
А лоно тоще, – неключимо;
Но божеским искусством музы
Иссякшие журчали б вечно; –
Быть может, – ни одна гора,
Ни холм чела не возвышает,
Ни лес, венчающий их злаком,
Ни благолепный вертоград
Своих древес не воздымает,
Которы были бы воспеты
Устами пылких песнословов.
Живущий горный дух в скалах
Еще не повторяет гласа
Девяточисленных сестер,
Прекрасных дщерей *Мнемозины*.

Блаженна будет муза та,
Котора испытает силы,
Чтобы с успехом возвеличить
В живых очах племен грядущих

Сии бессмертные протоки,
Сии утесы и поля,
Сии ключи, сии моря!

Они бессмертны; – иль давно
Мы очевидно созерцали,
Как несравненная в царях,
Великая ЕКАТЕРИНА,
Подобно просвещенной *Ольге*,
Подобно внуку мудрой *Ольги*,
Стопой священной их почтила
И светом взоров озарила? –
Бессмертны, – коль бессмертный ПАВЕЛ
На столь прекрасные картины
Холмы и тучные долины
Воззрит еще живейшим оком.

Сладкопоющая *камена*! –
Вдохни мне *Аддисона* силу!
Дай насыщенно враженье
Чувствительного *Экензайда*
И *Томсона*, – жреца природы,
Дорический напев и строй!
А ежели они изъяли
Тебя из *готфских* тех сетей,
Что своенравна рифма ставя,
Тебя столь часто нудит падать;
Дерзну ль сии расторгнуть узы,
Что здесь доныне носишь ты? –
Дерзну ли лучший путь открыть
Тебе в дыхании свободном
И гладки проложить стези,
Дабы удобнее протечь
С тобою поле новых зрелищ,
С тобою поприще красот? –
Сладкопоющая *камена*! –
Восстань! – изыди из оков!

вм.1–73 Как ясно там заря алеет? –
Какие розы пламенеют
Средь сих пустынь, – средь сих пучин
Между шумящих тростников,
На коих спят, с небес ниспадши,
Седые нощи облака? –
Но чада естества не все
Из моря вышли смутных грез;
Еще не все они встречают
Пришествие царя светил. –
Недремлющие соловьи
И бдительны бессмертны музы
В тени *Лицеев* многоцветных
Одни возносят ранни песни: –
Одни толпящись караваны
Среди излучистых дорог
Влекут со скрыпом плод торговли;
Верблюды, вознося главу,
Небыстрым, – но широким шагом
Пути дневные сокращают;
За ними сильные тельцы
Ступают медленно, – но твердо
И движут горы на колесах
Под буковым своим ярмом. –
Заря белее, – блеск алее; –
Огнистее горят тенисты,
Владыку ждущи, облака. –
Бегут пред ним и утопают
Средь бездны света бледны звезды.
Выходит на конях эфирных
Среди колес румяных день; –
Час утра бьет; – колеса быстро
Крутятся на туманных осях.

Се! – златопламенно чело
Подъемлется из-за холма, –

Чело великого Царя!
Се! в полной лепоте исходит,
Одеян в огненну порфиру,
Жених из брачного чертога! –
Из-под янтарного венца
Вздымаясь к верхним облачкам,
Рисуются живой картиной
В объеме пробужденна взора –
Вокруг алмазной колесницы,
Сопровождаемой куреньем,
Бегут восточны ветерки. –
Златые полосы скользят
Между зубцов *Кавказских* гор
И, протягая нити света
Сквозь здешни тихи перелески,
Сгоняют спящи тени прочь
С тополевых листов сребристых;
А тамо, где уединенны
Пустынных храмин стены дремлют,
Дым ранний, серым вьясь столбом
И кровы мшисты покрывая,
Крутит его в туманну твердь
Иль стелется в сырой долине. –

Все восстает теперь из тьмы. –
Лишь нежна токмо роскошь спит;
Страшась простуд от ранних рос,
Отвсюду заключает ложе

110–111 Статьи от умиленных песней
Сопутствуют и провождают. –

вм. 112–153 «О солнце! – *Магомета* брат!
Горяще в куполах *Медины*!
Когда серебряный полмесяц
Прешедшей ночи освещал

Благоуханны кипарисы,
Не сетовали кипарисы,
Как в неких жалостных странах
Они слезятся над гробами;
Но осребренные лучами
Веселый шум распространяли,
Что персть святую осеняют,
Почиющу в небесном мире. –
Лик Божий! – озари теперь
Великого пророка гроб
И те священные поля,
Где под бесценными стопами
Во дни младенчества его
Иссопы, розы и тюльпаны
Ежеминутно возрастали! –
Там были мы, там зрели небо. –
О братья! все мы получили,
Мы получили благодать. –
О путь! – о путь наш! сокращайся!
С каким восторгом несказанным
Высокогруды наши жены
И черновласы наши сыны,
И черноокни наши дщери,
Измаила прекрасны чада,
Из врат, столь долго заключенных,
С простертой встретят нас рукой
И излиют на наши чела
Благоуханный сок алоя? –
О путь! – о путь наш! сокращайся!»

178 Ходил в священный *Меккский* храм,
вм. 179–183 Вдруг сей младый Мурза, восстав,
Остановляет мысль его
И, персты к персям приложа,
Почтенье воздает ему.

вм. 239–240 «Уже давно я дал обет[1]
Тебе поведать в некий час,
Где было утро дней моих
И как висящу надо мной
Я встречу смертну нощь мою? –
А ты, – я знаю, – лучше хощешь
Теперь уведать жизнь мою».

«*Шериф* почтенный! – рек *Мурза*, –
Пусть смертна мысль других тревожит
Среди очарований жизни! –
А мне – она не так страшна.
Тобой, – тобой я научен
Из мыслей не терять ее. –
Но ты с тех пор, как вел меня
От си́х пределов в *Меккский* храм,
Досель отсрочивал поведать
Историю своих дней мирных».

«Тебе известно, – отвечал
Шериф с глубоким воздыханьем, –
Что я в *Натолии* любезной
Начальное приял дыханье. –
Там свежу юности слезу
Среди пелен я испустил. –
Вот! – где моих дней утро было!
Светильник благости *Аллы*
В сем утре так сиял на мне,
Как нынешний востока луч.

Достигши точки полудневной,
Как под отеческим призором
Искусствам бранным научался,
В меридиане дней моих

[1] Ср.: *Херсонида, песнь IV*, ст. 609–840.

Избрал себе я *Марса* богом
Во славу веры и Пророка;
Но ныне пламень сей погас. –
Всему есть собственное время. –
Свет опытов открыл мне взор. –
Я посвятил себя *Алле*. –
Великий Муфтий, – райский вождь,
По мудрости – избрал меня
Наставником брегов *Эвксинских*. –
Я стар; – лишась давно супруги,
Лишась любви залогов верных,
Оставлен лучшими друзьями,
Что должен делать я иное? –
Я поспешал в сии места,
Которы праотцы премудры
Стопами древле освящали;
Спешил повергнуть там печали,
Какими страждет грудь моя;
Потом – отсель отыти с миром; –
Но вдруг пророка тень во сне
В едину нощь вещала мне:
– *Шериф*! твой праотец услышал
Твою усердную мольбу;
Еще светило отступило
Назад на двадесят степеней,
Еще *Алла* к твоей дней мере
Приумножает двадцать лет. –
Гряди! – и обозри всех верных
На стропотных брегах *Эвксина*
И средь *Таврических* вершин!

Тут, в изумленьи воспрянув,
Я пред *Аллой* поверг чело. –
Тогда мне осьмьдесять лет было;
Но с приобщением других,
Познав в стопах я новы силы,

Спешил святой налог исполнить. –
Я шел по берегам *Эвксина*
И нес с собой Пророка глас
До бурных *Меотийских* вод,
Где *Джамбулукски*, *Эдишкульски*,
И *Эдизански*, *Аккермински*
Станицы процвели во славе,
И наконец, – прешед *Кавказ*
И шую *Миуса* страну,
Где многозлачная пустыня
Покрыта снежною ковылью,
Что стеблем зыблет, помавая
Всегда вершинки седоперы,
И домы тысяч птиц хранит,
Пришел с пророческим уставом
В сей знаменитый *Херсонис*. –
Тут я познал глубоку древность
Сего камнистого предела,
Учился нравам и умам,
Сердца к пророку привлекал
В угодность призраку его. –
Но все его предлоги сильны
Имели слабой здесь успех:
Я тысячу нашел в пути
Сильнейших бедствий и прещений. –
Потом тебя узрев, – *Мурза*,
Услышал я с восторгом духа,
Что ты меня избрал в отца. –
Се холм еленей! – здесь, *Мурза*,
Я в первой раз тебя узрел. –
Ты одолел себя – и, брак
Отсрочив, убедил меня,
Чтоб *Магометовы* останки
Вторично посетить в *Медине*. –
Се! – наконец мы паки здесь! –
Но я третичный путь возьму

И там близ Праотца умру. –
Увы! – последний жизни год!»

«Премудрый старец! – рек *Мурза*
(Мурза сам в мудрости наставлен), –
Да будет благ святый твой путь!
Да будет спутником тебе
Хранитель Ангел, – Страж небесный,
И оградит тебя от стрел,
Летящих в тьме и сени смертной! –
Когда достигнешь в третий раз
Священныя сея *Медины*;
Дерзну ли заклинать еще
Тебя я именем Пророка,
Чтоб тамо ты принес мольбу,
Да буду здрав душей и телом,
Да нивы каждой год мои
Произведут сторичный плод,
И зрелый виноград прольет
Багровы токи пенных соков? –
Но ты, – *Шериф*! не возбрани
Младому юноше спросить:
Когда *Алла* велел тебе
Идти в сей славный *Херсонис*,
Почто ты не избрал других
Путей кратчайших для сего? –
Я зрел на чертежах вселенной
Ближайший путь сюда чрез море. –
Не страшно ли для дряхлых дней
Прейти камнистые хребты,
Прейти *Донские* берега,
Где некогда *Орфей* печальный,
Что прежде из грубейших скал
Извлечь умел потоки слез,
Сам по глухим вопил пустыням,
Оплакивая невозвратну

Потерю милой *Эвридики*,
Подобно нежной филомеле,
Лишенной бедного птенца? –
Не страшно ль проходить то место,
Где ратоборцы полуночны
Столь часто шумны движут стопы
По пламенным стезям *Алкида*,
Который некогда исторг
Злосчастна узника из цепи,
Привязанна к горе *Зевесом*,
Где *Прометей* уже не моет
Слезой *Кавказского* хребта; –
Уже умолк стенанья глас,
Который меж пустых утесов
Столь часто, – столько долго выл». –

«Сын мира! – старец отвечал, –
Что быть спасительнее может
В юдоли мрачной жизни сей,
Как, преломленные лучи
Собрав из посторонних светов
И в точку их соединя,
Чистейший свет из них устроить,
Потом – к себе его присвоить,
Да светит в нравственном он мире.
Но собирать их – лучше там,
Где нет обманчивых паров
Или огней гнилых и ложных. –
Ах! мой *Мурза*? – как нужны знанья,
Которы странник почерпает
Из разных душ иноплеменных? –
Конечно, – должно быть пчелой
И брать сок чистый из всего.
Что дальности? – они лишь страшны
Для нежных *сибарита* стоп. –
Мы все пришельцы – ты – и я;

Вселенна – поприще для нас;
Отечество не здесь, – но там...
Да; – мог бы я избрать, конечно,
Кратчайшую стезю в Эвксине. –
Известно, что в Колхиде дикой
Или в *Мингрелии* лесистой,
Где распаленная царевна
Открыла древле путь сквозь пламень
Пришельцу милому к руну,
Всегда десница смерти машет,
И в ясный день, и в мрачну ночь, –
Там все напоминает
О смертоносных чарованьях
Колхидянок злоухищренных,
О неких пламенных дождях,
Об огнедышущих волах,
О тенях, о мечтах *Гекаты*. –
Кто там не пал на половине
Своих отважных предприятий? –
Кто тамо с самой высоты
Путей своих не низвергался? –
Но кто же из *шерифов* смеет
Не точно глас *Аллы* исполнить? –
Уже я не страшуся смерти. –
Я, сколько мог, – исполнил долг.

О! если б милосердо небо
Вложило в дряхлые стопы
Еще еленя быстроту!
Еще притек бы я счастливо
До тех источников живых,
Где утолил бы жажду сердца
И оживил бы плоть и кровь.

288 Истоки знойны испускает

334 ⟨*нет*⟩

350 Подъемлют бодрое чело

353 В тиши глубокой меж горами

363 ⟨*нет*⟩

367 Свой крик коленчатый выводит

388–408 ⟨*нет*⟩

410 Меланхолическая грусть

421 Пни голы – не его ль следы?

425–452 ⟨*нет*⟩

457 Где час горящий прибежит

484–497 ⟨*нет*⟩

501 Сафирной тверди достигают

506 Едва одно не составляют

508 На темно-серах их концах

510 Восходят выше предо мной

517 ⟨*нет*⟩

519–520 Которы кажутся пред ним
Ползущими буграми токмо!

534–546 Свое заносит черно око
В обитель жителей эфирных.
Другой вблизи его утес,
Противный видом и челом,
Венчан скуделью темно-красной,
Восходит острыми столпами
В пределы тверди возвышенной,

Но тех высот не достигая,
Куда возникнул *Чатырдаг*,
Как меньший старшему ревнует

549–578 ⟨*нет*⟩

вм. 579–582 Но две сии скалы высоки,
Как две подпоры *Херсониса*
Или как два столпа ужасны,
Поддерживая свод небес

584–588 ⟨*нет*⟩

⟨ПЕСНЬ ВТОРАЯ⟩

1–4 Как нежно! – Как прекрасно здесь
Сей горный жаворонок скромный,
На белых крылошках порхая,
Трелит пустынну песнь свою!

вм. 10–70 Доселе естества десница,
Переменяясь в видах дел,
Лишь втайне разверзала силу;
Но здесь, – средь сих ужасных гор,
Она подобна исполинской.

«Неизглаголанный! – Велик,
Велик ты в целом естестве. –
Твоя блистает красота
Среди долины безмятежной
В млечной лилее, в алой розе.
Твой тихий благодатный глас
В зефирах шепчет тонкокрылых,
Порхающих в лугах цветущих.
Твое дыхание прохладно
В тенистых веет купинах;
Но здесь величество Твое,

Твое могущество и слава
В священном ужасе исходят
Среди камнистых сих громад;
Твой всемогущий глас глаголет
В сих сено-лиственных дубах;
Твой дух взывает громогласно
В сих, – сих свистящих вихрей силах,
Сражающихся между гор. –
И кто на высоте ужасной
Не ощутит Твоей стопы, –
Что, шествуя сквозь мрачны тучи,
Звучит, как пламенно железо?
Кто здесь Твоей не узрит славы?
Кто не услышит гласа в громе?
Ты дхнешь, – и бук, и дуб столетний
Ложится корнем вверх косматым.
Взгремишь, – и каменна скала
Дрожит, – трещит и ниспадает.
Блеснешь, – и страшный сей хребет
В своем металльном основаньи
Растопится, – сгорит, – исчезнет,
Как воск от ярости огня,
Как в тверди облако дебело,
Проникнуто лучами солнца,
Иль как блестящий снег, лежащий
На теме сей горы при зное. –
Но что реку? – лишь Ты восхощешь,
Шатнется мир на ломкой оси;
А Твой престол, – *Сион* небесный,
Не поколеблется вовек.
Творец! и здесь, – и здесь Твой храм,
Сафирный свод небес палящих,
Мне мнится, приклонен сюда;
Столпы его – древа столетни,
Курение – цветы *Альпийски*;
Симфония – хор птиц в дубах;

Красивость – пестрота цветов,
А верх камнистый возвышенный
Являет жертвенник священный. –
К Тебе, – к Тебе я приближаюсь
И в немтований песни сей
Благоговею, – Боже чудный!»

71–73 Оставь свои холмы любезны,
Божественна моя камена! –
Да будет *Чатырдаг* высокий

88 Всегда прохладен, здрав и свеж

92 И мнишь, что каждый небожитель

103 ⟨*нет*⟩

117–119 Растущий *сребряник* на камнях,
Горящий *звездо-цвет*, *подлески*
С *альпийским* злаком прозябают

130–133 ⟨*нет*⟩

140–142 Не их ли сыпала *Аврора*?
Не их ли месяц зрел в нощи?
Не их ли *Феб* уносит днем?

156–157 Сих легких тварей уловить,
Когда быстрее стрел их ноги?

160 Через ужасные вершины

164–167 Как часто здесь удачна пуля
Влетает в бьющуюся грудь! –
Смотри! – как там орел кичливый,
Пушистошейный, белоглавый

176 Так гордо, так парить отважно

181–188 ⟨*нет*⟩

197 И с ним *шипун* сипоголосый

205–207 Все здесь на высоте яснеет;
Все здесь являет бодрость духа
И тонкую эфира живость.

225 А божества, возвеселившись

234 Своим челом железо-хладным

259 ⟨*нет*⟩

274–277 Спущенные их тучных туч?
Как любопытно на подвластны
Смотреть утесы *Чатырдагу*
И на растущие холмы

297 Кристальна урна здесь *Салгира*

298 ⟨*нет*⟩

329 Что вкусна требует трапеза

331 Гордятся пестротой садов

337 Низводит дни приятны жатвы

349 Прекрасны сливы, сладки груши

355–356 И дружно вьяся окрест древ,
Объемлют нежно стволы их

вм. 362–367 Где дщерь *Италии* прекрасна
Достаточну находит помощь
Для умовения лица;
Там все такие прозябенья
Растут и врачевство дают.

368–375 ⟨*нет*⟩

399 Сколь легки, смелы быть должны

421 Как легки, смелы быть должны

423–425 Пусть взор мой спустится на низ
По оной сребреной стремнине! –
Ужасна сребрена стремнина!

430 В сию стремнину упадает

432–433 Чрез ток ветвистый остов сосны
В единый миг перелетает?

437–440 О суевер! – ты, зря впервые
Стремленье чуда с дальних долов,
Не мог ли бы тогда помыслить

462 Свои густоветвисты главы

468–469 ⟨*нет*⟩

472 *Маслины*, *тополы* сребристы

477–479 ⟨*нет*⟩

489–759 ⟨*нет*⟩

777 Она, Вулкана разбудя

783–794 ⟨*нет*⟩

806–809 Ты видел исполина гор;
Увидишь исполина древ;
Ты видел *Чатырдаг* меж гор;
Ты видишь меж древес *раину*

826 Где древня башня, – смерти дом

828 Та башня, где лежащи кости

832–833	Которая, людей злосчастных В ея утробу низвергая
846–847	Котора с злобною насмешкой Еще нить жизни пощадила
851	Сии места вам проезжать
870	Ах! – Тамо рай за ним сияет. –
877	⟨*нет*⟩
898–926	⟨*нет*⟩

⟨ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ⟩

19	Растут без попеченья сами
39	Пусть в сих пуховиках цветущих
вм. 116–117	На берегах *Альмы* струистой, *Кабарты, Качи* осененной
125–221	⟨*нет*⟩
224	Лучей отвесных в полдень ясный
227	⟨*нет*⟩
234	И кравчему заботу в пире.
238	Стремитеся отсель далече!
вм. 258–260	Тверди ты лучше глас *камены*!
275	Как ты в своих садах певал!
278	⟨*нет*⟩

279–282 Тогда спеши! – ты, сын *Семелин*,
Плющем власистым увенчанный,
Омыть свою румяну голень
Со мною в *савроматской* кади

298 То ты не мни, чтоб я забыл

314 К каким в то время с жаром чаем

вм. 331–334 Не резвится и не кидает

349–354 Хотя бы семьдесят лет было,
Но их морщины б утаили
Под анатольской аладжей
Стенящу надпись: – *Помни смерть*!
А вместо бы того вещали:
Не ошибись, младой Мурза!

355 ⟨*нет*⟩

385–386 Колико бы прелестней был
Таврический сей тихий *Темпе*

389–390 Здесь также бы румянец ваш
И вздох любовный мог пленять!

398 О миловидная *Зарена! –*

вм. 408–409 Но грудь... –
о *Скромность*, – помоги!

440 Чтоб бодрая моя *Зарена*

441 ⟨*нет*⟩

447 Нет; – милая *Зарена*! нет

452 На плеча марморны одежду,
между 452 и 453 Чем прежде б заниматься стала?

455–458 Приморски ветерки резвились
В твоих каштановых кудрях
И остальные сна мечты
Сгоняли бы с твоих зениц

461 Тогда, скажи, *Зарена*, мне!

465 ⟨*нет*⟩

468 ⟨*нет*⟩

478 ⟨*нет*⟩

481–485 ⟨*нет*⟩

вм.487–489 Они все кроются под землю
И не умеют нападать.

492–494 И по долинам тем цветущим,
Где труд прилежный обещает
Весь рог богатства истощить!

495–652 ⟨*нет*⟩

693 В горах над славною *Кафою*

706 Висят озера сильных рос

729 Но ботанист и врач сего

757 Для всех *Аконтьев* и *Кидипп*

760–761 Уже немало из усердных
Вельмож российских простирают
766 Знаток цены ея, М⟨ордвинов⟩

808–821 ⟨*нет*⟩

⟨ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ⟩

вм.3–4 Над самою главой вертятся

8–9 Вотще я взоры поникаю
И помощи ищу в земле.

79 Карать трепещущих индиан

97 Блажен, – блажен сей полуостров!

99 Когда здесь жжет кипяща сила

160 Осенни тихи здесь часы

164 Здесь тихо-веюща погода

170 Где бабочек живых четы

190 Три бездны, ропщущие в буре

222 Восходит в сей горящий час

255 Ни теплый ветр не посещает

276 Но да проникну в мрак глубокий

292 Моей душе благоугодна

336–341 ⟨*нет*⟩

350 И исцелим болящу грудь

384 Быть может, – некто здесь *Орфей*

415 Все внешни чувствия закрыла

417 Дрожащи стопы по пещерам

427 Иль пробудилось спяще *эхо*

429 Иду я; – что же вижу там?

вм.442–445 *Сирена!* – прочь с ужасной песнью!
Ты к злу наставница, – *сирена!*
Здесь зрю училище для сердца

448–450 Паситесь, агнцы, под тенями
На *майоранных* муравах!
Пусть я дышу прохладой здесь!

473 Коль страшен ради нежных душ!

вм. 480–482 *Ах! – мой милой! –*
Что не поешь любви? – мой милой!

506–507 Листы поблекшие мои,
Как перья по пескам сыпучим.

вм. 522–524 *Милой!*
Ах! – не слези меня! – мой милой!

527–530 Вотще между костями странник
Какого *Гераклита* взыщет; –
Нет знаков, кои бы сказали,
Где лег сей мудрый *Гераклит*.

вм.542–543 О небо! – самый тот *Шериф*

592 Ах! – может ли от нас то быть? –

605–840 ⟨*нет*⟩[1]

841 Но вы скажите, – чада персти;

915 О наш возлюбленный отец!

917 Здесь древле мудры жили мужи

925 До горних тронов Херувимских

[1] См.: *Таврида*, песнь 1.

934 Чтоб лучше вам узнать причины.

937–942 ⟨*нет*⟩

957 Пришельцы слезныя юдоли

999 Из бурной бездны выкатала

1001 Там, где елень и барсук ныне

1007 Все те ужасные вершины

1023 Когда чрез несколько веков

1026 Под ржущим дном дрожащих гор

1043 Объявши облачную область

1059 Все похищали, – все губили

1064 Являя судорожный вид

1066 Сии позоры пылких вихрей

1068 Подгорны громы средь горнил

1070 Как звучные шары Перуна

1075 Верхи твердынь опровергал

1114–1116 ⟨*нет*⟩

1134–1135 А острочелый брат его
Был дольним громом раздроблен

вм.1153–1158 Он пел и тот горевший холм,
Отколь недавно тяжки камни,
В дыму высоко возметаясь,
Фанагорийцов устрашили.

1159–1180 ⟨*нет*⟩

1186 Спустил *Эвксин* смятенный ниже

вм.1193–1195 Меж тем, как неки *Атлантиды*
Погрязли в сердце океана.

1212–1250 ⟨*нет*⟩

⟨ПЕСНЬ ПЯТАЯ⟩

3–5 Как марморы подле *Орфея*
Иль истуканы полживые
С примкнутыми ко груди дланьми

вм.11–12 Внемли же чувствам пастухов.

13 *Шериф!* вся песнь сия нова

21–23 Но продолжай поведать нам,
Отколе, – как явилась суша, –
Сюда вступили племена?

37 Иль *Девлеты* там какие?

39 ⟨*нет*⟩

вм.40–42 Конечно; – я скажу вам все; –
Здесь не были долины пусты.

76 Стоял без всякого подножья

79–80 Природный цвет свой потерял,
Всегда быв омываем кровью.

95 Открылось от ведомых к жертве

99 Который некогда с грозою

вм.101–106 Прекрасна дщерь *Агамемнона,*

Что *Ифигенией* зовут,
Сюда по воздуху явилась.

126–205 ⟨*нет*⟩

вм.211–283 По телу были токмо два;
Но в чувствах, склонностях один.

Неистовством ужасных фурий
Один из них терзаем быв
За некие свои деянья,
Хотел свою очистить совесть
В едином храме сем от них. –
Ведут сих странников *сарматы*
Пред жертвенник неумолимый.
Священница кропит водой
Плененных *греков* перед жертвой.
Готовится к священнодейству,
Приемлет обнаженный меч,
Увенчивает их власы
Растущим горным диким злаком;
Потом вещает умиленно:

«Простите, юноши, вы мне!
Я не сурова, как вы мните;
Сей лютый долг священнодейства
Обязана исполнить здесь,
Где учрежден такой обряд;
Но вы отколь? – какого града? –
Какая столь корма бесчастна
Сюда направила ваш путь?» –

Так говорит им в грозный час
Благочестивая девица,
И вдруг, из уст услыша их
Отечества именованье,
С биеньем сердца познает
В них обоих одногородцев.

«Один из вас, – она вещала, –
В сем месте по святым обетам
Пасть должен непременной жертвой;
Другой пусть вестником поедет
В отеческу свою страну!»

Тут первый, жертвуя собою,
Велит другому ехать в дом;
Но сей упорствует ему
И хочет сам быть тою жертвой;
Всегда во всем согласны быв,
В сем случае лишь не согласны;
И так о смерти оба спорят. –
Один согласен был на то,
Чего другой и сам хотел;
Но сéй хотел того с упорством,
На что согласен не был первой.

284–328 ⟨*нет*⟩

вм.329–373
Меж тем, как юноши прекрасны
Ведут сей общий спор любви,
Она развертывает свиток,
Который писан к брату был.
О дивно действие судьбы́! –
Один из сих друзей в нем видит
Свое начертанное имя.
«Небесны силы! – он всклицает, –
Возможно ль? – жрица! – ах, познай!
Но льзя ли в жертве – брата знать?» –
«Как? – ты – мой брат, – *Орест;* – о *Фива!*
Ты ль, бедной мой *Орест?* – мой брат! –
Се! – наконец мои вздыханья
Проникли, *Фива*! – твой престол!» –
Так жрица вопияла тут;
Но глас ея в гортани умер;
И слезы градом покатились;

Потом, друг друга обнимая
И силе рока удивляясь,
Благословляли строгу *Фиву*.

374–551 ⟨*нет*⟩

вм.552–559 Что медлить? – жрица и *Орест*,
И *Пилад*, юноша *Фокейский*,
Вернейший спутник сей *Ореста*,
Похитивши кумир *Дианы*,
Чтоб в лучших он стоял местах,
Направили сокрытый парус
К брегам отеческим *Пелопским*.

560–572 ⟨*нет*⟩

584 Все было грубо и кроваво

612 А выходцы из *Гераклеи*

619 Он все тогда другие грады

657 *Бузирисы, Антеи* мрачны

659 В белейшем марморе восточном

670–671 Но *скифы*, внутренней страной
В сем полуострове владея

686 В валах ревут и в понт бегут

726 Там мармор чистый *Парианский*

731 Или старейшин *Генуезских*

765 Прияв в свои объятья нежны

789 Так пламенный проток лавы

803 И претворяет в извязь их

809–810 В те горьки дни забралом твердым
Свои селенья оградили.

вм.832–834 Потомки грозных *Тамерланов,*
Аттил и лютых *Чингисханов*

836 Так славный полуостров пал

842 Жаль *Крымской* вольности! – то правда

898 Отшельцы здесь два зла встречали

914 Вы зрите кости на помосте?

917 Беда шла выше гор; – то правда

947 Картина мрачна, – но любезна?

вм.949–956 О! – ежели рок злой коснит
Найти меня и в бурном гневе
Ударить прямо на меня,
Я сам, – я сам найду его
И поспешу к нему на сречу! –
Нет в самых небесах руки,
Котора бы от зла спасла! –
Нет! – слышу лишь колеса лет

вм.961–970 Тут засверкал в очах его
Сквозь слезы дикий огнь; – и он –
Как исступленный возопил

971–996 *⟨нет⟩*

1010 *⟨нет⟩*

1017 Позволь, *Перун!* – и нить прервется.

1035 И поглотит сей черный век!

вм.1070–1080 «Отчаянна душа! – тут Ангел

Под мрачным сводом загремел; –
Тебе Отец духов глаголет:
Почто ты тонешь в глумных мыслях;
Ты заблуждаешь, – человек! –
Ты неизвестен сам себе...

1116 ⟨*нет*⟩

1127 Взирает с омерзеньем духа

1131 Взлетает в удаленну вечность

1151– Итак, – еще ли ты упорен?
1552 Ответствуй мне теперь, сын неба!

1158 По степеням переходить

1168 Так как ты можешь здесь достигнуть

1172– Но шествует он так, что к крайним
1173 Ея концам не достигает

1177 Сие безмерно приращенье

1183 Конечно, Господу угоден

1191 Сам первозданный *Херувим*

1212 ⟨*нет*⟩

1223 Превыше кругозора, – горе!

1256– А без сего – я б не желал,
1257 Чтоб создан был я солнце зреть.

1286 Мне возврати крыле бессмертья!

1288 Почто бежишь ты от меня?

1315 В прошедших юных днях моих

1350	Одна в одежде боготканной
1385	Да обесчадится весь остров!
вм.1400–1402	Ее расторгнуть надлежало, Дабы опять не разродилась.
1403	Тут горька казнь во всеоружий
1416–1419	⟨*нет*⟩
1425	Но то начало только было.
1438	А ты, – великая в владыках!
1444	⟨*нет*⟩
вм.1475–1477	Но сын, – но сын Ея Великий На тро́не; – лейте, нежны очи, Восторга радостного слезы! – Объемлет Он державу; – радость Полупланету озаряет...
1489	Покоя здесь не поколеблет
1499	⟨*нет*⟩
1532	Могли ль они под *Аджибеем*
вм.1544–1545	Бессмертным лавром увивали.
1559	⟨*нет*⟩
1570	И при таких защитах твердых
1583	И мир с обилием, обнявшись
1585	Тогда в блаженные дни мира
вм.1588–1589	Столь долго бывши в поле брани! О черная богиня брани!

1605 О коем бесподобный ПЕТР

1620 На горизонт наук взошли

1628–1630 ⟨*нет*⟩

1643 Сей час – иль завтра; вечность! вечность!

1652 Отшел, – как Ангел-посетитель

1668 *Шериф* с *Мурзой* идет с горы

1671 О, черны облака, спустите

1673 ⟨*нет*⟩

между 1673 и 1674 Они идут; – *Шериф* в пути
Вещает своему питомцу:
«*Мурза!* – счастлив ты сей день будешь;
Счастлив на целу жизнь твою». –

МУРЗА

Благодарю я за желанье! –
Но чем, – отец! – счастлив я буду?

ШЕРИФ

При нежной речи пастухов
О их возлюбленных особах
⟨Ты⟩ не единый раз вздыхал; –
Признайся, сын мой! – кто такая,
На кою целит грудь твоя? –
Ах! – не на *Цульму* ли? – ты мне
Об ней вещал – и много плакал; –
Почто краснеешь?

МУРЗА

Ах! – отец!..

ШЕРИФ

Я не виню твоей любви;
Но радуюсь, что ты успел
Толь ранне чувство победить,
Исполня чувствие к святыне;
Теперь не поздно быть счастливым;
Ты любишь *Цульму;* – сочетайся! –
Как жив я, – сочетайся с ней! –
Сын мой! – она тебя достойна. –
Да будет брачный одр покоен,
Доколе смертного не узришь! –
Пока ды́шу еще; – с тобой
Я разделю вечерню радость. –

Мурза во время сей беседы
Молчал, – краснел – и воздыхал;
Но старец был великодушен:
«Пойдем, – вещал он, – в те поля,
Где труд природы ожидает
Дождя небесной благостыни;
Молися! – скоро с тверди *Мекки*
Сойдет роса на холм *Мурзы!*» –

Так собеседуя в пути,
Шериф с *Мурзой* сошел с утеса.

1674 Но благодарны пастухи

1679 Сын *гурии* присноцветущей!

1701 Какая ж сень? – иль нощи тень?

1755–1763 ⟨*нет*⟩

⟨ПЕСНЬ ШЕСТАЯ⟩

вм.1–5 Гремит; – отколе важный глас? –
Из коей дальней тверди рев
Сюда в глухих несется гулах? –
Отколе весть небесна мчится?

10–12 Почто же так? – пусть нова нощь,
Над сими свесившись горами,
Покров свой черный развивает!

13–14 ⟨*нет*⟩

53–54 И крылышком коснувшись струн,
Чинят в моей звон некий арфе

118–119 Слезами очи окропленны
На гневны мещут небеса

121 Покрыты молнии кругами

137 Оборотясь к стране грозы

152 Не се ли тот блестящий миг

вм.184–188 Ужасен глас Твой – Судия!
Глагол Твой дольний мир колеблет. –
Тебе предыдет огнь и пламень,
А мрак и буря за Тобою.

196 Колеблешь словом твердь безмерну

234 Се! робки преклоня колена

вм.256–258 Все звуки меди в дольнем мире,
Совокупленные в едино

вм.261–269 Блестит второй и третий раз,
Гремит второй и третий раз. –
Свет раздирает кровы мрака;
Гром давит долу робкий мир.
Вдруг твердь трещит, – и вдруг из тверди
Слетел стремглав смертельный блеск;
В тьме выстрелов сей резкий треск
Рассыпался над головой.

270–271 ⟨*нет*⟩

вм.272–323 Преступники дрожат, – бледнеют
От бледной молнии ниспадшей,
От грозных гласов Судии

324–327 Но ах! – всегда ль удар его
Прицелен на чело злодея? –
Коликократ неосторожна
Невинность гибла от удара?

вм.330–336 Давно *Урания* рыдает
О бедном сем своем питомце.
Та ж самая эфирна сила,
Которой в царство он входил
С отвагой редкой мудреца,
Его похитила к себе.

346 Как в смелом опыте того

350 Прошед он философский мир

366–367 ⟨*нет*⟩

374–375 ⟨*нет*⟩

379 Стремится в жидку часть из сжатой

393 О неисследны небеса! –

398 Узря бездушного тебя. –

411 Или согласнее казалось

418 Иль тонкий *Мушенброк* и *Эйлер*

423 Как сей же самый вихрь эфира. –

445 Влиешь бальзам надежды сладкой.

458 В обитель прежнюю его?

468 О! – пусть сии горячи капли

480–481 Высокий дух не содрогнулся
От грозной ярости судьбы. –

504 От красного лица огней

551–554 Где? – где моя *Зарена* нежна?
Зарена! – как ужасно видеть
Во гневе горни небеса
И страждущее естество? –

569 *Зарена!* – ах! – и ты здесь плачешь!

572 Поди, *Зарена,* в тот шалаш! –

577 Поди, *Зарена,* в тот шалаш! –

585–586 Лишь только буря засвистала,
То мягка нива ниц легла

592 Из гор со свистом буря дует

609 Котора хощет наказать

612 Разгневал сильно Божество

619 Велик в улике всех ты зол

624 Которыми нас обязуешь.

652 Тут, взвив он новый дождь дугами

668–679 ⟨*нет*⟩

703 Он пояс гор лишь обнимает

713 Лишь жадный взор сквозь дождь свистящий

723 Последни капли изливает

746 В эмаль лучи косые мещет

778 И воцарилась тишина

795–796 ⟨*нет*⟩

827 Среди рассыпанных лучей

837 Что горды строили трофеи

841–979 ⟨*нет*⟩

980–982 Но пусть *сарматы* утомленны
Своими смуглыми руками
Струи *Салгирски* рассекают

986 Когда со мной *Зарена* ходит

994–996 Но мне, – *Зарена* завсегда.
Без голубых ея очей,
Без вишневых ея устен

1007 Лишь ты, *Зарена!* – ты мне все.

⟨ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ⟩

8 Над *Херсонисскими* холмами

10 ⟨*нет*⟩

вм.25–26 Но пред лицем пурпурным света

53–54 Полкруг нам токмо представляет. –
Се! – край един чела являет

77 Под кровом лишь одной природы

113 Произвели деяний славных

между 132 и 133 *Мурза*, который для него
Готовил вечерю и ложе,
Уверил прежде всех соседей,
Коль мудр и добр его наставник.

138–174 ⟨*нет*⟩

181 Сколь многие цельбы творит?

184 ⟨*нет*⟩

192 Имея дух ленивый, – томный

210 И не поклонится при гробе

вм.214–239 ⟨Продолжение речи Шерифа:⟩
Но ах! – друзья! – сказать ли вам? –
Вихрь огнен; – ад подгнел его; –
От юга дышет он; – он страшен
И рвется вертоград священный
Огнем проклятым попалить.
Я слышал, – некий лжеучитель
В последний век сей появился. –

И храм, и *Магомет* премудрый,
Тень Божия, – наперстник неба,
Им приняты за суету.

241 Когда сия *Шайтана* тень

вм.243–249 Брегитесь, бедны агнцы, скимна!

298–299 Чем чистое понятье дал
О нем невеждам *аравийским*.

330 Хорошими гонцами служат?

369 ⟨*нет*⟩

380–381 Там видны только рук дела.
Послушайте же! – высота

407 Лишь пар, светящий при болотах.

461–469 ⟨*нет*⟩

473 Владычествующих над вами

вм.476 И изувера поразит
Подобно так, как *Тааджала*.

479–483 ⟨*нет*⟩

484 *Алла,* – всесильный мститель! – грянь!

490 Сказал сие – и вдруг повергся

493 Так ревность пламенна играет!

500 Ты свят, *Алла!* колико свят! –

502–503 ⟨*нет*⟩

505 Благоволил мне ныне сам
Коснуться прагов освященных

522 Ах! коль я грешен? – как тем льститься?

548 Исчезнут в синеве.

между Не менее тогда почтили
559 и 560 *Мурзу, – Омарова* питомца.

576 И в хижинах тогда возжгли

595 Там я в сей час, – в прекрасный час

вм.606– Идите в храмину сию
662 И торжествуйте брак *Мурзы!*
Уже светильники возжженны
Пылают радостным движеньем
В чертогах брачныя любви.

663–665 Тут старец, несколько осклабясь,
Встает – и свой объемлет посох. –
«Я токмо отдохну, – сказал...

679 «Не бойся! – старец речь пресек,

вм.682– Но есть теперь во мне особо,
684 Что выразить я не могу;
Оно меня зовет на скат

700–701 ⟨*нет*⟩

725 Так рек он, – и повлекся. –

768 «О Боже мой! – *Мурза* рыдает, –

784 Ах! знать я скоро ввек усну.

814 Увы! – *Алла* не позволяет

между 822 и 823 Скажите им, что в бодром ПАВЛЕ
Бессмертный ПЕТР встает из мертвых

854 Приусугубили свой стон

вм.856–899

1 ПАСТУХ

О дщерь *Киммерии* цветущей? –
Кто там лежит на мшистом скате? –
Краса и слава музульман! –
Как? – как оставил мир *Омар,*
Омар любезный и почтенный? –
Он кончил странствие навеки! –
Покой его душе да будет!

2 ПАСТУХ

О сын *Исмаила!* – внемли! –
Когда других иссохший прах
Развеется в шумящих вихрях,
Тогда его пребудет имя
В сердцах *исмаильтян* бессмертно; –
Покой его душе да будет!

1 ПАСТУХ

Сие долг службы обязует,
Чтоб и усопшим мы друзьям
Осталися еще друзьями. –
Он сей лишь жертвы с нас взыскует;
Покой его душе да будет!

МУРЗА

Итак, друзья, и вы, пришельцы!
Оставим пение толь слезно –
И подкрепим себя мы сном! –

Но завтра, – как румяно утро
На рощи спустится сосновы,
Положим мрамор здесь, – на месте;
А там воздвигнем монумент! –
О вождь мой! – ты того достоин! –
Покой твоей душе да будет!

901–912 ⟨*нет*⟩

⟨ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ⟩[1]

14 О коих столько ты тужил!

20 Свинцовый скипетр потрясать.

42 *Мамай*, из *Перекопа* мчась

158 В вред сим простым народам вод.

171–172 В осенни мрачны дни в *Эвксин*.
При тихих сих водах блестящих

175 Что служит эхом для цветов

220–221 Еще не сильны разбудить
Моих теперь вздремавших чувств

263–264 Другая *Стиксовые* токи
Иль крокодиловы крутит.

271 Который, зыбля непрестанно

276 И вымышляет тайны ковы

287 Но *зависть* льет на пуховик

---

[1] Седьмая и восьмая песни «Херсониды» составляют в «Тавриде» одну седьмую песнь.

293-294 *Алекта* воплощенна! – долго ль? –
Ах! – долго ль прогорит твой факел?

330–339 ⟨*нет*⟩

340 Тут, – мнится, что она падет

345–346 И зависть, у самой себя
Средь ночи крадущую сон.

353 Котора так, как и другие

365–367 А вид *Таврического* дня
От нас теперь закрылся в мраке. –
Престань же петь сей летний день!

371 Твоею перевязью твердой

381 Простит мои здесь преткновенья

вм.385–386 Дрожать и медлить при труде,
Что кроет новы тоны муз,
Еще не порожденны инде?

397 Как белокурая красотка

400 *Природа*, как моя *Зарена*

406–407 Обширный холм – темно-янтарный
Под тихой бездною растет!

410–412 Какое серебро струится
В волнистом светлом сем столпе,
Упадшем, – мнится мне, – в пучину?

435 Но нужная внутри *Дражимость*

483–487 Тогда пылающее сердце
Подобится плавильной пещи
При чтении лишь нежной песни
В честь некиим бровям прелестным.
Нужна подруга; – что же медлить?

497 Ах! – веришь ли, как сердце бьется?

510 Возлюбленной своей *Лаисы*

523–531 Се! – мирт расцвел! – се! – лавр растет! –
Что медлить? – время лавры жать! –
Уже блистают над главой
Кипящие часы лет пылких
Другая страсть в крови пылает;
Палящий чести зной горит
И раскаляет скромный дух. –
Забыв, что истинно блаженство
Внутрь сердца трон свой основало

551–552 Дает свою роскошну руку
И разверзает нежно лоно

630–631 Ты тщишься ложным толком слов
Сии черты небес изгладить! –

691 Сиротски слезы проливают

721 *Она прекрасный цвет,* – не вопят.

750 Сидеть на страшном сем холме

758–759 Отцев, – супруги – иль любезной, –
Или залогов сердца, – или друга

771 Которая на башне стонет

797 Дабы опять преобразиться

833–834 Ко входу моея души
Сии крутые вихри ада!

876–885 ⟨*нет*⟩

901–908 ⟨*нет*⟩

912 Дрожит как сребреная точка!

вм. «Имна
Царю царствующих»

ИМН

К Тебе, – которого всесильно
И непреложно мановенье
Колеблет球 основанья мира,
Колеблет тяготу *Кавказов,*
Возносит или клонит долу
Весы тяжелы дольних царств, –
К Тебе, – Царю земных царей! –
Преклонше робкие колена
Во ужасе благоговейном,
Дрожащу арфу повергаю
Из длани трепетной моей!

Се! – *Херсонис* благословенный! –
Что древле был он? – что теперь? –
Ничто, – как малый мир в вселенной. –
Твой живоносный дух парил
Над полуостровом сим юным, –
Когда он древле в черном чреве
Кипящей бездны созревал;
Твоя пернатая *Любовь*
На крыльях нежных голубиных
Летала над пленой его
И теплотворной тенью их
Его в пучине согревала; –

Согрела; – он из мрачной бездны
С гордыней юности исшел
Во образе амфитеатра;
А Ты, – а Ты покрыл его
Пурпуровой денницей счастья.

Твоя десница благостынна
Во изобильи насадила
Сии тенистые леса
И многоцветны вертограды,
Сии багряны винограды
И исполинные раины,
Сии смоковницы роскошны
И доброплодные маслины,
Сребристы тополы и тисы
И присноцветну зелень лавров. –
Но в те ужасны времена,
Когда он из златого века,
Увы! – в железный низвергался,
Где звукнул в первой раз металл,
Где плоть и кровь у всех растлелась,
Где брат не брат – и друг не друг,
И где на кротких чадах мира
Оливные венцы бледнели;
А изверги в бронях ужасных
Или в доспехах громозвучных
Противу братий ополчались;
Твоя багреюща десница,
Потрясши зыбкий молний сноп,
Поколебала в основаньях
Сии камнистые хребты,
Воздвигла долу тяжки трусы,
Что, в царстве заревев подземном,
Глотали утлы чресла гор;
Или повсюду разлияла
Иноплеменников потоп,

Исторгшийся из темных недр
Кавказских седоглавых гор.

Когда же кротко покатился
Тот светлый полдень тишины,
Тот век блаженный над холмами,
Как примиренны небеса
Спустили благодатну росу
На злачные сии долины;
Твое ж вседетельное *Слово*
Во основаньи утвердило
Краеугольный камень свой,
Дабы вовек не потряслись
Сии незыблемы скалы;
И как в владыках бесподобный, –
В войне и мире велемудрый
Внук *Ольги* мудрой и прекрасной,
Одеян в пренебесный свет,
Твое, – предвечная любовь! –
Влиянье ощутил в струях
На *Херсонисских* берегах. –
Ты, – Боже! – погасил навек
Среди клокочущих горнил
Сей пламенник подземных бездн;
Перуны раздраженны тамо
Крутых брегов не потрясали;
А люта *свара* не махала
Свой факел, бранию возженный,
Среди трепещущих полей;
Тогда лук сильных изнемог;
Тогда врагов сотерся рог.

Но время скоропреходяще
Картины в мире пременяет;
И кажда вещь свой век имеет; –
Гнездящееся зло во мраке

Еще те вежди разжимало,
Которы, быв сомкнуты слабо,
При первом зове отзывались;
А хитроокий грех, восстав,
Прохлады взыскивал себе.
Князь тьмы, – плотоугодный князь
Носил повсюду и лелеял
Его в своем пушистом лоне. –
Тогда, – тогда десница мести
Еще своим бичем свинцовым
Богопротивных поражала.

Высокоцарствуяй! – ужель –
Сия пениста колыбель,
Сия клокочущая бездна,
Где в юности сей край почил,
Воздвигшись паки, заревет
И будет водосланым гробом,
В котором некогда взрыдают
Сии скалы, сии долины? –
Ужели кровожадна свара
Возвысит меж *сарматских* полчищ
Еще железный копьев лес? –
Ах! – удержи еще
Бразды бурливой сей судьбы! –
Простри дугу ты хризолитну!
Простри с высот свой желтый пояс
И препояши чресла гор
Невинной радостью и миром? –
Расторгни ухищренны ковы
Исчадий изуверных *галлов,*
Друзей злобожных *агарян,*
И предвари высокой мышцей
Конец строптивых правил их,
Да шум кровавых волн *Секваны*
Не отзовется в сих брегах! –

Благоволи, – да Ангел мира
Над каждым холмом воспарит
И, сенью крыльев оградя,
На здешних водворит долинах
Возлюбленную тишину! –
Да лиры златострунной гул
Раздастся меж холмов зеленых
И дивно дружество твердит
Гостей чудесных *Херсониса,*
Ореста с *Пиладом* любезным
И славу чад *Агамемнона!*
Да труд, – источник полной лихвы, –
На искривленный плуг облегшись,
Ведет бразды всегда по нивам
И чреватеющей природе
Различными плодов родами
В тенях цветущих вертоградов
Десницу помощи подаст! –
Но паче же, – небесный отче! –
Восстанови святое царство
Трех дщерей горнего Сиона,
Надежды, – веры – и любви! –
Пусть истина, – как солнце правды, –
Свою поставит вечну стопу
На сгиб мечтательной луны!

О Ветхий деньми! – удостой
Навеки сей счастливый край
Божественной своей усмешкой
В благословенны ПАВЛА дни,
Да *Таврия* в восторге духа
Тебя в нем славословит вечно!

Приложения

В.Л. КОРОВИН
Поэзия С.С. Боброва и русская литература в конце XVIII – начале XIX в.

Литературная известность Семена Сергеевича Боброва (1763–1810) была непродолжительной, но довольно громкой. В 1800-е годы он почитался одним из крупнейших поэтов, который «отворяет новую дверь в российскую поэзию»[1]. Он поражал возвышенностью и мрачностью своих творений, напоминавших, с одной стороны, о «певце ночей» Эдварде Юнге, а с другой – о «русском Пиндаре» М.В. Ломоносове (язвительный князь П.А. Вяземский однажды присвоил Боброву каламбурное прозвище «полночный Пиндар»), но более всего – страстью к изобретению, духом эксперимента, часто оборачивающегося попранием «правил вкуса»[2]. Одни восхищалисьего «отвагой» и глубокомыслием, другие пеняли на «грубый слог» и малопонятность, но говорили они об одном и том же. Оппоненты видели недостатки именно там, где почитатели находили достоинства. Отношение к новаторской, преимущественно «высокой» поэзии Боброва определялось не столько личными вкусами ценителей, сколько их отношением к литературной борьбе начала XIX в., прежде всего – между карамзинистами и приверженцами «старого слога».

---

[1] *Александровский И.Т.* Разбор поэмы «Таврида» // *СВ*. 1805. Ч. 5. Март. С. 301.

[2] «Гений Боброва, своевольный, необузданный, презирал все почти правила вкуса. В его творении часто встречаются картины чудовищные, мысли странные – словом, все причуды одичалого воображения. Желая изумить парением, смелостию, он часто падает; желая тронуть – смешит. ⟨...⟩ Он был дурной Переводчик собственных своих мыслей; но и в дурном переводе мы узнаем иногда красоты отличного Поэта» (*Крылов 1822*. С. 462–465).

Юный С.П. Жихарев, будущий арзамасец, в разговоре с Н.И. Гнедичем досадовал на странные вкусы старика Г.Р. Державина: «Он в восторге от Боброва, а кто ж не знает, что такое Бобров»[3]. Собеседник не возражал. В уточнениях, «что такое Бобров», не было необходимости: это поэт, лишенный чувства меры и изящного вкуса – важнейших элементов новой карамзинистской культуры, основывающейся на неукоснительном соблюдении ряда норм. В общественной жизни это была совокупность правил поведения светского человека, в области поэтики – средний слог, умеренная эмоция, ясность, отсутствие прямолинейной дидактики, гармонизация претворяемой в образы действительности и др. В стихах, как и в обществе, ценились легкость и изящество и осуждались любые крайности, в том числе крайности самого «нового вкуса». Смелость, полет воображения, «картинность», экспрессия, богатство языка и прочие свойства высокой лирической поэзии, ценимые Державиным, в глазах карамзинистов являлись сомнительными достоинствами, а в сочетании с пристрастием Боброва к «ужасным сценам Натуры», постоянно демонстрируемой ученостью, погруженностью в серьезные религиозно-философские и историософские вопросы и, наконец, немалым объемом его сочинений – превращались в вопиющий пример порочности отвергаемой ими художественной системы (в главных чертах близкой к эстетике барокко). В начале XIX в. он являлся самым ярким ее представителем и неизбежно становился мишенью пародий и эпиграмм. В годы деятельности «Арзамаса» (1815–1817) за уже покойным Бобровым прочно утвердилась репутация «сумбуротворца», тяжелого и бессмысленного поэта, и прозвище, данное ему К.Н. Батюшковым в 1809 г., – «Бибрис» (от лат. bibere – пить) – было известней его сочинений.

В начале 1820-х годов, в ситуации кризиса «элегической школы» Жуковского–Батюшкова, интерес к Боброву, в особенности к его поэме «Херсонида», возобновился. Вновь

[3] *Жихарев С.П.* Записки современника. М.; Л., 1955. С. 421 (Лит. памятники).

явились апологеты его поэзии (А.А. Крылов, В.К. Кюхельбекер), трактовавшие ее в рамках категории «возвышенного»[4]. Ею заинтересовался Пушкин в период своей южной ссылки (реминисценции из Боброва обнаруживаются в «Бахчисарайском фонтане», «Евгении Онегине», «Медном всаднике» и др.). Но бурное развитие романтической словесности в 1820–1830-х годах и последовавшая экспансия прозы, целиком приковывая к себе внимание публики, мало способствовали интересу к литературным явлениям недавнего прошлого. Высокая одическая поэзия Ломоносова и Державина воспринималась как школьная рутина, но все же сохраняла для читателей романтической эпохи определенную историческую и культурную ценность (как и в целом литература XVIII в.). Бобров, «прогремевший» своими творениями в 1800-х и высмеянный в 1810-х годах, т.е. почти «вчера», исторической ценности тогда не представлял и был обречен на забвение.

Надолго он был оставлен не только читающей публикой, но и историками литературы. Парадоксальным образом от полного забвения Боброва спасли эпиграммы, когда-то сыгравшие роковую роль в становлении его литературной репутации. В конце XIX в. автор статьи о нем для словаря С.А. Венгерова констатировал: «Литературная известность Боброва и его оценка основывается на двух эпиграммах кн. Вяземского 〈...〉 и на 〈...〉 эпиграмме К.Н. Батюшкова.

---

[4] В.К. Кюхельбекер оправдывал «незрелость» творений Боброва их «величием»: «Таков был некогда Бобров – поэт, который при счастливейших обстоятельствах был бы, может быть, украшением русского слова, который и в том виде, в каком нам является в своих угрюмых, незрелых, конечно, созданиях, ознаменован некоторым диким величием» (*Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 493 (Лит. памятники)). Ср.: «Бобров был рожден для высокой лирической поэзии: талант его оказывается в полном блеске везде, где требуется сила мысли, порыв чувства. 〈...〉 Но Боброву совершенно недоставало элегической нежности: он умел описать бурю в природе, а не страдания собственного сердца» (*Крылов 1822*. С. 427–429).

⟨...⟩ Они утвердились в курсах истории русской литературы как меткий приговор Боброву, а предмет суда таков, что никому и в голову не придет подать апелляцию за несчастного поэта»[5].

О нем вспомнили только в начале XX в.[6] Поэзия Боброва, проникнутая духом эксперимента, не могла тогда не вызвать ассоциаций со всевозможными экспериментами поэтов-модернистов рубежа XIX–XX вв. Однажды его прямо назвали «прадедушкой наших декадентов-символистов»[7], что сегодня, вопреки намерениям автора этой формулы, едва ли звучит как негативная характеристика.

1

Семен Сергеевич Бобров родился в семье священника в Ярославле в 1763 г.[8], учился в духовной семинарии в Москве (скорее всего, при Заиконоспасской академии с 1772 г.), в

---

[5] *Мазаев М.* С.С. Бобров // *Венгеров С.А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1895. Т. 4. Отд. 1. С. 59.

[6] Первыми к изучению его поэзии всерьез обратились С.В. Браиловский, И.Н. Розанов и Л.В. Пумпянский. На сегодняшний день творчеству Боброва, «самого значительного из "архаиков"» (История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 292), посвящен ряд авторитетных исследований (М.Г. Альтшуллера, Л.О. Зайонц, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и др.). Имеются и переиздания (в составе сборников) избранных его стихотворений (см. преамбулу к примечаниям в первом томе наст. изд.).

[7] *Чтец* ⟨*Энгельгардт Н.А.*⟩ Пушкин и Бобров // Новое время. 1900. № 8855, 21 октября. С. 6. Ср. также замечание М. Мазаева о его «причудливых оборотах речи»: «Если попытки Боброва казались смешными его современникам, то не напоминают ли они, с другой стороны, реформы поэтов-символистов наших дней?» (*Мазаев М.* Указ. соч. С. 61).

[8] По другим данным – в 1765 г. Основные биографические источники о Боброве: послужные списки для Черноморского адмиралтей-

1780 г. был принят в гимназию при Московском университете, а в 1782 г. произведен в студенты. В июле 1785 г. окончил университет и получил чин губернского секретаря.

Пребывание Боброва в университете пришлось на время деятельности в его стенах московских «мартинистов», направляемой прибывшим из Германии И.Г. Шварцем, а после его смерти в начале 1784 г. – Н.И. Новиковым. В частности, их стараниями в марте 1781 г. было открыто «Собрание университетских питомцев», куда вошли склонные к литературным занятиям студенты, в июне 1782 г. – Переводческая семинария, в ноябре 1782 г. – Дружеское ученое общество (неофициально существовало с 1779 г.)[9]. Бобров входил и в число «университетских питомцев», и в число воспитанников Переводческой семинарии и Дружеского ученого общества. Для последних был куплен особый дом у Меньшиковой башни в Кривоколенном переулке, где рядом с Бобровым проживали А.М. Кутузов, М.И. Невзоров, А.А. Петров, Я. Ленц, позднее Н.М. Карамзин и др.

В университете он, по свидетельству М.И. Невзорова, «учился языкам латинскому, французскому, немецкому и аглинскому, сверх того, как он имел знакомство с людьми, которые, сами будучи охотниками до учености и истинного просвещения, старались доставлять способы и другим пользоваться плодами его, то он имел случай читать книги хорошие на

ского правления от 1796 г. (*РГАВМФ*. Ф. 406. Оп. 7. Ед. хр. 48. Л. 795–796) и Комиссии по составлению законов от 1804 г. (*РГИА*. Ф. 1260. Оп. 1. Ед. хр. 900. Л. 36–37) и воспоминания М.И. Невзорова (*Невзоров 1810*). Некоторые факты устанавливаются из самих сочинений Боброва. Например, место рождения и возраст, в котором он оказался в Москве (девять лет), известны только из автобиографического стихотворения «Выкладка жизни бесталанного Ворбаба» (№ 199 наст. изд.). Подробней об этом и других приводимых в данной статье фактах его биографии см. в кн.: *Коровин 2004*.

[9] См.: *Вернадский Г.В.* Русское масонство в эпоху Екатерины II. Пг., 1917. С. 208–210.

разных языках, особливо касательно нравственности и истинного познания Натуры, из которых он много заимствовал и материи и вкусу. Литература ему нравилась более аглинская»[10].

«Охотники до истинного просвещения» – это, очевидно, И.Г. Шварц, Н.И. Новиков, А.М. Кутузов, И.В. Лопухин и др., входившие в верхушку розенкрейцерского ордена в России[11]. Их влияние на умы юношества было серьезным и целенаправленным. Сверстники и соученики Боброва, А.Ф. Лабзин и М.И. Невзоров еще на университетской скамье (в 1783 и 1784 гг. соответственно) стали членами масонских лож и впоследствии прославились как ревностные масоны-розенкрейцеры. Об участии Боброва в работах какой-либо ложи ни в это, ни в более позднее время нет никаких сведений. Напротив, можно констатировать его отчужденность впоследствии от этого круга, обусловленную как житейскими обстоятельствами, так и, видимо, идейными расхождениями. Полемика с идеологией московских розенкрейцеров, отчетливо недоброжелательные намеки на них содержатся в его главных произведениях – в «Херсониде», в сатирическом описании ордена дервишей, и в «Древней ночи вселенной» – в рассказе о злонамеренных выдумках египетских жрецов. Однако в университетские годы круг чтения и интересов Боброва, конечно, во многом определялся масонским окружением.

На формирование его как поэта повлияла поэзия Эдварда Юнга, чьи «Ночные размышления» («The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality», 1742–1745) пользовались большим уважением «мартинистов». Прозаический перевод поэмы, выполненный Кутузовым с немецкого, был опубликован в первом масонском журнале Новико-

[10] *Невзоров 1810*. С. 126–127.

[11] Директория российских розенкрейцеров была учреждена в конце 1782 г., после возвращения Шварца из заграничной поездки (см.: *Вернадский Г.В.* Указ. соч. С. 69).

ва «Утренний свет» в 1778–1780 гг., а в 1785 г. вышел отдельным изданием[12]. Бобров явился одним из первых в русской поэзии подражателей Юнга и, пожалуй, самым значительным. Его влияние более всего заметно в ранних стихотворениях Боброва, причем, как показала Л.О.Зайонц, ориентировался он тогда премущественно на лексику и стиль перевода Кутузова[13]. Влияние Юнга ощутимо и в позднейших его сочинениях, но уже не является доминирующим.

Первым выступлением Боброва в печати стало религиозно-дидактическое стихотворение «Размышление на первую главу Бытия»[14]. Оно было опубликовано в журнале «Покоящийся трудолюбец», где печатались труды «университетских питомцев», на почетном месте – в начале очередного номера. Этой публикации, сразу поставившей автора в число самых многообещающих университетских стихотворцев, содействовал Херасков. Для «Рассвета полночи» Бобров переработает стихотворение почти до неузнаваемости (№ 100 наст. изд.) и сопроводит примечанием: «Это первое в жизни произведение моей музы и первая дорога к Парнасу, особенно показанная ей нынешним героем российской поэзии М⟨ихаилом⟩ М⟨атвеевичем⟩ Х⟨ерасковым⟩». Роль последнего не ограничивалась содействием публикации. Видимо, именно Херасков, который вообще любил покро-

---

[12] «Плач Эдварда Юнга, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии, в девяти нощах помещенные; с присовокуплением двух поэм: 1) Страшный суд, 2) Торжество веры над любовию, творения сего же знаменитого писателя». 2-е изд. Ч. 1–2. М., 1785. Приложены к изданию переводы ранних его поэм: «The Last Day» (1713) и «The Forse of Religon, or Vaniquished Love» (1715).

[13] См.: *Зайонц 1985*. Ср.: *Альтшуллер 1988; Левин 1990*. С. 198–200.

[14] *ПТ*. 1784. Ч. 2. С. 1–5. В этом первом произведении Боброва можно усмотреть полемику с гностическими взглядами розенкрейцеров на происхождение мира как последовательность эманаций Божества, которые Шварц излагал в своих лекциях (см.: *Коровин 2004*. С. 14–15).

вительствовать молодым талантам, внушил Боброву уверенность в своих силах и поощрял его поэтические упражнения. В позднем, посвященном Хераскову стихотворении «Успокоение российского Марона» (1805) Бобров вспомит о его покровительстве с благодарностью:

Я долго в юности безвестной
Еще во тьме себя не знал;
Мой спящий *Гений* в сфере тесной
Едва ль когда б из ней восстал;
Он век лежал бы в прахе скрытый.

⟨...⟩
Тогда *Марон* сей мне явился
Аланских песней божеством;
Никто, – лишь он с улыбкой тщился
Мне указать небесный холм;
Он сгиб души моей раскрыл.

Так, – я сперва ему обязан,
Коль мой соотчич внемлет мне;
И чести знак мне им показан,
Коль не стыдит чело мое
Священных ветвей от дубравы.

(№ 264, ст. 66–86)

В «Покоящемся трудолюбце» появились еще три стихотворения Боброва: «Осень», «Любовь» и «Ночное размышление» («Уже в проснувшемся другом земном полшаре...»)[15]. Вместе с первым его стихотворением они образуют определенный цикл: творение мира и человека («Размышление на первую главу Бытия») – блаженная весна Адама, грехопадение, подчинение человека времени и смерти («Осень») – спасительное действие Любви в истории вселенной («Любовь») – конечная катастрофа, явление новой земли и нового неба («Ночное размышление»). Последовательно

[15] *ПТ*. 1785. Ч. 3. С. 170–174; Ч. 4. С. 129–134, 138–142 (2-е ред. см. соответственно № 105, 108 и 101 наст. изд.).

изложен весь цикл священной истории (сознательность работы над этой темой подтверждается порядком публикации стихотворений в журнале[16]). В религиозно-философском отношении на этих стихотворениях лежит печать масонских воззрений (несмотря на элементы полемики с ними), в поэтическом – Бобров ориентируется на Юнга. При этом показательно, что уже с первых своих шагов на литературном поприще Бобров обнаруживает приверженность к исторической и религиозно-философской тематике, а также склонность к масштабным эпическим замыслам, которая сполна даст себя знать впоследствии.

К этому циклу примыкает стихотворение «Действие и слава зиждущего духа», появившееся в «Собеседнике любителей российского слова»[17]. Здесь речь идет о действии Промысла в истории России, и решается эта тема в оптимистическом ключе гражданских од М.В. Ломоносова: «зиждущий дух» возводит города, осушает болота, спасает «правления корабль славянов бранный», давая ему «кормило» – «варяжских витязей», действует в святом князе Владимире, Иоанне IV, Петре I и, наконец, в Екатерине II. Неустроенная, непросвещенная страна возрастает, крепнет и просвещается: «Блаженна та страна, где есть творящий дух». Однако просветительскому оптимизму по поводу будущего России сопутствуют – в написанных тогда же стихотворениях – мрачные юнгианские раздумия о судьбах мира и поврежденности

---

[16] Речь идет именно о первых редакциях этих стихотворений. В «Рассвете полночи» они значительно изменены и включены в иные связи: № 100 и 101 о творении и кончине мира открывают третью часть собрания; № 105 («Осень» 1-й ред., переименованная «Осенние мысли о четырех возрастах») соотнесена с предшествующими «Весенними мыслями при повороте солнца» (№ 104), причем усилено дидактическое начало; № 108 («Любовь» 1-й ред., переименованная в «Царство всеобщей любви») замыкает весь ряд религиозно-философских стихотворений в третьей части «Рассвета полночи».

[17] Собеседник любителей российского слова. 1784. Ч. 12. С. 3–7 (2-я ред. № 36).

человеческой природы, более характерные для раннего творчества Боброва (позднее он будет сталкивать эти разнонаправленные, «ломоносовские» и «юнгианские» эмоции в пределах одного текста, добиваясь особого эффекта, – см., например, «Столетнюю песнь», № 1, и мн.др.).

Первые пять стихотворений Боброва, отмеченные ярким своеобразием стиля, положили, казалось бы, удачное начало его литературной карьере. Одно из них открывало предновогодний номер «Собеседника любителей российского слова», к изданию которого была причастна сама императрица, а это был знак признания поэта за пределами кружка «мартинистов». Он имел все основания рассчитывать на успех в столице. По окончании университета Бобров еще некоторое время сотрудничал в журнале «Детское чтение для сердца и разума»[18], который редактировали Н.М. Карамзин и А.А. Петров; по поручению Новикова исправил «с английского подлинника» сделанный прежде с французского языка перевод романа Э.-М. Рэмзи «Путешествия Кира» («Travels of Cyrus...», 1727)[19]; и уже в первой половине 1786 г. перебрался в Петербург.

Здесь поначалу Бобров сотрудничал в качестве переводчика в журналах «Новый Санктпетербургский вестник» и «Зеркало света» (самый объемный его труд в это время – перевод «Диалогов мертвых» Дж.Литтлтона («Dialogues of

---

[18] По свидетельству Невзорова, Бобров в «Детском чтении» печатал «маленькие пиесы прозою и стихами» (*Невзоров 1810*. С. 127). Вероятно, имеются в виду переводы. Какие именно материалы в журнале принадлежат Боброву, не установлено.

[19] Новая Киропедия, или Путешествия Кировы с приложенными разговорами о богословии и баснотворстве древних, сочиненные г-ном Рамзеем, с французского на российский язык перевел Авраам Волков. Изд. 2-е, исправленное с английского подлинника. Ч. 1–2. М., 1785. В 1786 г. роман был внесен архиепископом Платоном (Левшиным) в список «сумнительных» книг и изъят из московских книжных лавок вместе с некоторыми другими изданиями Новикова (см.: *Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 36).

the Death», 1760), изданный в 1788 г. дважды – в полном и сокращенном вариантах[20]), а в октябре 1787 г. определился на службу в Герольдию при Сенате.

Вероятно, сразу же по приезде в столицу он вошел Общество друзей словесных наук, учрежденное в 1784 г. как «часть нераздельная Общества университетских питомцев»[21]. Бобров, как «университетский питомец», членом Общества, согласно его уставу, становился автоматически. Близкий его друг в это время – Павел Павлович Икосов (1760–1811), один из учредителей Общества, знакомый Боброву еще по университетской гимназии, где тот, будучи студентом, в 1780 г. надзирал за казенными пансионерами. Икосову адресовано по меньшей мере три стихотворения, вошедшие в «Рассвет полночи» (№ 112–114). Тот, в свою очередь, к дню рождения Боброва сочинил – в форме пародии на ломоносовское «Письмо о пользе стекла» – «Письмо похвальное пуншу. К господину Н..., писанное от приятеля его в стихах» (СПб., 1789)[22].

Тогда же Бобров познакомился с А.Н. Радищевым, посещавшим заседания Общества друзей словесных наук. Знакомство это не было мимолетным: находясь на юге, в конце 1790-х годов, он будет пересылать ссыльному Радищеву свои сочинения (см. ниже).

В 1789 г. Общество друзей словесных наук издавало журнал «Беседующий гражданин». Здесь появился один пе-

---

[20] Беседы душ великих и малых людей, сочинение Литтельтона. С англинского. СПб., 1788; Любопытные разговоры в царстве мертвых. Из сочинений англинского писателя Литтельтона. СПб., 1788. Обе книги вышли «на иждивении» П.И. Богдановича. Избранные диалоги печатались в издававшемся им «Новом Санктпетербургском вестнике» (1786).

[21] «Устав Общества... 1784 года» // *Бабкин Д.С.* А.Н. Радищев. М.; Л., 1966. С. 301.

[22] С изменениями перепечатано вместе с другим стихотворением Икосова в брошюре «Игра стихотворческого воображения» (СПб., 1799). См.: *Степанов В.П.* Икосов П.П. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 353.

ревод Боброва из английского «Зрителя»[23] и восемь стихотворений. Среди них – горацианская ода («Стихи на новый год к П.П. И⟨косову⟩»)[24], «Ода на взятие Очакова»[25], ода на смерть адмирала С.К. Грейга («Память о славном Грейге...»)[26], шуточное стихотворение («Ода старику, женившемуся на молодой девице в маие месяце»)[27] и перевод из А. Попа («Ода двенадцатилетнего Попе...»)[28].

Очевидно стремление поэта к освоению новых жанров и тем. С юнгианской традицией связаны лишь два стихотворения: ода «Судьба мира»[29] и новое «Ночное размышление» («Сквозь серые пары кропящи...»)[30]. В третьей части *РП* они помещены рядом, среди его первых, написанных в Москве религиозно-философских стихотворений. С Юнгом они связаны даже теснее, чем стихи в «Покоящемся трудолюбце». Так, «Ночное размышление», по наблюдению Л.О. Зайонц, «строится как своеобразное мозаическое полотно, собранное из “осколков” юнговских образов», а в «Судьбе мира» сама сюжетная ситуация – тень допотопного, «усопша» мира рассказывает о своем «свершенном роке» и предсказывает новому миру гибель в огне – подсказана Юнгом, причем первые две строфы являются довольно точным переложением его стихов, опирающимся на перевод А.М. Кутузова[31]. «Судьба мира» стала одним из самых известных среди современников сочинений Боброва и служила своего рода «визитной карточкой» поэта, закрепляя за ним репутацию

---

[23] «Пустые бредни о духах. С англ.» (*БГ*. 1789. Ч. 3. № 10. С. 178–186; ср.: The Spectator. 1711. № 12).
[24] *БГ*. 1789. Ч. 1. № 1. С. 91–93 (2-я ред. № 114).
[25] *БГ*. 1789. Ч. 2. № 5. С. 106–107 (2-я ред. № 38).
[26] *БГ*. 1789. Ч. 3. № 10. С. 188–190 (2-я ред. № 46).
[27] *БГ*. 1789. Ч. 2. № 5. С. 87–90 (2-я ред. № 202).
[28] *БГ*. 1789. Ч. 2. № 6. С. 170–171 (2-я ред. № 154).
[29] *БГ*. 1789. Ч. 1. № 4. С. 373–378 (2-я ред. № 106).
[30] *БГ*. 1789. № 12. С. 340–344 (2-я ред. № 107).
[31] См.: *Зайонц 1985*. С. 73–76, 80. Ср. примеч. к «Судьбе древнего мира» (№ 106).

мрачного провозвестника катастроф. Строки из этой оды цитировал Карамзин в программном стихотворении «Протей, или Несогласия стихотворца» (1798), указывая на чуждые изящному вкусу предметы вдохновения. Видимо, о ней же он вспоминал и в предисловии ко второй книжке «Аонид» (1797), осуждая пристрастие к «ужасным сценам Натуры». Так что вполне основательно Бобров тему потопа называл своим «неким отличительным почерком пера»[32].

Прочие его стихотворения в «Беседующем гражданине» – это опыты в разных жанрах, написанные по определенным поводам и в целом далекие от юнгианской традиции. Тематического цикла, подобного стихам в «Покоящемся трудолюбце», они не образуют. Зато в них прослеживается лейтмотив: это смерть, являющаяся в разных обличиях. Одно стихотворение так и озаглавлено: «Хитрости Смерти»[33]. Смерть воздвигает мятежи в природе, брани среди людей, «хитро» скрывает свой «ужас» «средь миртов», в обличиях Бахуса и Венеры. Сеющая раздоры и уничтожение, она рушит гармонию мироздания, подобно «древнему змию» в оде «Любовь». В других стихотворениях явлены особенные «личины» смерти: она смущает пирующих друзей («Стихи на новый год...»), приходит в бурном дуновении Божьего гнева на преступников («Судьба мира»), подбирается к старику брачном чертоге («Ода старику, женившемуся на молодой девице...»), «ристает» на бранном поле («Ода на взятие Очакова»), внезапно поражает после счастливо избегнутых военных опасностей («Память о славном Грейге...») и ждет своего часа, чтобы придти к укрывшемуся от света философу («Ода двенадцатилетнего Попе...»).

Эта сосредоточенность на теме смерти является оригинальной чертой Боброва, как и особая величавая «серьез-

---

[32] *ДНВ*. Ч. 1. Кн.1. С. 6.

[33] *БГ*. 1789. Ч. 2. № 8. С. 379–381 (2-я ред. № 116).

ность», которую он сохраняет даже в шуточном, «легком» стихотворении. Так, в «Оде старику, женившемуся на молодой девице в маие месяце» речь идет о состязании смерти и любви, решающем участь старика Беспута:

Смерть слепая начинает
Со слепым Эротом бой;
Темна туча стрел летает
Над седою головой;
Но Эрот одолевает
И ревущу смерть толка⟨ет⟩.

⟨...⟩
Все вопили, что в могилу
Наш Беспут уже сойдет,
Но, храня любовну силу,
Он с младой в чертог идет...
(*БГ*. 1789. Ч. 2. № 5. С. 89–90)

Любовь здесь не просто спутница жизни и молодости, но, как и в оде «Любовь», религиозно-философская категория – начало, сводящее воедино подробности бытия, залог мировой гармонии:

О любовь! – ты всюду дышешь,
Дышешь в роще, – средь полей,
И законы верны пишешь,
Где струе сойтись с струей...
(Там же. С. 7)

Переделывая стихотворение для «Рассвета полночи» (№ 202), автор «Беспута» назовет просто «стариком» (в заглавии – Седонегом), а «Эрота» почти всюду заменит на «любовь», подчеркнув тем самым отвлеченный философический смысл стихов. В результате звучание их станет более торжественным:

Смерть слепая начинает
Со слепой любовью бой... и т.д.

Однако при этом Бобров акцентирует и комичность ситуации («...старик, хотя чрез силу, гнясь дугой, в чертог бредет») и даже введет следующие «живописные» строфы:

Сивы волосы над оком,
Как усы, уж не висят;
Лишь седины неким клоком
Из ноздрей во тьме глядят.
  Тщетна тут щипцам работа;
  Вырастут – опять забота.

На челе хоть снег не тает,
Но в груди геенна ржет,
Где любовь, как печь, пылает, –
Точно как на Этне лед
  Сверху лоснит, будто камень,
  А внутри клокочет пламень.
    (№ 202, ст. 37–48)

Любовь, пылающая, как печь, и ржущая, как геенна, седины, выглядывающие во тьме из ноздрей, – вся эта вопиющая дисгармония сопутствует теме смерти и оправдана ею. Для Боброва смерть привлекательна не как подступ к нравоучению (что было типично для литературной продукции масонов), а именно как поэтическая тема, дающая простор фантазии, увлекаемой в область «возвышенного» и «ужасного», часто на самую грань «безобразного» или за нее[34]. Именно «смелостью» и «странностью» воображения стихотворе-

[34] Вот, например, одна из самых «остроумных» (вполне барочных) фантазий Боброва о смерти: «Когда чревата Смерть метальными шарами / Из строя рыщет в строй гигантскими шагами / И ищет, где родить из трупов в поле холм...» («Эпистола Его Сиятельству Николаю Васильевичу Репнину, знаменитому победителю за Дунаем при Мачине». СПб., 1793. С. 3). В «Рассвете полночи» строки о смерти, «рожающей» трупы, автор изменит, видимо, сам смутившись своей смелостью, однако «чреватость» ее «метальными шарами» оставит в неприкосновенности (см. № 44, ст. 25–28).

ния Боброва в «Беседующем граждание» запомнились столичной публике. Возможности выступать перед нею с новыми творениями в ближайшие десять лет он практически будет лишен.

В августе 1791 г. Бобров переехал на юг России[35]. Судя по его позднейшим поэтическим жалобам, это была неофициальная ссылка. Возможно, она как-то была связана с процессом над А.Н. Радищевым в 1790 г. или с гонениями на «мартинистов», но подтверждающих это фактов нет (к тому же Н.И. Новиков был арестован только в апреле 1792 г.). Как знак сочувствия к судьбе бывшего сотрудника по «Детскому чтению» можно было бы расценить публикацию Н.М.Карамзиным бобровского перевода из Горация в июльском номере «Московского журнала» за 1792 г. (см. примеч. к № 157). Однако она содержит разночтения с первой его публикацией в «Зеркале света» (возможно, исправленный текст был сообщен Карамзину самим автором еще в конце июля – начале августа 1790 г., когда тот, возвращаясь из европейского путешествия, проездом был в Петербурге). Об участи Боброва его московские знакомцы в 1792 г. еще не были осведомлены, но подозревали неладное. Карамзин в сентябре 1792 г. спрашивал у находившегося в столице И.И. Дмитриева: «Что нового в литературе? – В каком состоянии Бобров?»[36]

2

На юге Бобров провел девять лет (1791–1799). Поначалу его положение было неопределенным, а в марте 1792 г. он был официально «перемещен» в походную канцелярию Николая Семеновича Мордвинова (1754–1845), только что –

---

[35] Дата уточняется по стихотворению «Признательность Патриоту г. а⟨дмиралу⟩ М⟨ордвинову⟩» (№ 52). Год указан в Послужном списке *РГАВМФ*.

[36] Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 30–31.

22 февраля 1792 г. – назначенного командующим Черноморским флотом и портами[37].

В Мордвинове ссыльный литератор нашел надежного и влиятельного покровителя, известного своим неравнодушием к изящной словесности. Он несколько лет провел в Англии, женат был на англичанке и вообще славился «англоманством». Бобров, один из немногих тогда знатоков английского языка и литературы, уже этим мог привлечь благосклонность вельможи. В обращенных к нему стихах Боброва (№ 35, 52–59, 75–77, 79, 111, 259) он обыкновенно именуется «Патриотом» и «благотворителем». По ним можно проследить основные вехи служебной деятельности Мордвинова: присвоение звания адмирала в 1797 г. («Сонет награжденному Патриоту», № 55), опала и отставка при Павле I в 1799 г. («Чувствование при удаляющемся Патриоте», № 58), возвращение на службу при Александре I в 1801 г. («Воззвание Патриота к важнейшим подвигам», № 59) и др. Некоторые стихотворения адресованы его супруге – Генриетте Александровне, урожденной Коблей (1764–1843) (№ 73, 236). Согласно Послужному списку *РГИА*, Бобров сопутствовал Мордвинову в его первых инспекторских поездках по Черноморским портам (Николаев, Херсон, Одесса, Севастополь, Таганрог) и «разделял с ним труд в сочинении обстоятельных о том донесений к высочайшему лицу».

До осени 1794 г., за исключением разъездов, Бобров, видимо, проживал в Херсоне, где располагалось Черноморское адмиралтейское правление, а с конца 1794 до возвращения в столицу осенью 1799 г. – в Николаеве[38].

---

[37] О нем см.: *Иконников В.С.* Граф Н.С. Мордвинов. Историческая монография. СПб., 1873; Архив графов Мордвиновых. Т. 1–9. СПб., 1901–1903.

[38] Мордвинов с семьей обосновался в Николаеве осенью 1794 г. Официально адмиралтейское правление и Главная контора командира Черноморского флота были переведены из Херсона в Николаев в апреле 1795 г. Бобров в 1795 г. был зачислен в штат правления переводчиком, а через год, 25 августа 1796 г., «награжден чином капитана» (Послужной список РГИА).

Здесь ближайший круг его общения – семейство морского артиллериста Петра Федоровича Геринга (19.5.1760–22.10.1826)[39], владевшего имением близ Николаева. Вплоть до самой смерти Боброва Геринг и его жена Мария Юрьевна, урожденная Гамен (22.9.1768–26.6.1807), – постоянные адресаты его стихов, именуемые «Акастом» и «Люциндой». Бобров сочинял стихи на их отъезды и возвращения, на рождение и смерть детей, на успехи отца семейства по службе, на праздники, устраивавшиеся в их доме, и др. Из этих стихотворений составилась брошюра, изданная в 1800 г. в Николаеве: «Домашние жертвы, или Семейственные удовольствия» (известна лишь по названию[40]). В «Рассвете полночи» к семейст-

[39] О нем известно следующее: сын саксонского дворянина Фридриха фон Геринга, поступившего на русскую службу в 1757 г. в чине майора и бывшего какое-то время комендантом в крепости Св.Елисаветы. П.Ф. Геринг в чине майора артиллерии принимал участие в русско-турецкой войне 1787–1791 гг., 14.4.1789 г. был награжден орденом св. Георгия 4-й степени «За отличную храбрость, оказанную при атаке крепости Очаков»; служил в Херсоне и Николаеве; 20.2.1794 г. женился, в том же году из береговой артиллерии был переведен в артиллерийский батальон Черноморского гребного флота с чином подполковника и обосновался в Николаеве; с 1797 г. цейхмейстер Черноморского флота и генерал-майор; после опалы Мордвинова в 1799 г. некоторое время находился в отставке; с 1802 г. – в С.-Петербурге, генерал-цейхмейстер и член Адмиралтейств коллегии; в 1807 г. награжден орденом св. Анны 1-й степени; с 1810 г. в отставке в чине генерал-лейтенанта; отец шести дочерей и сына; предок поэта Александра Блока по мужской линии (см.: Петербургский некрополь. Т. 1. СПб., 1912. С. 580; *Доценко В.Д.* Морской биографический словарь. СПб., 1995. С. 116; *Старк В.П.* А.С. Пушкин. Родословные перекрестки с русскими писателями. СПб., 2000. С. 95). Небезынтересно отметить, что дочери Геринга Наталье (1797–1839; в замужестве Блок), будущей прабабке Блока, Бобров в 1799 г. адресовал одно стихотворение (№ 188).

[40] Книга числится среди разыскиваемых изданий (см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725–1800. Дополнения. Разыскиваемые издания. Уточнения. М., 1975. С. 65). Известно, что она небольшого формата.

ву Герингов, в том числе к их детям, обращено не менее 25 стихотворений (№ 60–72, 78, 85–86, 159–160, 162–163, 165, 182, 186–188, 239 и, возможно, др.). Еще четыре стихотворения появились позже (№ 280–282, 290, 296), последнее из них – на смерть «Люцинды». Геринг же в меру своих возможностей покровительствовал другу: в 1798 г., будучи уже генерал-майором, от имени автора преподнес Мордвинову посвященную тому «Тавриду», а в одном из некрологов Геринг упомянут как «покровитель творца Тавриды и благодетель оставленного им семейства»[41].

Годы, проведенные на юге, можно назвать временем творческого расцвета Боброва. Здесь написано более половины стихотворений, вошедших в «Рассвет полночи». Среди них – оды, стансы, песни, послания, идиллии, надписи, «кенотафии», малая эпическая поэма (№ 47), «драмматическая песнь» (№ 8), надгробная элегия (№ 49), «баллада» (№ 97), сонет (№ 55), детские и шуточные стихи, хоры для исполнения под музыку и множество стихотворений к случаю. Последние сочинялись как для домашних праздников в семействе Герингов, так и для общественных увеселений – балов, маскарадов, кавалькад, которые Мордвинов часто устраивал для своих подчиненных[42]. Светская жизнь для Боброва, человека «скромного и уединенного» (по выражению Невзорова), была внове, однако соответствующие поэтические темы он разрабатывал добросовестно. Оставаясь верным себе – в парадоксальной форме. Так, в послании к Г.А. Мордвиновой – «К покровительнице общего благородного увеселения на новый год» (№ 73) – тема легких светских удовольствий дана в виде нравоучения:

Пусть грубый *нелюдим* в уныньи истлевает!
Пусть взор презорчивый в *храм вкуса* простирает,

---

[41] Вестник Европы. 1810. Т. 51. № 11. С. 246.
[42] См.: *Мордвинова Н.Н.* Воспоминание об адмирале графе Н.С. Мордвинове и о семействе его. СПб., 1873. С. 23.

Где мир с утехою, невинность с простотой
Теснятся вкруг тебя, вступают в лик с тобой,
Где скромны *грации* венок из роз сплетают
И, строя хоровод, чело твое венчают!
Мы здесь, покорствуя законам естества
И благо жизни сей чтя даром божества,
Не должны ль томной дух *отшельническ* оставить
И вкусу нежному сердечный трон поставить?

Житейские обстоятельства Боброва мало располагали к веселью: он был одинок, беден и не забывал о своем положении. Единственный бытовой документ этого периода – письмо к Мордвинову на новый 1795 г. – и приложенное к нему стихотворение (см. «Песнь несчастного на новый год к благодетелю», № 111, и примеч.) свидетельствуют о крайнем душевном упадке. «Песнь несчастного...» по форме и содержанию дублируется не вошедшей в «Рассвет полночи» «Осенней песнью сетующего на берегах Буга 1794 года» (№ 278). В обоих стихотворениях варьируется мотив преследований рока, причем центральные строфы перекликаются почти дословно:

«Осенняя песнь...»
Рок, о рок! – почто сурову
Рано желчь подносишь пить?
Рок не внемлет; желчь готову
Поспешает в сердце влить.

«Песнь несчастного...»
Рок, о рок, – почто толь рано
Ты мне желчь подносишь в дар?
Неужель на свежу рану
Свежий мне даешь удар?

Вообще, стихотворения автобиографического характера (такие у Боброва появились только на юге) изобилуют жалобами на судьбу. Самочувствие изгнанника запечатлено, например, в балладе «Могила Овидия, славного любимца муз» (№ 97), написанной не позднее 1798 г. Она построена в форме беседы современного «унылого певца» с тенью римского поэта, являющейся в «пыльном столпе». «Тень Назона» рассказывает о кровопролитной борьбе Октавиана за власть и своем незаслуженном изгнании и убеждает «унылого певца» искать утешения лишь «*там*», за пределом земной

жизни, поскольку перед лицом смерти напрасны усилия смертных, равны гонитель и его жертва.

Ночь всех равняет неприметно.

Судьба Овидия, погребенного в безвестной могиле, где «чуждый народ» топчет его прах, обращает мысли автора к собственной участи:

Судьба! – ужли песок в пустыне
Меня засыплет так же ныне?

Эти строки отделены от текста стихотворения, написанного шестистишными строфами, и выделены курсивом. Двойное выделение имеет целью обратить внимание на их скрытый, не выраженный прямо смысл: Бобров говорит о своем изгнании и своей «слезной судьбе».

Существенно, что он не просто усмотрел аналогию между судьбой изгнанника Овидия и своей собственной, а сделал из нее поэтическую тему, явившись в этом непосредственным предшественником Пушкина. Осознание этой аналогии побудило Боброва к изучению текстов Овидия, в особенности «Скорбных элегий» и «Писем с Понта». Аллюзии на них, цитаты, переложения целых фрагментов в значительном количестве встречаются в «Тавриде» (примеры см. в наших примечаниях к «Херсониде»). Характерно, что реминисценции и цитаты из «Метаморфоз», более известных и популярных в России XVIII в., в стихах Боброва встречаются реже. Позднее в качестве эпиграфов он использует строки из «Любовных элегий» (ко второй части «Рассвета полночи») и «Фаст» (№ 110, 273, 292). По образцу первой книги «Фаст», как беседа поэта с двуликим Янусом, построена открывающая «Рассвет полночи» «Столетняя песнь...» (№ 1).

Вообще, с 1790-х годов Овидий для Боброва – любимейший из римских поэтов и чаще всего цитируемый. Это еще одна из его своеобразных черт, поскольку в современной ему поэзии Вергилий и в особенности Гораций, истолкованный

как эталон безыскусной чувствительности и простоты, были гораздо более актуальны.

В целом интерес Боброва к античности находился в русле общеевропейского литературного движения в конце XVIII – начале XIX в., когда пытались понять и освоить подлинную классическую древность, не опосредованную рецепцией французского классицизма. Т.е. классическая (точнее, неоклассическая) настроенность Боброва питалась новейшими литературными веяниями. В той же балладе «Могила Овидия...», в ее меланхолическом настроении, унылом приморском пейзаже и самом явлении тени древнего поэта-изгнанника очевидно влияние «Песен Оссиана» Дж.Макферсона. В переводе Е.И.Кострова они вышли в 1792 г.[43], и одно заимствование из него в «Херсониде» было отмечено уже современной Боброву критикой[44]. Влияние оссианической поэзии заметно и в других его стихах – например, в идиллии на смерть светлейшего князя Г.А. Потемкина «Плачущая нимфа реки Гипаниса при кончине славного вождя сил Эвксинских» (№ 81).

3

Главное из написанного Бобровым на юге – это «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе. Лирико-эпическое песнотворение» (Николаев, 1798). Замысел поэмы возник у Боброва еще в 1792 г., во время первой поездки с Мордвиновым в Крым, о чем автор сообщил в посвящении: «Начало сего плода возрастом своим обязано еще первому *Вашему* обозрению сего полуострова. ⟨...⟩ Не тщетна была та возможная корысть, которую во время первого обозрения

---

43 Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: Гальские (иначе эрские, или ирландские) стихотворения, переведены с французского Е. Костровым. Ч. 1–2. М., 1792. О рецепции поэм Оссиана в русской литературе см.: *Левин Ю.Д.* Оссиан в русской литературе XVIII – начала XIX века. Л., 1990.

44 См. примеч. в наст. изд. к «Херсониде» (песнь IV, ст. 495–514).

скифской страны сея Вашим *Высокопревосходительством* взоры мои некогда приобрели, память соблюла, а воображение дополнило...». Выбор предмета для «лирико-эпического песнотворения» был продиктован не только личными впечатлениями от красоты и многообразия природы Крыма, но и усвоенным от покровителя убеждением в исключительной важности полуострова для будущности России.

Замкнутость избранной для песнопения местности и познания в английской поэзии подсказали Боброву жанр описательной поэмы. «Таврида» стала первым и осталась единственным в русской литературе законченным и оригинальным опытом в этом жанре[45]. Английские дидактико-описательные поэмы в «Тавриде» неоднократно упоминаются: это «Письмо из Италии лорду Галифаксу» Дж. Аддисона («Letter from Italy to lord Hallifax», 1701)[46], «Сидр» Дж. Филипса («Cyder», 1706) и «Удовольствия воображения» М. Эйкенсайда («The pleasures of imagination», 1744; 2-я ред. 1757). Непосредственным образцом Боброву послужило самое известное произведение этого жанра – «Времена года» Дж. Томсона («The Seasons», 1726–1730). Неоднократно отмечалось, что «Таврида» построена как описание одних летних (июльских) суток по примеру второй части томсоновой поэмы «Лето» («Summer»)[47]. На заимствования

[45] Ср.: «Херсонида есть единственная описательная поэма на русском языке» (*Крылов 1822*. С. 410).

[46] Поэма Аддисона в прозаическом переводе Боброва была опубликована без подписи: «Послание из Италии к лорду Галифаксу 1701 года» // Иппокрена, или Утехи любословия. 1801. Ч. 8. С. 40–51. Рукопись перевода (на основании которой мы атрибутируем публикацию) сохранилась среди бумаг Г.Р. Державина: «Письмо из Италии ко лорду Галифаксу. С англинского Сем⟨ен⟩ Бобров» (Отдел рукописей РНБ. Ф. 247. Т. 38. Л. 149–154).

[47] См.: *Крылов 1822*. С. 411–413, 415. Ср.: *Альтшуллер 1964*. С. 233; *Левин 1990*. С. 197. Ю.Д. Левин там же указал на поэму немецкого автора Ю.-Ф.-В. Цахариэ «Tageszeiten», построенную как описание одних суток, оговорив, однако, что «нет никаких сведений

из Томсона в поэме Боброва обращали внимание уже первые ее критики[48].

Во многом следуя за английскими образцами, Бобров все-таки не счел нужным соблюсти чистоту жанра и ввел сюжет, что, позамечанию критика, придает «Тавриде» «характер, совершенно отличный от обыкновенных описательных поэм, и несколько приближает ее к роду повествовательных стихотворений» (*Крылов 1822*. С. 416). Этот сюжет – рассказ о мудром старце шерифе Омаре и юном мурзе Селиме, возвращающихся в горное крымское селение из паломничества в Медину. На рассвете шериф, чувствуя приближение смерти, предуведомляет об этом своего воспитанника. Они поднимаются в горы и в полдень встречают укрывшихся от зноя в пещере пастухов-кадизаделитов. Шериф рассказывает им и Селиму о своей прежней жизни, а затем излагает историю Крыма от самой глубокой древности до его присоединения к России. По окончании рассказа над Таврическими горами гремит гроза. Переждав ее, путники к вечеру достигают родной деревни Селима, где его ожидает невеста Цульма. Здесь шериф рассказывает собравшимся добрым мусульманам об опасных ересях, явившихся недавно в Аравии, советует беречься от них и предупреждает о скором пришествии «Тааджала» (Антихриста). Селим в это время «объемлется» с матерью и «распростирает... сиянье радости домашней» среди родных. Вернувшись к шерифу, он получает от него последнее наставление и наказ не медлить со свадьбой, которая тут же и играется. Сам шериф, пребывая в смертном томлении, на брачный пир не является. Пришедший за ним с гостями Селим заста-

о том, что она была известна Боброву». Вероятность его знакомства с этой поэмой все же имеется, поскольку у Боброва есть одно переведенное из Цахариэ стихотворение (№ 294).

48 «Напитанный чтением английских поэтов, он старался им подражать, и главным его образцом был Томсон» (*Крылов 1822*. С. 453). Реминисценции из Дж.Томсона, Э. Юнга и Т. Грея в «Тавриде» выявил Ю.Д.Левин (см.: *Левин 1990*. С. 198–201).

ет его последние мгновения. Сгустившиеся сумерки «лучшего летнего дня» сливаются с «вечной ночью», наступившей для шерифа и ожидающей автора, с которым он лирически отождествлялся (шериф умирает на закате, после его смерти – уже ночь). Пророчеством о своей близкой кончине автор и завершает поэму:

Сопутники моих дней юных
Меня искать повсюду будут,
Но не найдут уже меня.
⟨...⟩
Я лягу близ пучины черной;
Я в желтой персти здесь усну,
Где ясные мои глаза
Навек засыплются песками,
Закроется студена грудь
Сосновыми сырыми дсками, –
Усну в пустыне не оплакан –
Никем! – слеза из глаз катится;
В слезе моей дрожит луна,
Дрожит как сребряная точка! –
О скорбна мысль! – здесь устаю;
Здесь томну арфу повергаю.

(Таврида. С. 211–212; ср. в «Херсониде»:
песнь VIII, ст. 886–914)

Тема смерти является завязкою и развязкой рассказа об Омаре и Селиме и завершает обрамляющий поэму лирический «сюжет автора». Путь паломников – из долины в горы – может рассматриваться как аллегория духовного восхождения к свету истины, лишь коснувшемуся «сына плоти» Селима, а для «сына неба» Омара воссиявшему во всей полноте в ином мире. Таким образом в «Тавриде» совмещаются две традиции – описательной поэмы и мистической литературы «духовных паломничеств» (Дж. Беньян и др.)[49]. Однако сов-

[49] См.: *Зайонц 1992*. Ср.: *Зайонц Л.О.* Пространственная вертикаль тело–душа–дух в ландшафтных моделях Семена Боброва // Wiener Slavistischer Almanach. Bd. 54 (2004). S. 79–92.

ременники, видимо, не замечали или не придавали большого значения аллегорическому смыслу «Тавриды», более увлекаясь разнообразными «описаниями», возвышенным лиризмом и восточной экзотикой поэмы[50], и у них были на то основания.

Бобров создавал своего рода энциклопедию природы и истории Крыма. Его интересует все: атмосферные явления (почти вся VI песнь посвящена описанию грозы; здесь Ломоносов, оплакивающий убитого молнией Рихмана, выступает апологетом научного знания и излагает теорию происхождения атмосферного электричества), вулканические процессы, приведшие к возникновению гор, античные мифы, связанные с полуостровом, его история – тавры, киммерийцы, скифы, греческие и генуэзские колонии, монгольское нашествие, турецкое господство и, наконец, вхождение Крыма в состав Российской империи. Бобров привлекает сведения из геологии, минералогии, ботаники, зоологии, энтомологии и других областей знания. Поэма изобилует специальной научной лексикой, причем во многих случаях Бобров изобретает неологизмы, давая в сносках латинский эквивалент[51]. Большую часть сведениий он черпает в географических трудах К. Габлица и П.-С. Палласа, причем книгу последнего он иногда целыми кусками просто перелагает в стихи (в «Херсониде» см.: песнь I, ст. 484–497;

---

[50] По последнему признаку Джон Бауринг, переложивший на английский язык отрывок из «Херсониды», сравнивал ее с поэмой Томаса Мура «Лалла Рук» («Lalla Rookh. An oriental Romance», 1817), отличающейся своим «восточным характером» (*Bowring J.* Российская антология. Speciments of the Russian Poets. L., 1821. С. 147–150; ср.: *Кокрель К.* Русская Антология (из Revue Encyclopedie). (Перевел А. Ст-в) // Сын отечества. 1821. № 42. С. 55).

[51] См.: *Петрова З.М.* Заметки об образно-поэтической системе и языке поэмы С.С. Боброва «Херсонида» // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В.В. Виноградова. Л., 1971. С. 78–80.

III, ст. 476–485, 501–509, 535–630; IV, ст. 1221–1250; и др.). В «Тавриде» есть многостраничные перечни геологических пород, птиц, рыб, насекомых и растений. По замечанию И.Н. Розанова, «перед нами как будто не поэма, а каталог минералогического кабинета или описание гербариума»[52].

Перегруженность поэмы естествено-научными и историческими сведениями давала повод к упрекам в недостатке поэтичности[53]. Их резюмировал В.И. Аскоченский: «Видно, что он писал поэму не под влиянием вдохновения, а в следствии рассчитанных занятий, требовавших немалого труда»[54].

Между тем Бобров преследовал определенные пропагандистские цели. Перечни богатств неосвоенной, новой для России области, подобно одам Ломоносова, несли заряд оптимизма и буквально взывали к любознательным и трудолюбивым соотечественникам. Эта мысль озвучена во второй редакции, в «Херсониде»:

Художник, – рудослов, – певец,
Мудрец, – списатель, – фармацевтик, –
Друид, – пустынник и любовник, –
Пастух, – философ, – самодержец, –

---

[52] *Розанов И.Н.* Русская лирика. От поэзии безличной к «исповеди сердца». М., 1914. С. 386.

[53] «Как будто кто требует от поэта глубоких сведений в ботанике!» – воскликнул А.А. Крылов, а об историческом повествовании заметил, что оно «походит более на отрывок из какой-нибудь пыльной летописи, нежели на эпизод поэмы. В стихах Боброва исчислены в хронологическом порядке все народы, населявшие Тавриду; описаны, как в географическом словаре, все города, ими основанные; даже упомянуто, что Генуа овладела морями именно в двенадцатом столетии. Такие подробности поэт должен оставить историку: грации не любят сухой учености» (*Крылов 1822*. С. 459, 423). С одобрением об этой особенности поэмы отозвался один И.Т. Александровский: «Под обыкновенным пером предмет, им описываемый, был бы только исторический; но он во всем видит пиитическую сторону» (*СВ*. 1805. Ч. 5. Март. С. 303).

[54] *Аскоченский В.И.* Краткое начертание истории русской литературы. Киев, 1846. С. 77.

Несчастный и счастливый смертный –
Все здесь найдут изящну область
Для чувств, для сердца, для души...
(Песнь III, ст. 634–640)

Длинные перечни имеют и художественный смысл: создать впечатление неисчерпаемого разнообразия богатств полуострова, подобного разнообразию самого мира. Различные отрасли научного знания входят как составляющие в процесс его поэтического постижения. На материале природы и истории Крыма Бобров создает грандиозную модель мироздания. Сам полуостров у него возникает из моря подобно миру из Хаоса». «Сухая», на взгляд поверхностного наблюдателя, научная картина мира в поэме не статична. Этот детально продуманный мир показан в движении, он не завершен, находится на грани апокалиптической катастрофы и вот-вот «шатнется... на *ломкой оси*». «Описательная поэма Боброва, – писал Ю.М. Лотман, – рисует трагический, конфликтный мир, находящийся в состоянии мучительной динамики, постоянного самоотрицания и дисгармонии 〈...〉 Бобров создает трагедию...»[55].

Два вставных эпизода поэмы – о пустыннике, пожелавшем покончить с собой после разорительного нашествия монголов (песнь V), и об аравийском лжеучителе (песнь VII) – раскрывают актуальную для автора философскую и политическую проблематику.

В речах лжеучителя отчетливо слышны интонации деятелей французского просвещения с их проповедью деизма и веротерпимости:

«Открыто небо, – он ревет, –
Да будет общая мечеть!
〈...〉

---

[55] *Лотман Ю.М.* «Сады» Делиля в переводе Воейкова и их место в русской культуре // *Делиль Ж.* Сады. Л., 1987. С. 200–201 (Лит. памятники).

Закрой все книги, все писанья!
Читай природу! узришь Бога...
⟨...⟩
Послушайте! – и человек
Есть малый мир, но храм великий,
Одушевленная мечеть.
Сей храм, сей храм будь свят Алле!»

Так окаянный льстец трубил,
Муж с хитрым и лукавым сердцем, –
В устах его *Гоморра* ржала.

(Таврида. С. 212–216; ср. в «Херсониде»:
песнь VII, ст. 282–402)

Кажущееся благоразумие проповеди «льстеца» наводит на мысль о ничтожестве человеческого разума:

Что любомудрие его?
Лишь пар светящийся при блатах.
Что гордый разум человеков?
Лишь слабый свет, – неверный вождь;
Он часто ползает у ног
Какой-нибудь *Фатимы* гордой
Иль своенравного *паши*.

(Таврида. С. 216–217; ср. в «Херсониде»:
песнь VII, ст. 406–412)

Двусмысленность вносится наличием здесь фигуры рассказчика – шерифа Омара, хотя, как правило, автор лирически отождествляет себя с ним, т.е. инвективы против «гордого разума» могут быть прочитаны как изложение взглядов осталого «музульманина». Оставленная возможность иного истолкования вполне в духе Боброва: она создает напряжение между двумя способами мировидения. На чьей стороне автор, до конца остается неясным. Интересно, что в «Херсониде», вероятно, под влиянием выступлений А.С. Шишкова, появится дополнительная характеристика «льстеца» и ему подобных:

Сих много будет *Тааджалов*,
Сих нечестивейших отростков. –
Не столько их Восток рождает,
Сколь темный Запад производит;
А Запад – ближе к *Ингистану*[56].
Или, сказать *по-европейски*,
Плутон, царь запада туманный
Иль низшей мрачной части мира,
Воспитывает изуверов.
(Песнь VII, ст. 461–469)

Инвективы против вольнодумства «галлов» имеются также в заключающем «Тавриду» «Имне» (в «Херсониде» – «Имн Царю царствующих»), в написанном в 1799 г. «Отзыве Буалу против французов» (№ 51), где кровавые события революции и казнь Людовика XVI объявлены следствием ложного просвещения, и в позднейшей поэме «Древняя ночь вселенной».

В эпизоде об «отчаянном пустыннике» сказались «отчаянные» настроения самого автора в годы создания поэмы. Пустынник, решившись наложить на себя руки, долго рассуждает о жизни и смерти, о бытии и небытии и наконец заявляет о готовности принять смерть и уничтожение: «Пусть буду сим *ничем!*» После этих слов является ангел, обличая его «саддукейские» умствования и вещая бессмертие души. Пустынник все равно погибает, но от чужой руки и с радостной надеждой «проснуться в новом мире». Этот отрывок связан с ранними стихами Боброва. Не случайно только здесь на протяжении всей поэмы возникают аллюзии на Юнга[57]. Позднее аналогичный эпизод войдет в X песнь «Древней ночи вселенной» (Ч. 2. Кн. 4. С. 115–164).

Новаторством Боброва явился отказ от рифмы в обширном «лирико-эпическом песнотворении». В посвящении (ср. «Предварительные мысли» в «Херсониде») он определенно

[56] Т.е. к преисподней.
[57] См.: *Левин 1990*. С. 200.

высказался, что рифма это «оковы Музы», она стесняет полет мысли и «убивает душу сочинения». Обосновывая свою позицию, он сослался на опыт английских и немецких поэтов и суждения непоименованного В.К. Тредиаковского. Однако, чтобы дистанцироваться от последнего, Бобров специально оговорил отказ от дактило-хореев: «Дактило-хореическая мера у нас слишком плохо известна и не всегда правильно по-русски передавалась. Я не осмелился последовать таковому недостаточному примеру...». Возможно, дополнительным мотивом использовать в поэме белый стих послужили ассоциации с античностью, вызываемые самим предметом песнотворения – Тавридой.

Главное в стихах, по Боброву, это «тайная гармония», происходящая «от благоразумного подбора буквенных звуков». Аллитерации и ассонансы, которыми должно компенсироваться отсутствие рифмы, играют большую роль в поэме (примеры – почти на каждой ее странице). Иногда созвучия возникают на концах стихов, причем последовательно, образуя уникальную для своего времени рифмовку, как, например, в таком отрывке:

Что в том, что горы возвышенны,
Восшед к *экваторским* вершинам,
Из недр своих ключи струят
И злато в их струях крутят!
Последне счастье – что с собою
Паляще солнце над главою
Из утренних выводит врат
Для прохлажденья зноя ветр! –
Но счастие сие – надолго ль?
Что в том, что в *Сеннаарских* долах
Млеко и меды самородны
На мхах пушистых протекают...

(Таврида. С. 110; ср. в «Херсониде»:
песнь IV, ст. 106–117)

Есть в поэме и довольно выразительные звукоподражания, например:

Лишь в тощих шумных камышах
Мне чудится в сей страшный час
Органный некий тихий звук.

(Таврида. С.190; ср. в «Херсониде»:
песнь VI, ст. 47–49)

Звукоподражательно – немотивированными по смыслу перерывами речи – Бобров попытался изобразить даже смертный час шерифа:

«Ах! – как – редеет в сердце – бой?
Я много – вам – хотел вещать. –
Се – смертный – мрак! – о вечна ночь!
Алла! – при-ми мой – дух! и – о-о – »[58].

Сказал! – и, отвратясь лицем,
Простерся, – воздохнул – и умер.

(Таврида. С. 255; ср. в «Херсониде»:
песнь VII, ст. 834–838)

«Таврида», поэма новаторская по форме и содержанию, была не сразу оценена современниками[59]. И.И. Мартынов еще в начале 1804 г. констатировал: «Не смотря ⟨...⟩ на все величество Гимна сего, воспетого Природе в стране, мало

[58] А.А. Крылов привел этот фрагмент как пример «ложной естественности»: «Весьма естественно и вероятно, что старец в минуту кончины не мог договорить последних слов, но очень странно смертные вздохи его перелагать в стихи. Это истина, но истина грубая и отвратительная. Она неприятным образом говорит нам о нашей слабости и ничтожестве...» (*Крылов 1822*. С. 460–461).

[59] Первый известный отклик на «Тавриду» (и единственный до выхода «Рассвета полночи») принадлежит Радищеву. Написанная им в ссылке поэма «Бова» (1799) содержит целый ряд перекличек с «Тавридой» и другими стихотворениями Боброва (см.: *Алексеев М.П.* К истолкованию поэмы Радищева «Бова» // Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950. С. 171–173, 185–194), причем во вступлении к поэме Радищев прямо назвал «Тавриду» среди вдохновлявших его сочинений: «Без складов она, без рифмы / Вслед пойдет певцу “Тавриды”, / Но с ним может ли сравниться... / ⟨...⟩ / Возьму плащ я для тумана, / А Боброва в услажденье».

еще понимающей язык богов, долго он не обращал на себя внимания в столице. Может быть и ныне многие из первоклассных наших читателей исключают сие творение из списка покупаемых ими книг и не удостоивают прочтения» (*Мартынов 1804*. С. 32–33). Известность поэме принесло второе ее издание под именем «Херсониды», вышедшее почти через семь лет после первого и значительно переработанное (о важнейших отличиях двух редакций см. в следующей статье).

4

В Петербург Бобров вернулся осенью 1799 г. 12 ноября 1799 г. он определился на прежнее свое место в Герольдию (с производством в чин коллежского асессора). В 1800 г. перешел в Адмиралтейств-коллегию[60] на должность переводчика и вскоре женился[61], а 16 апреля 1804 г. поступил также в Комиссию по составлению законов (с 1806 г. надворный советник). Здесь и в Адмиралтейском департаменте при морском министерстве он прослужит до самой смерти.

До начала 1804 г., когда вышла первая часть «Рассвета полночи», он почти не печатается, хотя за годы, проведенные на юге, у него скопилось множество неизданных стихотворений и он продолжает интенсивно работать (видимо, мысль об издании собрания сочинений возникла у него почти сразу по возвращении в столицу, и потому он не спешил с отдачей своих стихотворений в журналы[62]). Самое значи-

---

[60] В 1805 г. Адмиралтейств-коллегия была преобразована в Адмиралтейский департамент при морском министерстве.

[61] История взаимоотношений поэта с его будущей супругой Александрой изложена в автобиографическом цикле стихов о любви Миртида и Плениры (№ 241–257).

[62] Одно стихотворение, написанное еще на юге («К натуре. При ключе г. Г⟨ерин⟩га»; в *РП* разбито на три стихотворения: № 69–71), все же было опубликовано в «Новостях русской литературы» (1802. Ч. 1. С. 69–80), выходивших при Московском университете, причем издатель П.А. Сохацкий сопроводил публикацию восхищенными комментариями.

тельное из созданного в этот период – цикл стихов на начало нового века (№ 1–2, 98–99)[63] и стихи, посвященные цареубийству в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. (№ 12, 18, 21)[64] и восшествию на престол и торжествам коронации Александра I (№ 21–25, 30–32). Некоторые из этих стихотворений (по меньшей мере № 1, 18 и 29) имели хождение в списках еще до своей публикации в 1804 г.

В 1803–1804 гг. Бобров был занят подготовкой четырехтомного «Рассвета полночи», практически полного на тот момент собрания своих стихотворений. С его стороны это было дерзостным предприятием, поскольку из здравствовавших тогда литераторов подобными многотомными собраниями обладали лишь маститые старцы М.М. Херасков («Творения». Ч. 1–12. М., 1796–1802) и Н.П. Николев («Творения». Ч. 1–5. М., 1795–1798), а издание стихотворений Г.Р. Державина остановилось в 1798 г. на первой части[65]. Почти одновременно с Бобровым стали издавать собрания сочинений признанные литературные лидеры своего времени Н.М. Карамзин («Сочинения». Т. 1–8. М., 1802–1804) и И.И. Дмитриев («Сочинения и переводы». Ч. 1–3. М., 1803–1805) и претендовавший на такую роль П.И. Голенищев-Кутузов, влиятельный масон, куратор Московского университета и член Российской академии («Стихотворения». Ч. 1–4. М., 1803–1810).

Бобров не обладал ни служебным положением, ни весом в обществе, ни сколько-нибудь широкой литературной известностью. В лучшем случае помнили два десятка его стихотворений пятнадцати и двадцатилетней давности. Большей части столичной публики он был совсем неизвестен. Годы, проведенные на юге, отдалили его и от литературных кругов. И вот – он являлся с четырехтомным собранием, включавшим более 250 стихотворений разных жанров и объем-

---

[63] См.: *Альтшуллер 1977*. С. 119–124.

[64] См.: *Коровин 2004*. С. 60–67.

[65] Четыре тома «Сочинений Державина» вышли только в 1808 г., пятый – в 1816 г.

ную поэму в восьми песнях. Это не могло не расцениваться как заявка на первостепенную литературную значимость, а кем-то и как посягательство на иерархию действующих сочинителей. В первой известной эпиграмме на Боброва высмеивается именно желание писателя выдать «собранье полное стихов», заведомо не востребованное публикой:

Рифмушкину

Рифмушкин говорит:
  «Я славою не сыт:
Собранье полное стихов моих представлю,
По смерти я себя превозносить заставлю,
Изданье полное – прямой венец труда!
  Нет нужды в справке,
Остаться я хочу, остаться навсегда...»
Приятель возразил: «У Глазунова в лавке»[66].

Забавно, что эта эпиграмма принадлежит перу графа Д.И. Хвостова, который будет славен плодовитостью и разорительной страстью «отдавать в печать» свои сочинения: только «полных» собраний он издаст три. В 1804 г. (эту дату Хвостов поставил под эпиграммой при ее первой публикации в 1821 г.) его собственная несчастная репутация только созидалась, он чутко воспринимал происходящее в литературных кругах и в данном случае выразил общее, а не только свое недоумение.

И.И. Мартынов, автор рецензии на первую часть «Рассвета полночи» (это был первый печатный отклик на сочинения Боброва), также обратил внимание на невыигрышность ситуации, в которой поэт выступал перед публикой: «...В кругу ценителей Художеств есть свои предрассудки. В кругу ценителей Словесности они так же находятся. Трудно дарованию собрать на свою сторону голоса, когда оно идет само собою, не опираясь на благосклонность предубеждения,

[66] Русская эпиграмма второй половины XVII – начала XX в. Л., 1975. С. 140. Адресат эпиграммы здесь не указан.

на блистательность занимаемого им места» (*Мартынов 1804*. С. 33). Мартынов видел в Боброве не начинающего автора, а едва ли не первого поэта современности, открывающего новые горизонты, но с самого начала должен был занять позицию защитника, апологета. К этому подталкивала и новизна поэзии Боброва.

Мартынова как критика отличали взвешенность и осторожность суждений, ему не чужды были классические воззрения, прекрасно гармонировавшие с его преподавательской деятельностью в Педагогическом институте. При этом он чувствовал новаторскую сущность поэзии, которую собирался защищать, и был в затруднительном положении: стихи ему нравились, но похвалить их можно было, лишь поступившись обычными «правилами». Необходимо было разъяснить свое отношение к ним. Дело облегчалось тем, что Мартынов только что выпустил свой перевод трактата Псевдо-Лонгина «О возвышенном» (СПб., 1803) и хорошо усвоил его идеи (в примечаниях переводчика – в параллель к тому, что цитировал греческий автор, – он привел примеры из русской литературы). Непосредственно перед статьей о Боброве Мартынов поместил переводную заметку А.А. Писарева «О критике», завершающуюся таким образом: «Правила суть средства хорошо выполнять то, что критика предписывает дарованию, оставляя ему всю свободу делать еще лучше. Тот хорошо делает, кто, следуя правилам, делает лучше. Тот худо делает, кто, следуя правилам, делает хуже. Нет ничего обыкновеннее худых сочинений, писанных по правилам, – так как нет ничего труднее и необыкновеннее хороших сочинений, писанных не по правилам»[67]. Н.И. Мордовченко писал, что «эти общие положения 〈...〉 не остались в “Северном вестнике” только теоретическими декларациями, а явились в качестве руководства для критической практики»[68]. В пер-

[67] *СВ*. 1804. Ч. 2. Апрель. С. 28–29.

[68] *Мордовченко Н.И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 68.

вую очередь это относится к рецензии на «Рассвет полночи» и, может быть, исключительно к ней.

Вот что пишет Мартынов: «Лирическое стихотворство 〈...〉 воспаряет под облака, гремит, восторгает читателей, но в сих действиях повинуется законодателям. Смело можно сказать, что г. Бобров во многих своих произведениях им повинуется; а во многих – одной своей Природе и Гению. Он идет по следам, ежели есть они; прокладывает сам себе стезю, если еще оной не было, и последнее чаще в нем примечается, нежели первое» (*Мартынов 1804*. С. 33–34). Далее, поскольку «примеры лучше рассуждений», он приводит отрывки из стихов Боброва и дает волю своему восторгу. Восхищает его именно «отвага» поэта: «Встречал ли кто у наших Поэтов-самозванцев такую отважную черту? Я воображаю всю громаду вселенныя, взлетаю меж светил небесных в глубокую ночь и вижу этот бледный висящий день при наступлении рассвета! 〈...〉 Какая отважность в мыслях, в выражениях! какой прибор слов! какая новость в изображении! 〈...〉 Здесь высокие предметы и чудесные их действия, как бы нарочно, но впрочем без всякого принуждения, подобраны к произведению в нас необыкновенного впечатления» (с. 35–38). Оправдание «отваге» Боброва, попирающего «правила», критик видит в новизне и неподражательности его творений, ведь «возвышенное» – область риска и эксперимента. Неудачи и «излишества» здесь почти неизбежны, и Мартынов между похвалами с видом беспристрастия указывает на них, например, говоря о словотворчестве своего героя: «Иногда творческий талант Поэта-живописца чувствует недостаток в языке, как он ни обилен; и потому сам изобретает слова. Напр〈имер〉, Поэт называет моря *гороносными*, как кажется, по кораблям, по ним плавающим; в другом месте море называется *гробом водосланым* от соленой воды; *кровомлечное лице, светлолучный* и пр. Так составлял слова Пиндар, Омир! Правда, иногда Поэт вольность сию простирает до излишества, как, например, когда говорит: “в одежде скорби слезошвенной” или “музы в плаче растопленны”, но кто не простит ему сей вольности?» (с. 39).

В 1805 г., после выхода «Херсониды», Мартынов опубликовал еще две статьи о Боброве. Первая принадлежит студенту Педагогического института И.Т. Александровскому, лучшему ученику Мартынова первого выпуска. Это «Разбор поэмы *Таврида*» (*СВ*. 1805. Ч. 5. Март. С. 301–311), написанный еще до появления второй редакции поэмы и прочитанный на публичном испытании студентов 15 февраля 1805 г. Александровский тоже увидел в Боброве поэта, прокладывающего «особенную стезю»: «Прочитав Тавриду, нельзя, кажется, не сказать, что автор сей книги отворяет новую дверь в российскую поэзию. Всякой предмет описывает он не подражательным, а свойственным себе образом. Сколь ни смелы, сколь ни отважны таковые предприятия в глазах обыкновенного человека; но то, что многим кажется невозможным, и всем трудным, бывает удобно и легко для гения. С великим духом, с пламенным воображением, с твердой решимостью пускается он в обширное море изобретения – и счастливо достигает желанного пристанища» (с. 301–302). Однако Александровский настроен более критично и больше учителя уделяет внимания тому, в чем видит погрешности. Так, его «останавливают слишком сложные слова, каковы суть: шахматно-пегий, багровоцветный и подобные; слишком новые и непонятные термины, как-то: смерчи, плежущий, понурый и другие; а иногда и противусильные ударения...» (с. 302). В стихах, обращенных к Создателю – «Но что реку? Лишь Ты восхощешь, / Шатнется мир на *ломкой оси*» – эпитет «ломкий» кажется ему «умаляющим всемогущество Божие» (с. 308).

Осторожные замечания Александровского не остались без возражений, и в журнале Мартынова появилась вторая статья, принадлежащая Л.Н. Неваховичу, – «Мнение о разборе 2-й песни *Тавриды*» (*СВ*. 1805. Ч. 8. Август. С. 144–159). Полемические цели автора здесь заявлены сразу: «Защищать *Тавриду* не нужно. Но открывать красоты там, где, может быть, иные по скорости заключают об них иначе – есть долг приятнейший всякого любителя Словесности» (с. 145). В частности, его занимает осужденный Александровским

эпитет «ломкий». У Неваховича уместность его не вызывает сомнений, и доказательству этого посвящена большая часть статьи. В заключение он счел нужным поговорить о тех же «правилах»: в поэме Боброва «есть слабости, но таковаго рода сочинения должны рассматриваться не слегка, а с особливым тщанием ⟨...⟩ Самые первые Поэты иногда предварительно не знают тех правил, которые другие извлекают из бессмертных их творений. Они писали по вдохновению природы, удостоившей их своей любви; другие находят в их произведениях правила, по которым природа открывает красоты свои. Таким образом чада выведывают у матери своей тайны, коими привлекают на себя ея благодеяния» (с. 158–159). По замечанию П.Н. Беркова, этой статьей «Невахович поставил в очень неловкое положение ⟨...⟩ Мартынова, так как безоговорочным печатанием этюда Александровского Мартынов как бы соглашался с его содержанием и, в частности, разделял мнение Александровского относительно отмеченных им недостатков Боброва»[69]. Поэтому издатель сопроводил статью примечанием: «Сие мнение послужит хорошим уроком молодому рецензенту *Тавриды.* ⟨...⟩ Издатель приносит благодарность за такое участие в его трудах» (с. 159).

Обсуждение поэзии Боброва, инспирированное Мартыновым, имело определенный общественный резонанс и надолго запомнилось[70]. Поэт мог, казалось бы, торжествовать успех, тем более что это был не единственный одобритель-

---

[69] *Берков П.Н.* К истории русско-польских культурных отношений конца XVIII и начала XIX века. I. И.Т. Александровский, профессор российского языка и словесности в Кременецком лицее // Известия АН СССР. Серия 7. Отд. общественных наук. 1934. № 9. С. 712.

[70] Так, А.А. Палицын писал в «Послании к Привете» (1807): «Я очень помню то, с какими похвалами / *Таврида* славилась недельными листами» (*Поэты 1790–1810*. С. 769). Запоздалый след этого обсуждения находится в стихах юного А.С. Пушкина из «пасхального» письма 1816 г. дяде Василию Львовичу: «Да не воскреснет от забвенья / Покойный господин Бобров, / Хвалы газетчиков достойный...».

ный отклик. В журналах Мартынова сотрудничали литераторы Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ), и в их кругу Бобров пользовался сочувствием, даже, по выражению исследователя, «почитался и пропагандировался»[71]. Многие из членов ВОЛСНХ были его сослуживцами по Комиссии составления законов (в разное время здесь служили А.Х. Востоков, В.В. Попугаев, Н.А. Радищев, А.П. Бенитцкий, Ф.И. Ленкевич и др.). Их объединяли определенные демократические убеждения и общность социального положения: большинство членов ВОЛСНХ, как и Бобров, были неблагородного происхождения, не имели состояния и должны были зарабатывать на жизнь интеллектуальным трудом. Первая критическая статья в «Журнале российской словесности», фактически являвшемся печатным органом общества, была посвящена «Херсониде» и выдержана в самых возвышенных интонациях: «Херсонида есть творение Гения. Словесность наша может ею гордиться так же, как сочинениями Ломоносова и Державина. Везде чистый и непринужденный слог, везде виден Гений и смелая кисть живописца – везде видно, что поэт писал с Природы и был вдохновлен ею. ⟨...⟩ Счастлива страна, которая имеет таких поэтов!»[72]. О поэме с теплотой отозвался и Востоков в своем «Опыте о российском стихосложении»[73]. В 1807 г. Бобров оказался одним из главных вкладчиков в альманахе А.П. Бенитцкого и А.Е. Измайлова «Талия», в 1809 г. сотрудничал в их же «Цветнике». 19 октября 1807 г. Бобров стал и формальным членом ВОЛСНХ, причем принят был заочно и

---

[71] *Мордовченко Н.И.* Указ. соч. С. 116.

[72] ⟨*Брусилов Н.П.*⟩ «Херсонида... соч. г. Боброва» // Журнал российской словесности. 1805. Ч. 1. № 2. С. 113–120.

[73] Востоков одобрял опыты Боброва с белым стихом, замечая, что он один «осмелился в дидактических поэмах по английским образцам свергнуть с себя узы александрийского стиха – и имел в том успех» (*Востоков А.Х.* Опыт о русском стихосложении. 2-е изд. СПб., 1817. С. 30).

единодушно[74]. «Своим», однако, в этом кругу он не был. Тем важнее были исходившие из него сочувственные отклики.

Наконец, едва ли не самым важным для Боброва стало высочайшее одобрение его трудов. «Херсонида», посвященная Александру I, была поднесена императору, и автор 21 марта 1805 г. был пожалован перстнем стоимостью 700 рублей[75]. Поднесена поэма была, вероятно, при посредничестве М.Н. Муравьева, замечательного поэта и тонкого ценителя поэзии, чьи суждения пользовались общим уважением. Его внимание само по себе много значило для Боброва. Вскоре он адресовал Муравьеву стихотворение «Весенняя песнь» (№ 277) и посвятил полемическое сочинение «Происшествие в царстве теней» (1805).

Однако, несмотря на многочисленные по тем временам печатные похвалы автору «Рассвета полночи», решающими для формирования его литературной репутации оказались иные обстоятельства.

5

По выходе «Рассвета полночи» Бобров выдвинулся в число первых поэтов своего времени и сразу же оказался втянут в споры о языке, являвшиеся главным пунктом литературной борьбы 1800–1810-х годов. Начало им было поло-

---

[74] Сохранились записка Боброва к тогдашнему председателю общества Д.И. Языкову от 19.10.1807 и запись в протоколе заседания того же дня (см.: *Альтшуллер 1964*. С. 239). По смерти Боброва на одном из заседаний ВОЛСНХ было прочитано его стихотворение, о чем тоже есть запись: «Прочитано: С.С. Бобров. Вопль музы по кончине нашего Марона Михаила Матвеевича Хераскова. – Найдено в бумагах покойного автора и прочитано А.А. Писаревым» (Отдел рукописей Научной библиотеки СПбГУ. Д. 204. Л. 18–18об. № 13. Протокол заседания от 28.5.1810). Текст стихотворения неизвестен. Подробней об отношениях Боброва с ВОЛСНХ см.: *Коровин 2004*. С. 79–86, 120–122.

[75] *РГИА*. Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 3922. Л. 212.

жено книгой А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (СПб., 1803), вышедшей незадолго до «Рассвета полночи» и расколовшей литературную общественность на два враждующих стана – «архаистов», ратовавших за «славенский» язык, православную веру и «нравы отечественные», и карамзинистов, основывавшихся на идее прогрессивного развития языка и общества. Это противопоставление, по словам исследователей, «...представало в этот период как неизбежная альтернатива, по отношению к которой невозможно было оставаться нейтральным. Любая литературная позиция так или иначе вписывалась (в сознании эпохи) в эти рамки»[76]. Бобров был причислен к «архаистам», и не совсем безосновательно, поскольку в «распре о языке» (выражение В.А. Жуковского) успел принять непосредственное участие.

В «Предварительных мыслях» к «Херсониде» он, выражая солидарность с Шишковым, сожалел о забвении «коренного, матернего славенского языка», а в ноябре 1805 г. выступил со специальным полемическим сочинением, написанным в жанре диалога в царстве мертвых, – «Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка»[77] Поводом к его созданию послужила кончина издателя журнала «Московский Меркурий» П.И. Макарова, чья крайняя позиция в споре о языке, вызывающая галломания и самоуверенная критика книги Шишкова вызывали раздражение в кругу «архаистов». В «Происшествии...» он выведен под маской Галлорусса. В его

[76] *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // *Успенский Б.А.* Избранные труды. М., 1994. Т. 2. С. 346.

[77] Это сочинение было впервые издано и всесторонне прокомментировано Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским в 1975 г. (переизд. см.: *ПЦТ*). Список другой, видимо, более ранней его редакции под заглавием «Суд в царстве теней» находится в *РГАЛИ* (Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 5622).

споре с Баяном (олицетворение мужественной, прямолинейной и, пожалуй, незамысловатой старины) судьею выступает Ломоносов. Он осуждает новомодную манеру речи Галлоросса и сочинения почитаемых им авторов. Однако критических замечаний судьи удостоились не только авторы, в разной степени причастные к созданию «нового слога», но и Державин, и даже сам Бобров. О слоге же В.А. Озерова и Н.М. Карамзина судья отозвался с одобрением, отметив лишь безнравственное содержание стихов из повести «Остров Борнгольм» («Законы осуждают...»).

По существу Бобров в «Происшествии...» не присоединился ни к одной из двух противоборствующих партий: показательно само наличие фигуры посредника в споре между Баяном и Галлоруссом. На роль такого посредника Бобров и претендовал, выказывая умеренную поддержку Шишкову и высмеивая крайности «нового слога», осуждаемые самими карамзинистами (деятельность склонного к эпатажу Галлорусса-Макарова среди них не пользовалась безусловным одобрением). Однако даже умеренной поддержки одной партии было достаточно, чтобы другой «Происшествие...» было расценено как очередная вылазка врагов, тем более опасная, что Бобров только что выпустил четырехтомное собрание сочинений и в периодической печати ему расточались похвалы (правда, хвалили поэта в основном за «необыкновенность» его творений, которая с позиций карамзинистского культа «естественности» выглядела сомнительной и становилась удобным объектом критики). Реакция не заставила себя долго ждать.

«Одной из особенностей литературной борьбы начала XIX века, – пишет Л.О. Зайонц, – было стремление полемистов превратить противника в своеобразную сатирическую маску. Образам Галлорусса и Варягоросса приписывалось определенное социально-культурное амплуа. В сатирической литературе архаистов оно персонифицировалось в маску "щеголя". Что касается карамзинистской сатиры, то в ней аналогичной по функции "сниженной" маской стал образ поэта-пьяницы,

творящего в запойном бреду, маска Библуса»[78]. Не менее важными компонентами этой маски были низкое происхождение и «семинарская» ученость. Никому эта «маска» так хорошо не подходила, как Боброву. Он происходил из «священнических детей», не раз высказывал свои демократические убеждения, был весьма учен, мрачен и, вероятно, действительно не чужд соответствующему пороку. Его образ сильно способствовал сложению «маски» Бибруса, и не случайно именно он получил это прозвище. По предположению М.Г. Альтшуллера, Бобров сам «подсказал» его своим литературным врагам в переведенной с английского статье «О воспитании младенцев»[79].

«Карамзинистов, творивших новый литературный миф, меньше всего интересовала житейская сторона вопроса. "Маска" Бибруса, сформировавшись в середине 1800-х годов, прочно закрепляется за Бобровым и благополучно переживает его. Она продолжает существовать независимо от его биографии и даже вопреки ей»[80]. Речь шла о принципиальных разногласиях карамзинистов и Боброва во взглядах на сущность поэтического творчества, в главном обозначенных еще самим Карамзиным в предисловии ко второй книжке «Аонид»: «Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен Натуры, но в живости мыслей и чувств. ⟨...⟩ Молодому питомцу Муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот Природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар Натуры и прочее в сем роде. Не надобно думать, что одни великие предметы могут вос-

[78] *Зайонц Л.О.* «Маска» Бибруса // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 683. Тарту, 1986. С. 32.

[79] «...Кормилица императора Нерона, будучи весьма пристрастна к пьянству, вселила гнусный навык сей и в знатного питомца своего, который напоследок столько известен стал по сему пороку, что народ очень часто, замечая в нем оной, вместо Тиберия Нерона называл его Биберием Мером (Biberius Mero)» (*Лицей*. 1806. Ч. 3. Кн. 3. С. 86–87). См.: *Альтшуллер 1964*. С. 243.

[80] *Зайонц Л.О.* «Пьянствующие архаисты» // Новое литературное обозрение. № 21 (1996). С. 231.

пламенять стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит и в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону»[81]. Намек на Боброва был прозрачен. Однако речь шла не столько о нем, сколько об общих, принципиальных для Карамзина вопросах – о том, *что, о чем*, а главное, *ради чего* следует писать. Для него поэзия Боброва неприемлема не в силу каких-то ее несовершенств или «погрешностей» (против «слога», например), а по принципиальным соображениям, поскольку чужда «умеренности» и не укладывается в рамки концепции «прекрасного» как единства «добра», «красоты» и «пользы»[82]. По замечанию Л.О. Зайонц, «если Карамзин видит в литературе средство преобразования действительности, то для Боброва поэзия – способ ее осмысления»[83].

Карамзин, однако, имел в виду лишь его ранние «юнгианские» стихи (другие в 1797 г. едва ли были ему известны) и не стремился лично задеть давнего знакомца. В 1800-х годах, когда Бобров принял участие в спорах о языке, а имя его как автора «Рассвета полночи» и «Тавриды» получило общелитературную известность, противоречие между ним и молодыми карамзинистами обострилось.

Самым непримиримым оппонентом выступил К.Н. Батюшков. Именно он в первую очередь «повинен» в создании

---

[81] Аониды, или собрание разных новых стихотворений. Кн.2 . М., 1797. С. V–VIII.

[82] О проблеме «возвышенного», о «прекрасном» и «образе творца» в представлении Карамзина см.: *Кочеткова Н.Д.* Литература русского сентиментализма. СПб., 1994. С. 105–154. С предисловием ко второй книжке «Аонид» ср. также рассуждение Карамзина об оде И.-Г. Гердера «Бог»: «Тут не бурнопламенное воображение юноши кружится на высотах и сверкает во мраке, подобно ночному метеору, блестящему и в минуту исчезащему: но мысль мудрого мужа, разумом освещаемая, тихо ⟨...⟩ несется ко храму вечной Истины и светлою струеюю свой путь означает» (*Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. М., 1987. С. 72 (Лит. памятники)).

[83] *Зайонц Л.О.* «Пьянствующие архаисты». С. 232.

той литературной репутации Боброва, которая утвердилась в «арзамасском братстве» и впоследствии послужила главной причиной забвения его поэзии. Роль Батюшкова здесь не случайна. Он расходился с Бобровым буквально по всем пунктам и в теории, и в своей поэтической практике. Так, Батюшков стремился сделать русскую поэзию возможно более «сладкозвучной», с его точки зрения стихи должны были удовлетворять запросам «уха», а стихи Боброва «шероховаты». Батюшков важным достоинством считал «краткость», резко обрушивался на произведения, в которых видел признаки растянутости, осуждал «повторения», а размеры од Боброва (не говоря уже о поэмах) часто достигают 300–400 строк, и при этом он часто повторяет и цитирует сам себя. Батюшков отрицательно относился к белому стиху, а Бобров писал им больше, чем кто-либо другой из поэтов-современников (белый стих в сознании Батюшкова вообще ассоциировался с Бобровым: «Рифм я не знаю на *моря* и скоро, подобно Боброву, стану писать белыми стихами, умру, и стихи со мной»[84]). Наконец, Батюшков, хотя и не высказывался об этом в печати, испытывал антипатию к Юнгу, с которым поэзия Боброва ассоциировалась в силу инерции[85].

Батюшкову, в отличие от позднейших эпиграмматистов, сочинения Боброва были известны не понаслышке: стихи их не раз печатались рядом на страницах «Северного вестника»,

---

84 Письмо к Н.И. Гнедичу, конец ноября 1809 г. (*Батюшков К.Н.* Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 113).

85 В письме к П.А. Вяземскому от 5 мая 1812 г. он следующим образом охарактеризовал «Ночь на гробах» С.А. Ширинского-Шихматова: «Черствое подражание Йонгу, которому бы по совести и подражать не должно» (*Батюшков К.Н.* Соч. Т. 2. С. 213). Видимо, в первую очередь Боброва, а уже потом Ширинского-Шихматова подразумевал Батюшков, когда писал в «Прогулке по Москве» (1811): «...Мы не станем делать восклицания вместе с модными писателями, которые проводят целые ночи на гробах и бедное человечество пугают привидениями, духами, Страшным судом, а более всего своим слогом» (Там же. Т. 1. С. 289–290).

«Лицея», «Талии» и «Цветника». Вероятно, он был знаком и с «Происшествием в царстве теней», что могло послужить непосредственным импульсом к созданию сатиры «Видение на брегах Леты» (1809). Не случайно имя Боброва упоминается уже в первых его строках:

Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал и видел чудный сон![86]

Фантастическая картина массовой гибели литераторов, открывающая сатиру, пародийна по отношению к преромантической поэзии «катастроф», в первую очередь – к стихам Боброва, а речь, с которою он выступает перед «адским судиею», составлена из слов и целых строчек, извлеченных из его стихов (по большей части из «Столетней песни», № 1 и «Шествия скипетроносного Гения Росии...», № 292).

«Кто ты?» – «Я – виноносный гений.
Поэмы три да сотню од,
Где всюду ночь, где всюду тени,
Где роща ржуща ружий ржот,
Писал с заказу Глазунова
Всегда на срок... Что вижу я?
Здесь реет между вод ладья,
А там, в разрывах черна крова,
Урания – душа сих сфер
И все титаны ледовиты,
Прозрачной мантией покрыты,
Слезят!» – Иссякнул изувер
От взора грозныя Эгиды.

Один отец «Тилемахиды»
Слова сии умел понять[87].

Предметом насмешек становятся плодовитость и ученость автора, обличающие его педантизм и сближающие с

[86] Там же. Т. 1. С. 370.
[87] Там же. Т. 1. С. 375.

Тредиаковским, не говоря уже о пристрастии к «ночам», «теням» и «темным» по смыслу выражениям. Примерно в одно время с сатирой Батюшков сочинил и эпиграмму на Боброва, где впервые прозвучало прозвище «Бибрис». Она появилась в «Цветнике» за 1809 г. (Ч. 3. № 9. С. 372):

Как трудно Бибрусу со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

Через год, уже после смерти Боброва, Батюшков перепечатает эту эпиграмму в «Вестнике Европы» среди других своих мелких стихотворений (1810. Т. 51. № 10. С. 127) и сочинит еще одну, оставшуюся в свое время неопубликованной:

Я вижу тень Боброва!
Она передо мной,
Нагая, без покрова,
С заразой и чумой
Сугубым вздором дышет
И на скрижалях пишет
Бессмертные стихи,
Которые в мехи
Бог ветров собирает
И в воздух выпускает
На гибель для певцов;
Им дышет граф Хвостов,
Шихматов оным дышет
И друг твой, если пишет
Без мыслей кучу слов[88].

Здесь пародируются стихи покойного Боброва с устрашающими явлениями «теней». Его образу придан инфернальный характер. Показательно, что «бессмертные стихи» Боброва – «сугубый вздор», вздор в высшей степени, а сочинения Хвостова, Ширинского-Шихматова и неудачи самого Батюшкова – лишь его частные проявления. Для Батюшкова Бобров, может быть, самое одиозное явление в современ-

[88] Там же. Т. 2. С. 132.

ной поэзии, к тому же не лишенное некоторой выразительности, и потому он столь настойчиво к нему возвращается.

«Антибобровские» выступления юного князя П.А. Вяземского, в отличие от батюшковских, были продиктованы интересами защищаемой им литературной «партии», а не принципиальными соображениями. В оставшихся неопубликованными в свое время «Запросах господину Василию Жуковскому от современников и потомков» (1810) Вяземский выговаривал ему за перепечатанный в «Собрании русских стихотворений» единственный опус Боброва: «По какому непонятному капризу не хотели вы нам показать лучшего нашего перевода из Горация, то есть оды к Венере Востокова, а напечатали уродливейший, то есть Боброва “О ты, Бландузский ключ кипящий”?»[89]. Замечательно, что здесь Бобров противопоставлен Востокову, может быть, самому близкому из современных ему поэтов, в целом карамзинистами не слишком одобряемому. По отношению к Востокову Вяземский демонстрирует относительную широту и самостоятельность своих воззрений, а по отношению к Боброву, уже заклейменному Батюшковым, выступает как представитель определенной литературной группировки.

Противников не смягчила даже смерть Боброва. В «Вестнике Европы», редактором которого тогда был Жуковский, вышел некролог, а сразу вслед за ним были напечатаны три эпиграммы Вяземского: «Объявление» («Разыгрывать на днях новейшу драму станут...»), «Быль в преисподней» и «К портрету Бибриса»[90]. Две из них прямо посвящены Боброву:

Быль в преисподней

«Кто там стучится в дверь? –
Воскликнул Сатана. – Мне недосуг теперь!»
– «Се я, певец ночей, шахматно-пегий гений,
Бибрис! Меня занес к вам в полночь ветр осенний,

---

[89] *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. СПб., 1878. Т. 1. С. 1.
[90] Вестник Европы. 1810. Т. 51. № 11. С. 247–248.

Погреться дайте мне, слезит дождь в уши мне!»
– «Что врешь ты за сумбур? Кто ты? Тебя не знают!»
– «Ага! Здесь, видно, так, как и на той стране, –
Покойник говорит, – меня не понимают».

К портрету Бибриса

Нет спора, что Бибрис богов языком пел;
Из смертных бо никто его не разумел.

Адресат эпиграмм устанавливался безошибочно. М.И.Невзоров, например, специально заметил: «Исковерканное имя, название Певца Ночей ⟨...⟩ тотчас заставили меня думать, что эти две эпиграммы написаны на счет г. Боброва. Не я один, а и другие читавшие их то же думают; а г. Сочинитель может быть и радуется, что угадывают, на кого он целит»[91].

«Быль в преисподней» – вольное переложение шестистишия Вольтера «Qui frappelà? – dit Lucifer...». Вторая эпиграмма – оригинальная. Она явилась програмным выступлением, приобрела широкую известность и впоследствии перепечатывалась под заглавием «К портрету выспреннего поэта»[92]. Однако в этих эпиграммах Вяземский в большей мере опирался не на сами сочинения Боброва, а на «критику»: прозвище «Бибрис» первым применил к Боброву Батюшков почти за год до Вяземского; эпитет «шахматно-пегий» позаимствован из статьи И.Т. Александровского, где он отмечен как неудачный (в «Херсониде» в описании «аспида» сложного прилагательного нет: «И выставляет пестру спину / И шахматное пего чрево»); глагол «слезит» уже был найден

[91] *Невзоров 1810*. С. 63–64.

[92] См.: *Вяземский П.А.* Стихотворения. Изд. 3-е. Л., 1986. С. 55 и 442. Ср. употребление слова «выспренний» у Карамзина, который на вопрос Гердера, кого он предпочитает из немецких поэтов, прореагировал так: «Клопштока, отвечал я, запинаясь, почитаю самым *выспренним*» (*Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. С. 72).

и употреблен Батюшковым как характерный для Боброва; «языком богов» называл поэзию Боброва Мартынов; слова «сумбур», «сумбуротворец», «певец ночей» к 1810 г. стали общим местом в отзывах о Боброве (Жихарев, Батюшков), а «гений» и «полночь» – излюбленные им слова, имеющиеся в заглавии его собрания сочинений и также уже использованные Батюшковым в «Видении на брегах Леты».

Вяземский явился глашатаем общего мнения карамзинистов. Он целиком опирается на предшествующих критиков Боброва, главным образом – на Батюшкова. Может быть, не был так уж несправедлив Невзоров, когда раздраженно писал: «Г. Сочинитель сих эпиграмм истощает остроту своего разума на счет покойника, которого он видно не знал ни лично, ни сочинений его порядочно не читал; ибо, читавши все сочинения г. Боброва с некоторым только вниманием и имевши только общий смысл, невозможно об нем так отзываться»[93]. Жуковский прислал номер «Друга юношества» со статьей Невзорова Вяземскому[94], и тот, задетый, как можно догадываться, упреком в неосновательности, тогда же пишет «Письмо к издателю о поэте Боброве»[95]. «Издатель» – это, видимо, Невзоров, который считал, что оправдать поэта должны его сочинения, и после краткой похвальной преамбулы поместил подборку стихотворений из «Рассвета полночи». Так же поступает и Вяземский. У него «несколько литераторов, которые проводили весь вечер в чтении, в пении и в разных забавах», узнают о смерти Боброва и решают немедленно пить «за его славу» и читать поочередно лучшие, по мнению каждого, из «стихов, взятых из песнопений полночного Пиндара». Далее с минимальным шутливым комментарием

[93] *Невзоров 1810*. С. 64–65.

[94] Жуковский – Вяземскому, 3 июля 1810: «Обнимаю тебя дружески, а чтобы повеселить твою душу, посылаю тебе № “Друга юношества”, в котором ругают тебя нещадно и меня тут же за эпиграммы на Боброва» («Арзамас». Сборник / Под общ. ред. В.Э. Вацуро и А.Л. Осповата. М., 1994. Кн. 1. С. 157).

[95] См.: Там же. Кн. 1. С. 153–156.

приводятся два отрывка и одно стихотворение целиком из третьей части «Рассвета полночи», а также отрывок из «Вечернего созерцания гробницы Екатерины II», заимствованный из статьи Мартынова, где он был уже процитирован (видимо, под рукой у Вяземского оказались только третья часть «Рассвета полночи», заглавие которой приводится в начале «Письма...», и номер «Северного вестника»). Таким образом, утверждение Невзорова, что, «читавши все сочинения г. Боброва, невозможно об нем так отзываться», оказывается перевернутым: именно «читавши» невозможно к нему отнестись всерьез. Его сочинения говорят сами, и не в оправдание их автора, как полагает Невзоров, а в осуждение.

Эпиграммы Вяземского стали апогеем «антибобровской» кампании карамзинистов, совпавшей с последними годами жизни «певца ночей». Они поставили точку в его несчастливой литературной судьбе. В кратком описании она выглядит следующим образом.

Первые стихи Боброва, появившиеся в пору общего увлечения Юнгом, доставили поэту известность и благосклонность публики, имевшие свою оборотную сторону: о нем продолжали судить по его ранним стихам в то время, когда вкусы публики уже изменились, причем одно такое суждение исходило из самого авторитетного в перспективе литературной жизни источника – от Карамзина. Десять лет, проведенные вдали от столиц, явились роковым обстоятельством для репутации Боброва и обусловили его положение на периферии литературного процесса. Его создававшаяся в 1790-е годы впечатляющая по новизне и разнообразию тем и жанров лирика, равно как и новаторская «Таврида», в столицах была практически неизвестна. «Рассвет полночи» появился в дни полемики между карамзинистами и «архаистами» и был интерпретирован в ее контексте. Смерть Боброва сопровождалась эпиграммами младших карамзинистов, которым предстояло одержать видимую победу в литературной борьбе и повлиять на мнение нелюбопытных потомков. С коротким периодом его славы – от выхода первой части «Рассвета полночи» в на-

чале 1804 г. до смерти поэта в начале 1810 г. – было покончено.

В эти последние свои годы Бобров, расцененный карамзинистами как опасный противник и в общем-то не принятый за «своего» в кругу будущих членов «Беседы любителей русского слова», устранился от полемики, но продолжал свои уединенные искания и еще успел выступить с новою весьма пространной поэмой.

6

В 1805–1809 гг. в «Северном вестнике», «Лицее», «Талии», «Цветнике» и отдельными изданими в общей сложности появилось 36 стихотворений Боброва, свидетельствующих о его заинтересованном отношении к новым литературным веяниям. Среди них, например, есть баллада о любви («Селим и Фатьма», № 283) и кладбищенская элегия («Кладбище», № 297).

«Селим и Фатьма» – вольное переложение баллады Д. Маллета «Эдвин и Эмма» («Edwin and Emma», 1760) о том, как влюбленные, разлученные злыми родственниками, умирают в один день и соединяются в лучшем мире[96]. Позднее ту же балладу переложил В.А. Жуковский («Эльвина и Эдвин», 1814), сосредоточившись на переживаниях героев и добавив мотив дочерней любви. Бобров же перенес действие в среду крымских мусульман, и психологические тонкости стали едва различимы за густым этнографическим колоритом, т.е. он не вышел за пределы преромантической трактовки жанра баллады как прежде всего экзотической по материалу. И все же показательно само обращение к этому жанру за два года до «Людмилы» Жуковского (1808).

---

[96] Другую балладу Д. Маллета – «Вильгельм и Маргарита» («William and Margaret», 1724) – Бобров перевел прозой (см.: *СВ*. 1805. Ч. 7. Июль. С. 94–97).

Свой вариант «кладбищенской элегии» Бобров дал в стихотворении «Кладбище (Из Клопштоковых од)» (№ 297), ставшем его последней прижизненной публикацией.

Как тихо спят они в благом успеньи!
К ним крадется мой дух в уединеньи;
Как тихо спят они на сих одрах,
Ниспущенны глубоко в прах.

И здесь не сетуют, где вопль немеет!
И здесь не чувствуют, где радость млеет!
Но спят под сенью кипарисов сих,
Доколь от сна пробудит Ангел их.

О если б я, как роза, жизнь дневная,
В сосуде смертном плотью истлевая,
Да рано ль, поздно ль тлен отыдет в тлен,
Здесь лег костьми моими погребен.

Тогда при тихом месячном сияньи
С *сочувством* друг мой мимошед в молчаньи,
Еще б мне в гробе слёзу посвятил,
Когда б мой прах слезы достоин был.

Еще б один раз дружбу вспомянувши,
В священном трепете изрек вздохнувши:
«Как мирно он лежит!» – мой дух бы внял
И в тихом веяньи к нему предстал.

Здесь есть почти все выделяемые исследователями «кладбищенской элегии» особенности этого жанра в том виде, как он был усвоен русской поэзией после «Сельского кладбища» Жуковского[97] (ход мысли автора от образа кладбища и почиющих на нем к самому себе с заключительной

[97] См.: *Топоров В.Н.* «Сельское кладбище» Жуковского: К истокам русской поэзии // Russian Literature. North-Holland Publisching Company. 1981. T. X. P. 248–255; *Вацуро В.Э.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 48–73.

эпитафией; друг, роняющий слезу над гробом; словесные мотивы «тишины», «молчанья», «уединенья», «сочувствия» и т.д., вплоть до синтаксических параллелизмов и анафорических повторов, создающих мелодию стиха; пейзаж редуцирован до «тихого месячного сиянья» и аллегорических «кипарисов», т.е. представлен своими «знаками» и подчеркнуто суггестивен). Однако так называемый «демократический патриархализм» элегии Жуковского и мотив «юноши» у Боброва полностью отсутствуют. Перед нами чистая схема жанра, обнажающая его религиозную квиетистскую основу.

Важным новшеством был стих «Кладбища». За два года до Жуковского, сделавшего, по словам М.Л. Гаспарова, «решающие шаги» в освоении 5-стопного ямба[98], Бобров использовал здесь именно этот размер[99]. Экспериментальным по форме является также стихотворение «Цахариас в чужой могиле» (№ 294), написанное довольно изощренным вольным ямбом с чередованием строк 2-, 3-, 4-, 5- и 6-стопной длины. Вообще, прежде Бобров был мало склонен к метрическим экспериментам[100]. Тем интересней его обращение к ним в последних стихотворениях. Видно, он сознательно пробовал силы на путях, прокладываемых молодыми поэтами (как из круга ВОЛСНХ, так и из числа карамзинистов).

Откликом на новые веяния явились его переводы из Сапфо, привлекавшей в 1800-х годах многих авторов: ее пе-

---

[98] *Гаспаров М.Л.* Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984. С. 114.

[99] Ранее Бобров использовал 5-стопный ямб в одном переводе из А. Попа (№ 154), в «Двух надписях Екатерине II» (№ 10–11) и отдельных строфах стихотворений «К праху российского Ганнибала» (№ 19) и «Лучший день в году Акаста» (№ 78).

[100] Из метрических экспериментов Боброва, не считая «хоров для польского» и ряда строф в «Драмматическом песнотворении на кончину Екатерины II» (№ 8), написанных 5-стопным хореем, можно назвать лишь дактилические стихи «Желание любителю отечества» (№ 53) и логаэд к дню рождения П.И. Икосова (№ 113).

реводили Г.Р. Державин, А.Х. Востоков и др., даже вышли две брошюры под титулом «Стихотворения Сафы» – П.И. Голенищева-Кутузова (1805) и В.Г. Анастасевича (1808). Бобров переложил два первых, самых известных фрагмента Сапфо и еще два менее известных («Имн Венере», № 268; «Отрывки из Сафы» (№ 274–276)). Стихотворение «К Меркурию» (№ 295), подражание оде Горация, Бобров сочинил также не без оглядки на современных поэтов: тремя годами раньше ее, имитируя размер подлинника, перевел Востоков.

Однако большая часть поздних оригинальных стихотворений Боброва распределяется по уже знакомым жанрово-тематическим группам. Это, во-первых, оды, посвященные военным кампаниям (в данном случае – событиям антинаполеоновских войн 1805 и 1806–1807 гг. – «Год к вечности», № 273; «Походный бой», № 285; «К патриотам везде и во всяком...», № 286; «Шествие скипетроносного Гения...», № 292), оды на события в жизни царствующих особ («Ангел Багрянородного отрока», № 260; «Песнь эпиталамическая на брак Высочайших лиц», № 263), «надгробные» оды в воспоминание «браноносных гениев» («Воспоминание графа Вал. Ал. Зубова при его могиле», № 262; «На рябиновое деревце... на монументе Румянцова-Задунайского», № 293), шесть эпитафий разным лицам (№ 261, 265–267, 271, 284), песни (№ 279, 291) и два стихотворения к П.Ф. Герингу (№ 290, 296). Одно стихотворение прямо отсылает к принесшей автору успех «Тавриде» – «Новое одобрение коммерции в Таврии в 1806 году» (№ 288).

Новостью для Боброва можно счесть стихи, адресованные собратьям по перу – М.М. Хераскову и М.Н. Муравьеву. Это «Успокоение российского Марона» и «Весенняя песнь», написанные одинаковыми одическими пятистишиями с нерифмующейся заключительной строкой, но проникнутые элегическими настроениями. Оба стихотворения содержат указания на взаимоотношения автора с адресатами, упоминания основных их произведений, реминисценции из них и варьируют их поэтические темы. Так, в «Весенней песни»

картины весны являются развитием мотивов 7-й и 8-й строф оды Муравьева «Весна. К Василию Ивановичу Майкову» (1775), а в «Успокоении российского Марона» тема «запада жизни» и лебединой песни в целом и в особенности предпоследняя строфа представляют собой интерпретацию строк Хераскова из его «Оды... Александру I... на день восшествия на престол» (1801). Поводом к написанию этого стихотворения, возможно, послужил выход дидактической поэмы Хераскова «Поэт» (1805), в которой Бобров мог усмотреть косвенное одобрение собственных опытов, прежде всего ранних религиозно-философских стихотворений:

Приводит ли тебя в восторг, во изумленье
Вселенной дивное из хаоса явленье? –
Ты внемлешь ли, как рек Творец: да будет свет! –
Свет бысть! и тысячи явились вдруг планет.
На небе голубом когда заря явится,
То кажется ль тебе, что паки мир творится?
⟨...⟩
Когда творительный в восторге дух парит,
Всему дает он вид и все животворит;
Там камень чувствует, там речки воздыхают,
Там горы к небесам чело гордясь вздымают.
Черноволосая в звездах хаоса дочь
Мечтается ль тебе с жезлом свинцовым в ночь,
Которым на земли к чему она коснется,
Все меркнет, дремлет все, покою предается. –
Где для простых очей совсем предметов нет,
Рисует, видит там и чувствует Поэт[101].

Самое пространное из поздних стихотворений Боброва – «Россы в буре, или Грозная ночь на Японских водах» (1807). Это, собственно, небольшая поэма об одном эпизоде кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского 1803–1806 гг., а именно о том, как 1 октября (н.ст.) 1804 г.

---

[101] *Херасков М.М.* Поэт. М., 1805. С. 3–5. В приведенных строках есть прямые отсылки к стихотворениям Боброва «Размышление о создании мира» (№ 100) и «Хитрости Сатурна» (№ 116).

шлюп «Надежда», направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в Нагасаки, был застигнут тайфуном у берегов Японии. Ход плавания достаточно широко и оперативно освещался в русской печати. Так, Н.М. Карамзин в «Вестнике Европы» еще до отбытия судов из Кронштадта поместил заметку о готовящейся экспедиции, где доказывал необходимость торговой экспансии России: «Англоманы и галломаны, что желают называться космополитами, думают, что русские должны торговать на месте. Петр думал иначе – он был русским в душе и патриотом. Мы стоим на земле русской, смотрим на свет не в очки систематиков, а своими природными глазами; нам нужно и развитие флота и промышленности, предприимчивость и дерзание»[102]. Позднее в «Вестнике Европы» печатались письма участников экспедиции. Не было недостатка и в поэтических откликах: по случаю достижения «Надеждою» острова Овайги 7 июня 1804 г. написано стихотворение А.Ф. Мерзлякова «Тень Кукова на острове Ов-гиги» (1805). После возвращения «Надежды» в августе 1806 г. в Кронштадт на страницах «Лицея» И.И. Мартынова было без подписи помещено подробное описание путешествия[103].

У Боброва были особые причины интересоваться плаванием, устройству которого, будучи в 1802 г. морским министром, содействовал его давний покровитель Н.С. Мордвинов. В 1805 г. он был зачислен на службу в Адмиралтейский департамент при морском министерстве, ведавший, среди прочего, научными изысканиями, а потому и делами экспедиции Крузенштерна, т.е. Бобров был сослуживцем участников плавания «Надежды» и «Невы». После их возвращения ему, конечно, довелось выслушивать рассказы моряков, а возможно, и пожелания прославить поход в стихах. Последнее прямо касается эпизода, избранного предметом поэмы Боброва («бури» у японских берегов). В записках Крузенштерна он описывается следующим образом: «Бесстрашие наших

---

[102] Вестник Европы. 1803. № 6. С. 171.
[103] См.: *Лицей.* 1806. Ч. 4. Кн. 3.

матросов, презиравших все опасности, действовало в сие время столько, что буря не могла унести ни одного паруса. В 3 часа пополудни рассвирепела наконец оная до того, что изорвала все наши штормовые стаксели, под коими одни мы оставались. Ничто не могло противостоять жестокости шторма. Сколько я ни слыхивал о тифонах, случавшихся у берегов китайских и японских, но подобного сему не мог себе представить. Надобно иметь дар стихотворца, чтобы живо описать ярость оного»[104]. Таким образом, «сюжет» поэмы был подсказан Боброву самими ее героями. В примечаниях, где детально описывается все происходившее на корабле, он ссылается на рассказ М.И. Ратманова, одного из офицеров «Надежды». Примечания эти изобилуют профессиональной морской лексикой, что неудивительно, поскольку поэма посвящена «российским мореходцам» и адресована прежде всего им. Однако сочетание поэтического текста и мало уступающих ему по объему прозаических пояснений, «вымысла стихотворца» и подчеркнуто достоверных сведений создает особый художественный эффект. Наличие примечаний со ссылками на слова очевидца сближают «Россов в буре» с другой «малой поэмой» Боброва – «Черноморские трофеи...» (№ 47).

Адмиралтейский департамент, занимавшийся, в частности, изданием трудов на морскую тематику, обеспечивал Боброву в последние годы его жизни дополнительный заработок. Так, по заданию департамента он перевел вторую и третью части «Всеобщей истории о мореходстве» (изд. 1808 и 1811), а по собственному почину предпринял оригинальное исследование о мореходстве славянских народов[105]. Он успел

---

[104] *Крузенштерн И.Ф.* Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве»... М., 1950. С. 278–279.

[105] Древний российский плаватель, или опыт краткого дееписания, с присовокуплением инде критических замечаний на некоторые чужестранные повести о морских походах россиян, соч⟨иненный⟩ на основании разных ист⟨орических⟩ свидетельств надв⟨орным⟩ советником Семеном Бобровым. СПб., 1812. 108 с.

написать о плаваниях южных и западных славян и собственно «россиян» до Петра I. В 1809 г. рукопись была представлена в департамент и автору было рекомендовано «заняться продолжением сочинения со времен Петра Великого»[106]. Продолжить ему не довелось. Незавершенный труд был издан по решению Адмиралтейского департамента через два года после смерти Боброва «в уважение усердной службы и честного поведения сего чиновника и бедности оставшегося по нем семейства»[107].

7

Главный труд последних лет его жизни – поэма «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» (Ч. 1–2. СПб., 1807–1809)[108]. Это, по определению автора, «иносказательная эпопея» с небольшим числом действующих лиц, носящих имена, смысл которых раскрывается при переводе «с еврейского».

Содержание ее следующее. Нешам (Душа), сын царя Мизраха (Восток), поддавшись уговорам своей легкомысленной супруги Колгуфы (Плоть), покинул уготованный им для жизни сад, нарушив строгий запрет отца, за что был изгнан,

---

[106] *Соколов А.П.* Русская морская библиотека. 1701–1851. Исчисление и описание книг, рукописей и статей по морскому делу за 150 лет. 2-е изд. / Под ред. В.К. Шульца. СПб., 1883. С. 138.

[107] Там же.

[108] Сочинялась поэма в 1806–1807 г.: цензурное разрешение на издание первой книги было подписано еще 31 декабря 1806 г., а на издание последней, четвертой книги – 17 сентября 1807 г. (РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 8. Л.271; Д. 23. Л. 51; Д. 32. Л. 131, 192). Первая ее часть, включающая первую и вторую книги, была напечатана в 1807 г. в Академической типографии на средства автора в количестве 600 экземпляров, и Бобров был обеспокоен их сбытом, о чем писал С.И. Селивановскому в июне 1807 г. (см.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 401–402). Вторая часть (книги третья и четвертая) вышла в 1809 г. в типографии Губернского правления.

лишен зрения и под видом слепца принужден скитаться по разным странам и временам в поисках того, кто исцелит его от слепоты и примирит с отцом. Наставляет его на этом пути разумный и благочестивый Зихел (Разум), а совращает и чинит препятствия лживый Рамай (Губитель), иногда принимающий облик Зихела. Нешам посещает Вавилон, Ассирию, Индию, Иран, Эфиопию, Ливию, Египет, Сицилию, Грецию, Сирию, знакомится с разными религиозными и философскими системами, повсюду узнает «черты первообразного закона» (везде более или менее искаженного), «но врача не находит». Попадает в сети «ложных умствований» и «опасной эклектики» Рамая, женится на его дочери обольстительнице Таве (Вожделение), но, устрашенный знамением, бежит с брачного ложа, затем покушается на жизнь своего наставника Зихела и едва не становится самоубийцей, бросившись, по примеру Эмпедокла, в жерло Этны. Останавливает его лишь явление Зихела и песнь его спутницы – «сострадательной Кемлы». Наконец в Палестине он оказывается одним из евангельских слепцов, сидящих у врат Иерихона, и получает исцеление от руки Спасителя. Тогда наступает «рассвет».

Видно, что в своей «иносказательной эпопее» Бобров воспроизвел схему аллегорического путешествия в поисках истины. Однако замысел его был в принципе шире. Он создавал монументальный религиозно-философский эпос, поэтическую историю человечества до Христа, и призвал в спутницы *«священну Клию»*, а не другую музу. О его приверженности к исторической тематике можно было судить уже по его ранним стихам в «Покоящемся трудолюбце» (священная история), по «Тавриде» (история Крыма) и первой части «Рассвета полночи» (история России в XVIII столетии). В данном случае он, по собственному признанию, хотел «составить историю разума человеческого»[109] и поэтому сопро-

---

[109] *ДНВ*. Ч. 2. Кн. 4. С. 298.

водил поэму учеными «объяснениями» и «примечаниями» (ок. 200 страниц на 700 страниц стихов).

Европейские образцы «Древней ночи вселенной» автор, как и в случае с «Тавридой», назвал сам[110]. Это «Потерянный рай» Дж. Милтона («The Paradis Lost», 1667), «Мессиада» Ф.-Г. Клопштока («Der Messias», 1748–1773), «Смерть Авеля» С. Геснера («Der Tod Abels», 1758), «Страшный Суд» Бенгта Лиднера («Yttereta domen», 1788), т.е. поэмы, имеющие своим предметом события священной истории, и «Ночные размышления» Э. Юнга. В их ряду назван и М.М. Херасков, но не как сочинитель «Россияды» и «Владимира», а как автор небольшой поэмы «Вселенная» (1790), повествующей о творении мира и человека и о восстании сатаны. Как видно, свою поэму Бобров располагал в ряду европейских религиозных эпопей, но при этом не желал, чтобы в ней видели простое поэтическое изложение событий из священной истории, как у Милтона и Клопштока, а тем более аллегорический «роман» или «героическую поэму»[111].

Как и в «Тавриде», Бобров в новой поэме педантично сообщает множество исторических сведений, уравнивая в правах «историю» с «вымыслом». Достоверность, «историческая истина» для него важны не только сами по себе, но и как эстетический фактор. Поэтому в странах, через которые проходят слепец и его наставник, правильней видеть не ступени посвящения или символические пространства блу-

---

[110] См.: Там же. С. 144–145, 326.

[111] Ср.: «Книга сия не роман и не героическая поэма ⟨...⟩ также не есть особливое какое извлечение из священной или языческой истории; но она, так сказать, есть средняя черта, которая, находясь между первой и второй, покушается иногда сближиться то к той, то к другой, боясь между тем к обеим прикасаться, и как бы не смея ни исказить первой чрез последнюю, ниже возвысить последней чрез снисхождение первой. Таким образом, можно назвать сие творение некоторым только родом самого легкого и отдаленного инде покушения на оба сии образца» (*ДНВ*. Ч. 1. Кн. 1. С. 1).

ждания души, а конкретные страны, вернее – конкретные религиозно-философские системы. Бобров пытался воспеть подлинную древность. Едва ли ему это удалось, но он стремился создать именно такое впечатление о своих намерениях, чему отчасти и служат многочисленные объяснения и ссылки на древних и новых авторов.

Любопытно заявление Боброва об автобиографическом подтексте поэмы: «Я... хотел... представить *себя самого* под видом *слепца*»[112]. Как справедливо заметил М.Г. Альтшуллер, «эта лирическая аллегория настолько глубоко запрятана поэтом, что разыскать ее в тексте без помощи автора было бы невозможно»[113]. Есть лишь одно место в поэме, где очевидно, что Бобров отождествляет себя с ее главным героем: это эпитафия, «надпись лжива», которую сочиняет себе мечтающий о смерти Нешам:

Он стал дышать на бреге Волжском;
Вздохнул в последний раз на Финском. –
Он славу пел полубогов,
Паренье Гениев пернатых,
Красы Эвксинских берегов,
Восход из тьмы божеств зачатых,
Слепого путь, прозренье, честь,
И сам с надеждой недозревшей
И с силою полурасцветшей
Лег с арфой в ниве Божьей в персть,
Чтоб там восстать, – дозреть – и цвесть.

(*ДНВ*. Ч. 2. Кн. 3. С. 218–219)

Полное раскрытие автобиографического подтекста поэмы едва ли возможно[114], но в некоторых случаях автор делает довольно ясные намеки. Особый интерес в этой связи представляют V–VI песни поэмы, посвященные Египту.

---

[112] *ДНВ*. Ч. 2. Кн. 3. С. 298.

[113] *Альтшуллер 1964*. С. 235.

[114] «Можно ли заставить другого, чтоб он чувствовал силу *не своего* опыта? Надобно самому ему быть в тех же расположениях» (*ДНВ*. Ч. 1. Кн. 1. С. 14).

Здесь маг Фарес предъявляет целый каталог египетских божеств и идеограмм (Всевидящее око, «сомкнутый змей», Тифон, крокодил и др.), истолкованных как теософские символы, элементы тайного знания, к усвоению которого нужно подниматься по длинной лестнице посвящений[115]. Реакция Зихела (Разума) на это толкование такова:

Внимательный *Зихел* не ведал,
Чему дивиться в сих словах,
Глубокости ли надлежащей,
Иль новым мерам предложений,
Иль дикости мудреных мыслей?
(*ДНВ*. Ч. 1. Кн. 2. С 129)

По его мнению, эти идеограммы – простые аллегории, знаки древнеегипетского письма. Впоследствии их значение было забыто, а «корысть» жрецов и «страх» народа соделали из них обольстительную тайну, откуда произошло многобожие и вообще много нелепостей.

Священны письмена и знаки...
⟨...⟩
У них был токмо зримый образ
Невидимого Божества.
⟨...⟩
Но из сего языка сами
Египтяне мудролюбивы
Себе кумиров сотворили.
Что прежде было лишь символом,
То после стало истуканом;
Что прежде было токмо буквой,
То ныне стало божеством.
Чего корысть и страх не зиждут? –
Ученики их, древни *греки*...
⟨...⟩
Вот сколько вредно и опасно
К сим буквам не иметь ключа!
(*ДНВ*. Ч. 1. Кн .2. С. 150–151)

[115] См.: *ДНВ*. Ч. 1. Кн. 2. С. 126–131.

Далее Зихел обличает эзотеризм и элитарность учения египетских магов, доступного лишь мнимым «посвященным»:

Коль вещь полезна по себе,
Коль служит к благу человеков,
Почто ж утаевать ее
Под непостижным языком
И мрачностью изображений?
⟨...⟩
От вас самих далек тот свет,
Что зреть мечтаете в *символах,*
Колико ни гордитесь вы
Своею близостью к нему;
А истина бежит от вас...
⟨...⟩
Прости, мудрец! – приидет день,
Как всяка слепота спадет,
Рассыплется символов мгла
И обнажатся ваши *тайны.*
(*ДНВ*. Ч. 1. Кн. 2. С. 152–155)

Нетрудно увидеть здесь полемику с идеологией московских розенкрейцеров, среди которых воспитывался Бобров. Возможно, ему ближе было рационалистическое масонство английского образца (что особенно вероятно при его «англоманстве» в литературе). Не исключено, что он и вовсе не был масоном, и, хотя не мог остаться нечувствительным к усиленному воспитательному воздействию розенкрейцерского кружка в пору юности (как и Нешам в поэме ненадолго увлечен речами Фареса), вскоре от него отошел[116].

Песни поэмы, посвященные Египту, и в других случаях полны аллюзиями на современность, поскольку в сознании Боброва он соотносился с Россией – земледельческой страной, жизнедеятельность которой также во многом обеспечи-

[116] Недоброжелательный намек на масонских наставников содержится также в рассказе шерифа Омара о его недолгом пребывании в ордене дервишей (см.: «Херсонида», песнь IV, ст. 649–672).

валась одной великой рекой[117]. Вообще, Египет в поэме не столько «символ земного плена» или «вместилище сокрытой мудрости», сколько аллегорический «заместитель» России в странствиях Нешама по древнему миру. Отмечалось, например, что в сцене загробного суда над дурным и добродетельным вельможами содержатся элементы злободневной сатиры[118]. В другом случае Зихел (Разум) прямо осуждает российскую систему налогообложения, а одобряя оросительные каналы Египта, по замечанию автора, «вещает как Патриот»[119].

«Древняя ночь вселенной» стала итоговым произведением Боброва и именно в этом качестве была издана им в свет. Так, в стихотворном вступлении он подробно исчисляет этапы своего творческого пути и, вздыхая о прежних «часах очарования души», начинает путь в «велику нощь»[120]. В поэме представлены многие темы его раннего творчества (творение мира, «хитрости смерти», природные катаклизмы и кончина мира, гибельность страстей и т.д.), есть прямые цитаты из собственных стихов, в особенности из «Херсониды» (например, в описаниях грозы, зноя, утра и др.[121]). Однако в «Древней ночи вселенной» Бобров отказывался от «картинности», свойственной его первой, описательной поэме[122], и, хотя и в новой

---

[117] Волга в одном стихотворении Боброва названа «росским Нилом» (№ 32, ст. 276).

[118] См.: *ДНВ*. Ч. 1. Кн. 2. С. 164. Ср.: *Альтшуллер 1964*. С. 238.

[119] См.: Там же. С. 157–158. Ср.: *Коровин 2004*. С. 107–108.

[120] См.: *ДНВ*. Ч. 1. Кн. 1. С. 17–18. Эта открывающая поэму поэтическая автобиография Боброва, весьма вероятно, послужила образцом для пушкинского автобиографического отступления в начале восьмой главы «Евгения Онегина». См.: *Коровин В.Л.* Пушкин – Овидий–Бобров (О начальных строфах главы восьмой «Евгения Онегина») // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2007. Т. 66. № 3 (май-июнь). С. 41–47.

[121] Там же. С. 78, 139; Ч. 2. Кн. 4. С. 292.

[122] «В сем сочинении не столь много живописи, сколько бы в прочем могло дать счастливейшее воображение другого *Гения*. В нем при среднем слоге более размышлений, более бесед, более исторической части...» (*ДНВ*. Ч. 1. Кн. 1. С. 15).

поэме не вполне чуждался довольно экспрессивных образов, но их «концентрация» значительно ниже, чем в «Херсониде». Действия в новой поэме также немного, а преобладают беседы на религиозные и философские темы (так, почти вся XI песнь посвящена доказательству бессмертия души).

Давно отмечено, что последняя поэма Боброва «носит на себе все достоинства и недостатки, свойственные другим его произведениям»[123]. В чем-то она даже «подчеркнула слабые стороны его творчества»[124]. В ней многое должно было казаться странным – и сюжет, и сам ее объем (ок. 17,5 тыс. стихов), практически беспрецедентный в русской поэзии того времени (например, самая большая поэма Хераскова «Бахариана» состоит менее чем из 15 тыс. коротких стихов, а у Боброва, помимо стихов, есть еще 200 страниц «объяснений»). Из-за своей учености, обилия отвлеченных рассуждений, архаичного языка и не в последнюю очередь из-за своих размеров «Древняя ночь вселенной» была не только не принята, но и практически проигнорирована современниками. Не сохранилось ни одного сколько-нибудь пространного отклика на нее и почти ни одного упоминания. Видимо, ее попросту не читали. Это неприятие «Древней ночи вселенной» публикой было столь всеобщим, что даже М.И. Невзоров в своем апологетическом отзыве о поэте не решился защищать ее: «Не сия ли, по видимому, поэма подает случай молодым критикам мыслить о г. Боброве, что будто бы он писал так, что его никто не разумеет? 〈...〉 Оставляя рассмотрение сей поэмы для будущего времени, нужным почитаю я в сей раз заметить: ежели бы в самом деле она была писана так, что нельзя ее разуметь, то не заслуживает ли г. Бобров внимания по другим сочинениям»[125].

---

[123] *Плаксин В.Т.* Руководство к изучению истории русской литературы. 2-е изд. СПб., 1846. С. 171.

[124] *Альтшуллер М.Г.* Идейные и художественные искания в русской лирике 1790-х гг. (Н. Николев, П. Сумароков, Е. Костров, С. Бобров). Автореферат ... канд. дисс. Л., 1966. С. 14.

[125] *Невзоров 1810.* С. 159–160. Подробней о поэме «Древняя ночь вселенной» см.: *Коровин 2004*. С. 95–111.

* * *

О жизни Боброва современники не оставили почти никаких воспоминаний. Однако о смерти и последних днях этого поэта, так часто писавшего о смерти, известны некоторые подробности. О них поведал давний его товарищ П.П. Икосов в письме к М.И. Невзорову, которое тот опубликовал в своем журнале в качестве некролога: «Болезнь его сначала имела медленное нашествие; сильный кашель только его обременял, однако же не препятствовал ему выходить к должности как в департамент Адмиралтейства, так и в Комиссию составления законов, особливо в благоприятную погоду; потом такая осиплость в горле появилась, что сострадательно было на него смотреть, если он хотел что с чувством выразить. В таком положении г. Бобров был месяца четыре и более, а недели две перед кончиною слег в постель, и открылось у него гортанью кровотечение. – Я его посещал марта 14, и тогда он казался спокойнее, кровь показывалась только при извержении мокроты. – Он изъявлял желание видеть скорее весну; однако ж говорил, что *он не думает выздороветь*. В вечеру при мне доктор, его лечивший, осмотрел пластырь с шпанскими мухами на груди, но действия пластырь никакого не имел. На другой день попечением благодетеля его, генерала цейгмейстера Петра Федоровича Геринга, составлен был из трех врачей совет; но все не полегчало, и на 22 число марта около трех часов ночи после покойного сна пустилась вдруг кровь как бы из всех сосудов разом, и тут смерть восторжествовала, сразив больного на руках супруги. Тело его погребено в самый день Благовещенья, т.е. 25 марта, на Волковом кладбище, тело, которое достойно быть положено близ гроба г. Ломоносова»[126].

[126] *ДЮ*. 1810. № 5. С. 127–128. В других некрологах (Вестник Европы. 1810. Т. 51. № 11. С. 245–246; Европейский музеум. 1810. № 14. С. 112) подробностей о смерти Боброва не сообщалось.

В.Л. КОРОВИН

«РАССВЕТ ПОЛНОЧИ»: история издания, состав и композиция

ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ

«Рассвет полночи» (далее – *РП*) задумывался автором как полное собрание сочинений, куда должны были войти не только его стихи, но и проза (на титульном листе упомянуты «разного рода в стихах и прозе опыты»). Предварительные условия с издателем И.П. Глазуновым были заключены 2 ноября 1803 г.[1] План издания изложен в «Предуведомлении» к первой части, вышедшей на год раньше других: «*Сей Рассвет полночи* должен заключать несколько перемен или по крайней мере четыре части и более, из коих первая, как полагаю, будет называться *Порфироносные Гении России*; вторая *Герои Севера*, или *Военные оды*; третия *Занимательные часы для души и сердца*, которые разделятся на два рода: один будет содержать *священные размышления, духовные и нравственные песни*, а другой *домашние жертвы и некоторые эротические черты*; четвертая: Картина *Херсониса Таврического*, или *Мои лучшие летние сутки в Тавриде*. – В дополнение сих частей последуют разные случайные произведения сердца и воображения, также и переводы из славнейших английских, французских и латинских писателей».

Явившийся в итоге четырехтомный *РП* в целом соответствует этому плану, но с двумя отступлениями: 1) вторая часть включает не только «военные оды», но и стихотворе-

---

[1] См.: Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1.: А-Д. М.: РГБ, 2001. С. 149.

ния, посвященные «миролюбивым Гениям»; 2) дополнительный том издан не был, и отдельные переводы из английских, немецких, французских и латинских авторов и многие стихотворения «к случаю» вошли в третью часть *РП*. Переводы, выполненные в прозе, которые Бобров, видимо, намеревался собрать в дополнительном томе[2], в *РП* не вошли. Некоторые из его переводов, опубликованных в периодике в 1805–1806 гг.[3], вероятно, тоже предназначались для этого несостоявшегося тома.

Первая часть *РП* увидела свет в самом начале 1804 г.: в апреле И.И. Мартынов уже откликнулся на нее похвальной рецензией (*Мартынов 1804*). Следующие части были отпечатаны в первой половине 1805 г. (хотя и на их титуле значится 1804 г.).

Сначала вышла часть тиража «Херсониды» без указания, что поэма составляет четвертую часть *РП*. Отдельное цензурное разрешение на посвящение поэмы Александру I было получено у Г.М. Яценкова в ноябре 1804 г.[4] Рецензию на поэму опубликовал Н.П. Брусилов в февральском номере издаваемого им «Журнала российской словесности» (1805. Ч. 1. № 2. С. 113–120) (это была первая критическая статья в его журнале). Однако в новогоднем обзоре, называя среди

---

[2] До выхода *РП* увидели свет следующие его переводы в прозе: 1) Храм смерти, или Отчаяние юноши по кончине любезной. Соч. графа Буккингама // Зеркало света. 1787. Ч. 6. № 94. С. 679–682; № 96. С. 701–704 (*Sneffild J.* The temple of Death. 1695); То же // Иппокрена, или Утехи любословия. 1801. Ч. 8. С. 23–29; 2) Беседы душ великих и малых людей, соч. Литтельтона. СПб., 1788. 216 с. (*Littelton J.* Dialogues of the Death. 1760); 3) Пустые бредни о духах. С англ. // *БГ*. 1789. Ч. 2. № 10. С. 178–186 (The Spectator. 1711. № 12); 4) Послание из Италии к лорду Галифаксу 1701 года // Иппокрена, или Утехи любословия. 1801. Ч. 8. С. 40–51 (*Addison J.* A letter from Italy... 1701).

[3] В «Северном вестнике» (1805) и «Лицее» (1806) появилось 10 его переводов в прозе (см.: *Коровин 2004*. С. 215–217; в приведенной здесь библиографии это № 36–40, 42–43, 54, 64–65).

[4] См.: Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1. С. 149.

«превосходных» русских книг минувшего 1804 г. «Рассвет полночи, соч. г. Боброва» (1805. Ч. 1. № 1. С. 54), чрезвычайно высоко оцененную в рецензии «Херсониду» Брусилов не упомянул. Самое простое этому объяснение: книга появилась в январе или начале февраля 1805 г. Этот факт подтверждается издательским примечанием Мартынова к статье И.Т. Александровского «Разбор поэмы *Таврида*», появившейся в мартовском номере «Северного вестника»: «Сочинитель сего обзора ⟨...⟩ написал оный до нового издания *Тавриды*, которая ныне называется *Херсонидою*»[5]. Статья Александровского, ученика Мартынова, являлась печатным вариантом его «Речи на российском языке», упомянутой в отчете о первом публичном испытании студентов Педагогического института 9, 11 и 15 февраля 1805 г.[6] Ответственная «речь», которой «испытание было окончено», конечно, готовилась заблаговременно, и если бы «Херсонида» вышла из печати не в январе-феврале 1805 г., а хотя бы в декабре 1804 г., Александровский сам, как минимум, упомянул бы в своей статье этот второй вариант разобранной им «Тавриды».

О времени выхода из печати второй и третьей частей *РП* нет вполне достоверных данных. Во второй части *РП* находится «кенотафия» переводчику Т.И. Можайскому (№ 96), скончавшемуся, по имеющимся сведениям, 19 июня 1805 г.[7] Если дата верна, то вторая часть вышла не ранее конца июня – начала июля 1805 г., а затем, видимо, были отпечатаны третья часть и – вновь, но уже в качестве четвертой части *РП* – «Херсонида».

Впрочем, даже если дата смерти Можайского неверна, вполне вероятно, что вторая и третья части *РП* были выданы в свет после того, как появилась «Херсонида» в качестве

---

[5] *СВ*. 1805. Ч. 5. Март. С. 301.

[6] См.: *СВ*. 1805. Ч. 5. Февраль. С. 238–241.

[7] См.: Петербургский некрополь. Т. 3 (М–Р). СПб., 1912. С. 154; *Антонов А.С.* Можайский Т.И. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. СПб., 1999. С. 295–296.

особого издания, т.е. после января-февраля 1805 г. Первая часть *РП*, принадлежащая перу еще мало известного в столицах автора, не вызвала, кроме статьи Мартынова, никаких печатных откликов и едва ли пользовалась спросом. Уже по этой причине Глазунов мог не спешить с изданием следующих частей (если вообще они были готовы). Напротив того, «Херсонида» имела несомненный успех и сделала имя Боброва известным читающей публике. 21 марта 1805 г. он был даже высочайше пожалован перстнем «за поднесенную поэму»[8]. В этих условиях уже можно было расчитывать на сбыт второй и третьей частей *РП*, и тогда (т.е. в июне-июле или, во всяком случае, не раньше марта) они, видимо, и были изданы вместе с допечаткой тиража «Херсониды» как четвертой части *РП*. Этот вывод косвенно подверждается тем, что сочинения и переводы Боброва на страницах «Северного вестника» стали регулярно появляться именно с июля 1805 г.[9]

СОСТАВ И КОМПОЗИЦИЯ

В *РП* вошли все прежде публиковавшиеся стихотворения Боброва (в значительно переработанном виде), но подавляющее большинство стихотворений в *РП* появилось впервые. Большая их часть была написана на юге в 1790-х годах и столичной публике оставалась неизвестной. Даже «Таврида», изданная в Николаеве в 1798 г., практически никем не была замечена[10]. Бобров выходил с четырехтомным собранием сочинений к читателям, которые в лучшем случае смутно помнили его журнальные публикации почти двадцатилет-

---

[8] *РГИА*. Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2. Ед.хр. 3922. Л. 212.

[9] С июля по октябрь 1805 г. в «Северном вестнике» появилось 16 текстов Боброва, в марте и апреле – только 4, а в январе-феврале и мае-июне публикаций вовсе не было. См.: *Коровин 2004*. С. 215–216

[10] См.: *Мартынов 1804*. С. 32–33.

ней давности (всего 14 стихотворений). В неожиданности такого явления, нарушающего неписаные правила литературного этикета (прежде, чем издавать собрание сочинений, следовало стяжать себе «имя»), заключалась едва ли не главная причина последовавших недоумений и неблагоприятной литературной репутации Боброва, окончательно сложившейся в ходе споров «карамзинистов» и «шишковистов» (см. в предыдущей статье наст. изд.). Однако для самого поэта, долгое время насильственно отторженного от столиц, желание явиться перед читателями сразу и целиком было вполне естественно.

В собрании своих стихотворений он видел органическое и нерасторжимое целое. В «Предуведомлении», вспоминая об успехе ранних стихотворений, теперь собираемых в одном издании, он пишет: «Я льщусь, что ежели члены тела порознь были столь счастливы, что понравились, то и целое тело, с желаемою теперь исправностию составляемое из оных, принято будет не без благосклонности». В *РП* нашла свое завершение присущая ему с первых шагов на поэтическом поприще тенденция оформлять свои произведения в циклы. Стихотворения в *РП* автор сгруппировал по тематическому принципу, так что каждая часть является в определенной мере законченным и самостоятельным художественным целым, но и в совокупности они образуют некоторое единство.

Особенно наглядно в своей четкости построение первой части – «Порфироносные Гении России». Это поэтическая история России XVIII столетия, представленная как длинный путь от «рассвета полночи» к наступающему «полдню». Здесь «полночь» – это мрак исторического небытия страны до «сотворения» ее Петром I и сама Россия – северная страна, только теперь, во дни Александра I, возрастающая в меру своего величия: «Новое наименование книги сей не может относиться к произведениям пера, составляющим оную, но преимущественно и особливо к подвигам великих Гениев России, которые с начатия осьмогонадесять столетия

доныне тщились образовать отчужденную, так сказать, дотоле нашу гемисферу и по глубоком мраке установить в ней совершеннейший день просвещения, благопоспешности и славы. Таким образом рассветала полночь. – Ныне наступает ея полдень. Вечная признательность Провидению» («Предуведомление»). В эпиграфе строки из од Горация (I, 2: 49–50; V, 4: 6–8), посвященные Августу, в вольном переложении переадресованы Александру I и тоже говорят о наступающем «полдне»:

– Здесь паче возжелай трофея и венца!
Здесь имя возлюби владыки и отца!
– Твой взор блистает здесь перед лице народа,
Подобно как весна в приятно время года.
Се дни с приятнейшей усмешкою бегут!
Се солнечны лучи прекраснее текут!

Первую часть открывает пространная «Столетняя песнь» (№ 1), построенная как беседа поэта с Янусом при начале нового века и повествующая о свершениях минувшего «осьмогонадесять века России» и ее «порфироносных Гениях» – о Петре I (главным образом), Екатерине I, Елизавете Петровне, Екатерине II и об Александре I, который ныне «как заря восходит». Затем идет краткое стихотворное обращение «К новостолетию XIX» (№ 2). Далее последовательно расположены стихи, посвященные деяниям, смерти и посмертной славе Петра I (№ 3–5), Елизаветы Петровны (№ 6–7), Екатерины II (№ 8–12), успехам кораблестроения и присоединению Грузии в царствование непоименованного Павла I (№ 13–16, 20), его гибели от рук заговорщиков (№ 18) (о чем, конечно, говорится туманно) и, наконец, восшествию на престол и торжествам коронации Александра I (№ 21–25, 29–32). Замыкает первую часть ода, посвященная столетию Петербурга и возвращающая читателя к образу его основателя: «Торжественный день столетия от основания града Св. Петра. Маия 16 дня 1803» (№ 33).

В начале и конце тома расположены стихи, обнимающие минувший век в целом, причем торжества столетия Петербурга, к которым приурочена заключительная ода, упоминались и в «Столетней песне» (№ 1, ст. 286–290):

Так век меж россов знаменитый
Летал средь славы, красоты;
Так и конец его маститый,
И век Петрополя златый
В громах прославлен АЛЕКСАНДРОМ.

Ср. в «Торжественном дне столетия...» (№ 33, ст. 31–37):

В сей день, толико мне желанный,
Праправнук Августейший твой,
Небесным сердцем одаренный,
Екатерины внук драгой,
Предыдя в блеске славы ратной
Потомственным твоим полкам,
Велит торжествовать громам.

Восемнадцатое столетие начиналось так:

Тогда Россия в мрачый век
В своей полнощи исчезала;
«Да будет Петр!» – Бог свыше рек,
И *бысть* в России Солнце света.

(№ 1, ст. 82–85)

Затем «светильник» разгорается и «область нощи озаряет», пока, наконец, не устанавливается «торжественный день». Такова общая, отчетливо прогрессистская схема исторического процесса, представленная в первой части *РП*.

В этом поступательном движении было одно затмение – царствование Павла I. Кончину Екатерины II Россия оплакивает среди сгущающихся вечерних теней, «при трепетном луны блистаньи»(см. № 9, ст. 1–24), а ода о Павле I и его гибели названа «Ночь» (№ 18), что в контексте первой части *РП*

звучит едва ли не как политическая оценка. Акцент при этом сделан на воинственности императора («Варяга»), уподобленного Юлию Цезарю, «бичу вселенной», и князю Святославу Игоревичу, «бичу греков»[11]. Едва ли не важнейший мотив стихотворения – мрачные предзнаменования кончины мира. Смерть Павла-«Варяга» в итоге сама становится одним из таких предзнаменований.

«Ночь» находится между «Судьбой ратоборных Гениев России» (№ 17) – весьма своеобразным стихотворением-перечнем героев русской истории начиная с Рюрика, спящих «под тенью нерассветной», – и стихами на смерть А.В. Суворова с заключительным возгласом «увы!..» («К праху российского Ганнибала», № 19). Эти три стихотворения, находящиеся ровно в середине первой части *РП*, своим трагическим, сплошь «похоронным» звучанием вносят некоторые коррективы в общую ее концепцию. Пока, однако, все разрешается благополучно: Россия «приращается» Грузинским царством (№ 20), настает «Торжественное утро марта 12 1801 года» (№ 21), памяти умершего в немилости Суворова воздается должное (№ 26–28) и т.д. В заключение Нева славит основателя Петербурга. Просветительская концепция прогресса не поколеблена.

Композиция второй части *РП* – «Брононосные и миролюбивые Гении России, или Герои Севера в лаврах и пальмах» – более изощренна. Ее тема – разнообразие призваний на поприще служения отечества – заявлена в эпиграфе из

---

[11] Ср.: «*Иулий* – страшный бич вселенной...» (№ 97, ст.157); «Где... *Святослав, бич греков*?» (№ 17, ст.2). В «Ночи» с Цезарем Варяг сравнивается прямо, со Святославом – в силу своего наименования варягом. О «бичах вселенной» и мирных владыках заходит речь и в других стихотворениях, где говорится о Павле I (см. № 12, ст. 132–141; № 21, ст. 65–72). В «Гласе возрожденной Ольги к сыну Святославлю» (№ 12) Павел I прямо отождествляется со Святославом.

«Любовных элегий» Овидия (III, 8: 56–57) с вольным переложением:

Иным то бурная война,
То мирной сени тишина;
Другим судилище иль поле
Назначено в сей жизни долей.

Здесь за стихами общего характера (№ 34–36, см. о них ниже) следуют одический цикл о победах русской армии и флота в войнах с турками и шведами в 1787–1791 гг. и торжествах мира (№ 37–43)[12], затем стихотворения, посвященные военачальникам и флотоводцам, прославившимся в этих войнах, – Н.В. Репнину (№ 44), В.Я. Чичагову (№ 45), С.К. Грейгу (№ 46), Ф.Ф. Ушакову (№ 47), А.В. Суворову (№ 48), стихи на смерть П.А. Румянцева (№ 49), далее перевод из Н.Буало (№ 50) и «отзыв» ему (№ 51), навеянные участием России в войне с революционной Францией в 1799–1800 гг. Все эти «военные оды» Бобров располагает в хронологической последовательности.

Помещенные вслед за ними восемь стихотворений (№ 52–59) обращены к покровителю поэта Н.С. Мордвинову. По ним можно проследить основные вехи его служебной деятельности. Мордвинов здесь именуется «Патриотом» и изображается в первую очередь как государственный муж, т.е. этот цикл подключается к предыдущим стихотворениям, прославляющим «браноносных Гениев».

Напротив, все следующие стихотворения (до № 81), адресованные в основном П.Ф. Герингу и его семейству, говорят о событиях частной жизни, т.е. имеют предметом «честь деяний» вполне «миролюбивых Гениев». Границу

[12] Первоначально № 37, 39, 41–43 составляли одну оду, изданную особо: «Слава российских Ироев, ознаменовавших себя в течение 1788 по 1792 год. Победная песнь. Сочинение Семена Боброва на случай торжества мира с Портою сентября 2 дня» (СПб.: тип. Вильковского, ⟨1793⟩. 24 с.).

между ними и всеми предшествующими стихотворениями полагает «Высочайшая милость г. Герингу...» (№ 60) – единственное, где речь идет о службе друга поэта. Далее идут стихи, написанные к дню рождению Геринга (№ 61–67), стихи о его поместье близ Николаева (№ 69–72), о новогодних увеселениях, в которых принимали участие Мордвинов с супругой (№ 73–77), об учреждении в Николаеве типографии (№ 79) и др.

Как видно, во второй части *РП*, в соответствии с ее названием, выделяются два раздела – о «браноносных» и «миролюбивых» Гениях, – включающие примерно равное количество стихотворений.

Как и в первой части *РП*, в начале и в конце второй помещены стихи общего характера, образующие как бы две «рамки»: 1) «Образ Зиждительного духа» (№ 36) – «Плачущая нимфа реки Гипаниса...» (№ 81) и «Кенотафические памятники подвигоположникам» (№ 82–96); 2) «На новый год ко вступающему в путь жизни и подвига» (№ 34) – «Могила Овидия...» (№ 97).

Стихи, образующие первую «рамку», повествуют о былой славе и современных печалях России: «Образ Зиждительного духа» – о ее возвышении от времен святого князя Владимира до императора Александра I, а идиллия на смерть князя Г.А. Потемкина (№ 81) и ряд «кенотафий» разным лицам – об утрате ею своих верных сынов.

Вторую «рамку» образуют философические стихи о горьком уделе человека и тщете земных начинаний. Если послание «На новый год...» адресовано юноше, только вступающему в «путь жизни и подвига», то в «Могиле Овидия...» тень римского поэта вещает о своей давно совершившейся «слезной судьбе». «Цель» земной жизни и утешение человека находятся за ее порогом, в чем уверены и Назон, чей дух теперь «юн на небесах», и поэт, наставляющий юношу:

...сквозь бури мира
Проложишь столь же верный шаг,
С коликим усыпленьем мира

Ступил ты в первый мира праг;
Сколь тихо было в колыбели,
Столь тихо снидешь к общей цели...
К какой же, храбрый мой сподвижник?
К могиле матерней – и дале...

(№ 34, ст. 81–88)

Наконец, замыкают вторую часть *РП* «Запрос новому веку» и «Предчувственный отзыв века» (№ 98–99) – стихотворения, возвращающие читателя к исторической проблематике. Со стихотворениями, открывающими первую часть *РП* (№ 1–2), они составляют единый цикл (и написаны, видимо, одновременно[13]). Есть и общие мотивы – в частности, комета Галлея. Она прошла через перигелий в 1682 г. – в год воцарения Петра I. О несбывшихся ожиданиях катастрофы, вызванных ее явлением, говорится в «Столетней песни» (№ 1, ст. 68–81):

Огнистый шар сквозь мрак глубокий
Из дальних долов тверди шел;
За ним хвост влекся против солнца.

Кто? – кто не содрогался в страхе?
Кто не вопил: «Увы! падет
Вселенная теперь во прахе?
Сторичный пламень все пожжет,
Пожжет висящи в тверди земли.

Взревут горящи океаны,
Кровавы реки потекут;
Плеснут на твердь валы багряны,
Столпы вселенной потрясут». –
Так все в комете зло стретали.

Но твердь иное предвещала...

---

[13] См.: *Альтшуллер 1977*. С. 119–124.

Вновь комета должна была явиться в 1835 г. Она упомянута уже в первом стихоторении второй части (№ 34, ст. 9–16), но подробней об ожидаемом новом ее явлении говорится в заключительном «Предчувственном отзыве века» (№ 99, ст. 93–105):

Тогда, – как миролюбный плуг
В браздах по тридцати веснах
Отсвечивать при солнце будет, –
Блудящий пламенный мир некий,
Как странник тверди огневласый,
Сойдет в сию долину неба
И сблизится тогда с землей.
Что, сын мой? – ты бледнеешь, – тщетно;
Не лучше ль ободряться чувством
И той гадательною мыслью,
Что сей небесный посетитель
Провозвестит земле средь молний
Премудрости и славы полдни?

Катаклизмы, «непогоды в царствах мира и природы» неизбежны, как и самая кончина мира. Но, возможно, комета 1835 г. предвозвестит не гибель, а «век благопоспешности и славы», как это уже случилось с кометой 1682 г.[14] «Гадательными мыслями», утверждением надежды на будущее,

[14] Пророчество о явлении кометы Галлея в 1835 г. содержится и в заключительной VIII песни «Херсониды» (ст. 330–339):

Сармат! – чрез тридцать лет, – внемли! –
Чрез тридцать лет она скатится
Из дальних небеси пустынь.
Предтеча ей – торжествен ужас;
Сопутник – океан огнистый;
А след – цель поприща чудесна.
Она и древле посещала
В час грозный *Цезаря* последний
И мрак спускала над *крестом*...
Она, – она зардеет вновь.

на наступление «Кумеиных времен» и заканчивается вторая часть *РП*:

Не отрицай сих чувств – и жди,
Как путник на брегу морском!
(№ 99, ст. 194–195)

Расположение стихов одного цикла в начале первой и конце второй части создает еще одну «рамку» и подчеркивает их содержательное и композиционное единство, но при этом обособляет их от третьей и четвертой частей *РП*, не так тесно связанных с ними и между собой и, на первый взгляд, в меньшей степени соотносимых с заглавием собрания. Именно это, вероятно, имел в виду И.Н. Розанов, обронивший замечание, что «метафора» «Рассвет полночи» «относится к первым двум частям»[15].

Третья часть *РП*, в отличие от первых двух, не имеет ведущей темы и по составу отличается большим разнообразием, что явствует уже из ее заглавия – «Игры важной Полигимнии, забавной Каллиопы и нежной Эраты, или Занимательные часы для души и сердца относительно священных и других дидактических песней с некоторыми эротическими чертами и домашними жертвами чувствований». Принцип ее построения жанрово-тематический.

Она распадается на три раздела, соответствующие тому, что обозначено в заглавии: 1) «Игры важной Полгиминии», т.е. «духовные», философические и нравоучительные (одним словом, душеполезные) стихотворения (№ 100–181); 2) «Погудки моей Каллиопы», т.е. шуточные стихи (№ 199–226); 3) «Эротические черты и им подобные», т.е. идиллии, образцы легкой поэзии и т.п. (№ 227–257). Между душеполезными и шуточными стихотворениями (видимо, во избежание слишком резкого перехода) помещен особый

---

[15] *Розанов И.Н.* Русская лирика. От поэзии безличной к «исповеди сердца». М., 1914. С. 386.

раздел: «Полезные игрушки для детей», т.е. стихи, обращенные к детям (№ 182–198). Они содержат нравоучение, но, как правило, в «облегченной» форме или в виде шутки.

В произведениях «важной Полигимнии» выделяются следующие группы: религиозно-философские стихотворения (№ 100–109) (почти все переработаны из первых стихов Боброва, опубликованных в «Покоящемся трудолюбце» в 1784–1785 гг.), новогодние и поздравительные к дню рождения (но вполне «серьезные») стихотворения разных жанров (№ 110–115; «Хитрости Сатурна», № 116, как бы резюмируют содержащиеся в них нравоучения), переложения псалмов (№ 119–144) и «некоторых духовных песней», т.е., за одним исключением, богослужебных текстов (№ 141–151; следующий «Восторг приявшего Мессию старца», № 152, – опыт оригинальных стихов на евангельскую тему), переводные дидактические стихотворения (№ 153–158, 178–180), стихи, обращенные к николаевским знакомым, преимущественно к чете П.Ф. и М.Ю. Герингов (№ 159–166), стихотворные нравоучительные афоризмы (№ 167–177).

Среди «Погудок моей Каллиопы» имеются поэтическая автобиография (№ 199), небольшая ирои-комическая поэма «Вечеринка» (№ 212), эпиграммы, преимущественно переводные, и др. Некоторые из этих шуточных стихотворений могли дать лишний повод для создания репутации пьяницы «Бибруса». Достаточно было с предубеждением взглянуть на заглавия: «Превращение Бахуса в Диогена», «К Вакху в Светлую неделю», «Честь русскому пиву» (№ 203–204, 206) и др.

В «Эротических чертах...» присутствуют автобиографические мотивы. Так, в цикле стихотворений о любви Миртида и Плениры (№ 241–257), приводящей их к счастливому браку, имеется в виду история отношений самого поэта с его будущей супругой Александрой.

Вообще «легкие» и сентиментальные стихотворения, посвященные «любезным дамам» или даже написанные

от их лица (см., напр., № 229–233), песни, идиллии, «мелкие» и «к случаю» стихотворения, во множестве содержащиеся в *РП*, плохо согласуются с репутацией Боброва как мрачного «певца ночей» и убежденного архаиста. В действительности он, видимо, был в меньшей степени чужд карамзинистской культуре, ориентированной на «дамский» вкус и малые жанры, чем об этом принято думать[16]. М.И. Невзоров, перепечатывая некоторые его «стихотворные мелочи» (в том числе «Надписи пяти любезным дамам», № 236–240), предлагал оценить хотя бы их, раз уж таковы вкусы «модных писателей», но при этом замечал, что у них *«Груши* да *Амины* составляют все богатство стихотворного ума, а у Боброва таковые надписи между прочими прекрасными его стихотворениями так, как несколько капель в Каспийском море»[17].

Следует отметить, что, размещая «нежные» стихотворения в конце третьей части *РП* (т.е. в качестве последнего раздела своей лирики), Бобров несколько отступал от сложившейся традиции: полагалось бы в последнем разделе поместить шуточные стихотворения, эпиграммы и т.п. «мелочи» – то, что в *РП* предшествует «Эротическим чертам...». Для автора это, видимо, имело определенное композиционное значение.

В отличие от первых двух частей *РП*, третья целиком посвящена частной жизни, она говорит о «душе», причем в разных планах – как в возвышенно-религиозном, так и

---

[16] В 1820-е годы, кажется, лишь А.А. Крылов замечал, что Бобров «приносил иногда жертвы Грациям и переменял важный тон своей лиры на игривый и нежный» (*Крылов 1822*. С. 457–458). Внимание позднейших исследователей «легкие» стихотворения Боброва вовсе не привлекали. Ср. замечание И.Н. Розанова: «Но все же оды – это лучшие его произведения. ⟨...⟩ И для сатир, и для любовных стихотворений Бобров оказался слишком тяжел и грузен» (*Розанов И.Н.* Ук. соч. С. 385).

[17] *ДЮ*. 1811. № 10. С. 123.

«домашнем» и «нежном». Стихотворения третьей части *РП* – это «занимательные часы для души и сердца». Метафоры «полночи» и «рассвета» (как и «зимы» и «весны») здесь тоже находят применение.

В религиозно-дидактических стихотворениях они могут говорить о состоянии души, падшей и помраченной грехом, но уже становящейся на путь спасения (см., например, «Прогулку в сумерки», «Полнощь», «Утро» – № 101–103), в автобиографических – вообще о земной жизни и о том, что находится за ее пределом:

Знать, вся лишь жизнь – еще рассвет,
А полдня истинного нет.
О небо! – там уже доспею;
Там – в важной вечности – созрею...
(№ 199, ст. 69–70)

В «нежных» же стихотворениях говорится об одиночестве, отвергнутой любви, ревнивых подозрениях, ссорах и «рассветающей» наконец заре семейного счастья. Одно из последних «нежных» стихотворений озаглавлено «Торжественный час любви Миртида в конце июля» (№ 255), что должно напомнить об одах из первой части – «Торжественое утро марта 12 1801 года» (№ 21) и «Торжественный день столетия...» (№ 33). Это не случайность, объясняемая пристрастием автора к слову «торжественный», а сознательное сближение вещей предельно далеких и разных, проделанное в духе барочного «остроумия»[18]. В заключающем третью часть «Небольшом терпении Миртида» (№ 257) выражена

---

[18] Еще одно любопытное соответствие, призванное скрепить единство трех томов лирики Боброва: в первом стихотворении третьей части (№ 100) говорится о творении мира, о воздвижении его из первозданного хаоса и тьмы, что внимательный читатель должен соотнести с открывающей *РП* «Столетней песнью...» (№ 1), где речь идет о «сотворении» России Петром I.

надежда на семейное благополучие вместе с сомнением и тревогою перед будущим и намерением «ждать, терпеть». Так заканчивалась и вторая часть – призывом к твердости и терпению в ожидании золотого века. Взаимоотражение «важного» и «нежного» должно было, в частности, укрепить композиционное единство *РП*, в целом построенного отнюдь не по жанровому принципу.

Итак, три тома лирики *РП* завершались известием о «рассвете», наступившем в жизни его автора, незадолго до выхода собрания украсившейся женитьбой: это должно было ассоциироваться с рассветом, воссиявшим для всех обитателей «полночи» с наступлением нового века и нового царствования.

Четвертую часть *РП* составила поэма «Таврида», переработанная и переименованная в «Херсониду» («Херсонида, или Картина лучшего летнего дня в Херсонисе Таврическом. Лирико-эпическое песнотворение. Вновь исправленное и умноженное»). Посвящена поэма, как и все собрание, императору Александру I[19].

Мотивы перемены названия поэмы Бобров объяснил так: «Прежде данное имя ей *Таврида* некоторым образом смешивало понятие как о песнотворении, так и о самом полуострове; ибо имена *Таврида* и *Таврия*, употребляемые иногда как одно и то же, означают полуостров; следовательно здесь слово Таврида не может уже не произвести некоторой обманчивости в понятиях. Сей-то ради причины я превратил *Тавриду* в *Херсониду*, тем более что и *Илиада* не значит страну *Илионскую*, но песнь об оной» («Предварительные мысли»). Характерно, что автор находит нужным специально разграничить само «песнотворение» и его предмет. Для него поэма и полуостров соотносятся как «образ» и «подлинник», и чем совершенней, чем достоверней «образ», тем важ-

---

[19] «Таврида», первая редакция поэмы, изданная в 1798 г. в Николаеве, была посвящена Н.С. Мордвинову.

нее, считает он, дать им разные «имена». Их тесная связь подчеркнута и в стихотворном посвящении Александру I:

Живейшим солнцем озаренна
Страна *Престола* ТВОЕГО,
Благоцветуща, – оживленна
Влияньем неба своего;
Прекрасна в ужасах *Таврида*,
Где чада славились *Атрида*,
Где *предок* ТВОЙ увидел свет,
Должна ли в сей дышать картине,
Как в лоне естества цветет? –
МОНАРХ! – и слабый образ ныне
И дивный *подлинник* его
Ждут токмо взора ТВОЕГО.

«Херсониде» автор предпослал «Предварительные мысли», где несколько подробней, чем в посвящении «Тавриды», изложил свои взгляды на стихосложение и отдал дань только что – с выходом книги А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) – возникшей полемике о языке. Сетования о забвении «точного национального вкуса», указания на «богатство древней нашей словесности», «старобытные песни», «народные повести» и поговорки, ссылка на англичан, негодующих, когда «иностранные слова празднуют у них в чужом покрое», и тому подобные суждения имели место и в «Тавриде». В «Херсониде» к списку порицаемых Бобровым заимствований (*барельеф, мораль, натура, рельеф*) добавились типичные галлицизмы из щегольского жаргона (*азард, ангажировать, девиз, пикировать, фрапировать, фронтиспис*), а все рассуждение о языке заключено моралью в духе Шишкова: «Можно сказать, что мы в сем отношении, так сказать, ленясь протвердить отечественные зады, пленяемся более складками чужих азбук или чужими уроками. Забывать вовсе коренный, матерний славенский язык с неким горделивым небрежением есть то же, как своенравно подвергаться участи блудного сына или бесчувственности осляго жребяти. Неблагодарность к родителю всегда гибельна». Менее чем через год, в полемическом «Проис-

шествии в царстве теней» (1805), Бобров яснее обозначит свою позицию по этому вопросу[20].

Сам текст поэмы в новой редакции претерпел весьма существенные изменения. VII песнь «Тавриды» автор разбил на две (до и после смерти шерифа Омара), т.о. в «Херсониде» стало восемь песней. Начало I песни (ок. 70 стихов) Бобров переписал в основном рифмованными стихами и вынес в особый, открывающий «Херсониду» раздел «К единственному другу природы». Прежнее «Вступление», сходным образом переписанное, помещено в конце данного раздела. Зарифмованными в «Херсониде» оказались также патетический гимн Творцу во II песни и заключительный «Имн Царю царствующих». В результете написанная белым стихом поэма во второй редакции получила обрамление из рифмованных вступления и заключения.

Существенно, что, переделывая белые стихи в рифмованные, Бобров почти не касался их смысла и лексического состава, – случай вовсе не тривиальный в русской поэзии (можно вспомнить, пожалуй, лишь опыты В.К. Тредиаковского в «Аргениде», хотя он экспериментировал преимущественно с разными метрами). Вот, например, отрывок из заключительного гимна в двух редакциях:

«Имн»

Се! – Херсонис благословенный! –
Что древле был он? – что теперь? –
Ничто – как малый мир в вселенной.
Твой живоносный дух парил
Над полуостровом сим юным, –
Когда он древле в черном чреве
Кипящей бездны созревал;
Тогда пернатая *Любовь*
На крыльях нежных голубиных
Летала над пленой его,
И теплотворной тенью их
Его в пучине согревала...

«Имн Царю царствующих»

Се *Херсонис* благословенной!
Что ныне он? – что древле был?
Он некий малый мир в вселенной,
Над коим некогда парил
Твой дух, сей вождь небесных сил,
Когда он, яко плод зачатой,
Во мраке первобытных дней
Зрел в бездне черных вод чреватой;
Когда *Любовь* – всех *жизнь* вещей -
На крыльях голубя летала
Над нежною его пленой
И в тихом чреве согревала
Животворящей теплотой...

---

[20] См.: *ПЦТ*. С. 331–567. См. также в предыдущей статье наст. изд.

Рассказ шерифа Омара о своем прошлом, находящийся в I песни «Тавриды», в «Херсониде» перенесен в IV песнь, где он предваряет описание «древностей Таврического полуострова». К данному описанию прибавился фрагмент о пребывании юного шерифа в мрачном ордене дервишей, обольщенных мнимою святостью своего начальника (песнь IV, ст. 649–672). Надо полагать, это намек на отношения Боброва с московскими «мартинистами» в университетские годы.

В «Тавриде» имеются сетования автора о разлуке с возлюбленной Зареной. В «Херсониде» она переименована в Сашену (в соответствие с именем жены Боброва – Александра) и поминается чаще. В частности, воспоминанием о Сашене завершаются II, III, V, VI и VIII песни «Херсониды».

Многие фрагменты поэмы (общим объемом ок. 1,5 тыс. стихов) сочинены специально для «Херсониды», так что в «Тавриде» им не находится соответствия. Это целый ряд «живописных» отрывков (отчасти это заимствования из книги П.-С. Палласа, имевшиеся и в «Тавриде», но в меньшем количестве): новые описания крымских гор и долин (песнь II, ст. 489–759; III, ст. 495–652), виноградников на Альме и Каче (III, ст. 125–221), рассказ о грязевом извержении на Тамани (IV, ст. 1159–1180), о крымских землетрясениях (IV, 1212–1250) и др. «Исчисление» растений, птиц, рыб, насекомых в «Херсониде» также более подробно, чем в «Тавриде».

Помимо дополнительных лирических, «живописных», мифологических и сюжетных вставок, появились в «Херсониде» и фрагменты актуально-политического характера (например, инвектива против «темного Запада», производящего «изуверов», – песнь VII, ст. 461–469).

В этом отношении особенно значима переработка изложения мифа об Ифигении и Оресте. В «Тавриде» оно схематично, но довольно точно воспроизводило известный сюжет: Орест и Пилад прибывают в Тавриду, их захватывают тавры, чтобы принести в жертву; Орест и жрица Ифигения узнают друг в друге брата и сестру и, обманув царя тавров Фоанта,

похищают идол Артемиды и бегут на корабле. Весь рассказ занимал 104 стиха[21]. В «Херсониде» изложение мифа обрастает разными подробностями и занимает уже 474 стиха (песнь V, ст. 98–572). Здесь Ифигения повествует о своей судьбе, о первом совершенном ею жертвоприношении; Орест рассказывает о своей страсти к Гермионе и убийстве Пирра, о гибели отца и своем отмщении и долго препирается с Пиладом за право умереть первым. Все это еще не выходит за рамки мифа и отчасти повторяет трагедию Еврипида «Ифигения в Тавриде», которую Бобров в примечаниях называет в числе своих источников. Но им полностью вымышлена одна важная деталь. В «Херсониде» Орест и Ифигения замышляют убийство «ужасного Фоанта», считая его главным виновником кровавых обычаев тавров. В беседе Ореста, Пилада и Ифигении обосновывается допустимость тираноубийства, которое они затем и осуществляют. Это событие в поэме изложено кратко, но с явным намеком на обстоятельства убийства Павла I:

Орест и *Пилад*, ополчася,
Покрыты тайным мраком нощи,
Вступают в царские чертоги. –
Фоант во сне – уснул сном вечным.
(песнь V, ст. 548–551)

Ни в одном из известных изложений этой истории ничего подобного нет: там Фоант только обманут и безуспешно пытается преследовать беглецов. Нет этого и в «Тавриде», изданной в 1798 г. Очевидно, что весь этот эпизод вымышлен Бобровым, чтобы напомнить о цареубийстве марта 1801 г.

Как видно, «Херсонида» отличается от «Тавриды» и по количеству песней, и по объему и композиции, и по характеру политических и автобиографических аллюзий, т.е. по сути является новым произведением, а не просто второй редакцией. Сам автор, однако, рассматривал ее именно как

[21] См.: *Таврида*. С. 122–126.

вторую, улучшенную редакцию и подумывал о дальнейшей работе над текстом поэмы. Так, в его «Происшествии в царстве теней» Ломоносов, высказав ряд замечаний о «Херсониде», говорит: «...Я думаю, что не худо самому писателю после каких-нибудь чужих суждений всегда пересмотреть и исправить свое произведение»[22].

«Херсонида» не просто механически присоединяется к первым трем частям *РП*. Уже в первых строках «Предварительных мыслей» к поэме Бобров указывает на ее связь с заглавной метафорой и основной идеей собрания: «Вот некоторое изображение Херсониса – в лучший, летний день! – и туда луч *рассвета полночи* недавно проникнул и воззвал его из мрачности». Т.е. благодаря вхождению в состав России Крымский полуостров получил возможность пользоваться плодами просвещения и славой, достигнутыми ею в истекшем столетии. В другом месте он применяет заглавную метафору *РП* к состоянию искусства стихосложения в России: «Римляне разумели великую тонкость в стихотворческой музыке; напротив того мы, так слабо судя о сем искусстве, находим в своих руках токмо недостроенную их лиру, или арфу. Как ни стараемся показаться бойкими умами, даже в не принадлежащих нам статьях, но всегда в глазах мастеров видны будут, так сказать, недоросли не только римского пера, но и своего. – *Рассвет полночи* в сем случае доселе еще остается некоторым сумрачным рассветом. – Шаг ума – не есть еще шаг Исполина, шаг Аполлона, или шаг Солнца, пока не возвысится *полдень* над главами».

Эти слова помогают понять неясное высказывание из «Предуведомления» в первой части («Новое наименование книги сей не может относиться к произведениям пера, составляющим оную...») и проливают дополнительный свет на смысл названия, объединяющего три тома разножанровой лирики и «лирико-эпическое песнотворение». Назвав собрание своих сочинений «Рассветом полночи», автор не только

---

[22] *ПЦТ*. С. 482.

обозначил его важнейшую тему или лейтмотив. По его замыслу, четырехтомный *РП* не только *говорит* о «рассвете» (в политике, науке, нравах, частной жизни поэта и т.д.), но и *являет* его в том, что касается успехов поэзии в России, – он есть свидетельство этого «рассвета», который, однако, по Боброву, «доселе еще остается некоторым сумрачным рассветом»[23].

---

[23] Метафору рассеивающейся ночной тьмы к успехам поэзии в России гораздо раньше Боброва прилагал Карамзин в программном стихотворении «Поэзия» (1787):

О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия ночнет сиять, как солнце в полдень,
Исчезла нощи мгла – уже Авроры свет
В *** блестит.

(*Карамзин Н.М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 45).

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Альтшуллер 1964 – *Альтшуллер М.Г.* С.С. Бобров и русская поэзия конца XVIII – начала XIX в. // XVIII век. Сб.6. Л., 1964. С. 224–246.

Альтшуллер 1977 – *Альтшуллер М.Г.* Поэтическая традиция Радищева в литературной жизни начала XIX века // XVIII век. Сб. 12. Л., 1977. С. 113–136.

Альтшуллер 1988 – *Альтшуллер М.Г.* Semyon Bobrov and Edward Young // Russian Literature triquarterly 21. Ann Arbor, Ardis Publishers, 1988. P. 129–140.

БГ – ж-л «Беседующий гражданин». СПб., 1789.

ДНВ – Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец. Эпическое творение Сем⟨ена⟩ Боброва. Ч. 1–2. СПб., 1807–1809.

ДЮ – ж-л «Друг юношества». М., 1807–1815.

Зайонц 1985 – *Зайонц Л.О.* Э. Юнг в поэтическом мире Боброва // Учен. записки Тартуского ун-та. Вып. 645. 1985. С. 71–85.

Зайонц 1992 – *Зайонц Л.О.* К символической интерпретации поэмы С.Боброва «Таврида» // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 882. 1992. С. 88–104.

Зайонц 1995 – *Зайонц Л.О.* От эмблемы к метафоре: феномен Семена Боброва // Новые безделки. Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацуро (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. VI). М., 1995–1996. С. 50–77.

Коровин 2004 – *Коровин В.Л.* Семен Сергеевич Бобров. Жизнь и творчество. М., 2004.

Крылов 1822 – *Кр⟨ылов А.А.⟩* Разбор «Херсониды», поэмы Боброва // Благонамеренный. 1822. Ч. 17. № 11. С. 409–429; № 12. С. 453–465.

Левин 1990 – *Левин Ю.Д.* Английская поэзия и литература русского сентиментализма // Левин Ю.Д. Восприятие английской литературы в России. Л., 1990. С. 134–230.

Лицей – ж-л «Лицей за 1806 год». СПб.

Мартынов 1804 – ⟨*Мартынов И.И.*⟩ Рассмотрение книги «Рассвет полночи» // *СВ*. 1804. Ч. 2. Апрель. С. 30–41.

Невзоров 1810 – ⟨*Невзоров М.И.*⟩ Живописные и философские отрывки из сочинений г. Боброва // *ДЮ*. 1810. № 6. С. 62–162.

Паллас 1795 – Краткое физическое и топографическое описание Таврической области, сочиненное на французском языке Петром Палласом⟨...⟩ и переведенное Иваном Рижским. СПб., 1795.

Поэты 1790–1810 – Поэты 1790–1810-х годов / Сост. Ю.М. Лотмана и М.Г. Альтшуллера, вступ. ст. Ю.М. Лотмана. Л., 1974 (Б-ка поэта, большая серия).

ПТ – ж-л «Покоящийся трудолюбец». М., 1784–1785.

ПЦТ – *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) ⟨1975⟩ // *Успенский Б.А.* Избранные труды. М., 1994. Т. 2. С. 331–567.

ПЭЮ – Плач Эдварда Юнга, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии, в девяти песнях помещенные; с присопокупление двух поэм: 1) Страшный суд, 2) Торжество веры над любовию, творения сего же знаменитого

писателя ⟨Перевод А.М. Кутузова с немецкого⟩. Ч. 1–2. 2-е изд. М., 1785.

РГАВМФ – Российский государственный архив Военно-морского флота (СПб.).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (М.).

РГИА – Российский государственный исторический архив (СПб.).

РНБ – Российская национальная библиотека (СПб.).

РП – Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, браноносных и мирных Гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов Семена Боброва. СПб.: Тип. И.Глазунова, 1804. Ч. 1–4.

СВ – ж-л «Северный вестник». СПб., 1804–1805.

Таврида – Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе. Лирико-эпическое песнотворение, сочиненное капитаном Семеном Бобровым. Николаев: Черноморская Адмиралтейская типография, 1798.

Талия – «Талия, или Собрание разных новых сочинений в стихах и прозе». Кн. 1. СПб., 1807.

Цветник – ж-л «Цветник, издаваемый А.Измайловым и А. Бенитцким». СПб., 1809–1810.

ХЕРСОНИДА, или Картина лучшего летнего дня в Херсонисе Таврическом. Лирико-эпическое песнотворение. Вновь исправленное и умноженное

1-я ред.: Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе. Лирико-эпическое песнотворение, сочиненное капитаном Семеном Бобровым. Николаев: Черноморская Адмиралтейская типография, 1798. – 278 с.

Замысел поэмы возник в 1792 г., когда Бобров сопровождал Н.С. Мордвинова, назначенного председателем Черноморского адмиралтейского правления и командующим Черноморским флотом и портами, в его первой инспекторской поездке по Крыму. «Таврида» стала одним из первых изданий николаевской типографии, организованной С.И. Селивановским в 1796 г. (см. № 79 и примеч.), и первоначально была посвящена Мордвинову (в посвящении автор между прочим указывал: «Начало сего плода возрастом своим обязано еще первому *Вашему* обозрению сего полуострова...»). Многие сведения о природе Крыма Бобров почерпнул в книгах К. Габлица (Физическое описание Таврической области. СПб., 1785) и П.-С. Палласа (Краткое физическое и топографическое описание Таврической области... / Перевод с фр. И. Рижского. СПб., 1795), причем не лишенный художественных достоинств текст последнего он местами довольно точно перелагал в стихи (в «Херсониде» см. в особенности песнь I, ст. 484–497; песнь III, ст. 476–485, 501–509, 535–630; песнь IV, ст. 1221–1250). В литературном отношении Бобров опирался на традицию английской дидактико-описательной поэмы (Дж. Аддисон, Дж. Филипс, М. Эйкенсайд). Важнейшим для него образцом стала поэма Дж. Томсона «Времена года» («The Seasons», 1726–1730). По примеру второй ее части – «Лето» («Summer») – «Таврида» построена как описа-

ние одних летних суток (июльских). Реминисценции из Томсона отмечались уже первыми критиками поэмы и становились предметом внимания исследователей (см.: *Крылов 1822*. С. 411–413; *Левин 1990*. С. 198–201). При этом Бобров отступил от классических образцов жанра, введя повествовательный сюжет о шерифе Омаре и мурзе Селиме, возвращающихся в горное крымское селение из паломничества в Медину, что, по замечанию А.А. Крылова, сообщает его поэме «характер, совершенно отличный от обыкновенных описательных поэм, и несколько приближает ее к роду повествовательных стихотворений» (*Крылов 1822*. С. 416). Усматриваются в поэме и черты масонских путешествий или – шире – мистической литературы «духовных паломничеств» (см.: *Зайонц 1992; Зайонц Л.О*. Пространственная вертикаль тело–душа–дух в ландшафтных моделях Семена Боброва // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 54 (2004). S. 79–92; *Пиксанов Н.К*. Масонская литература // История русской литературы. М.; Л., 1947. Т. 4. Ч. 2. С. 77). Для современников значение «Тавриды» во многом определялось тем, что это был первый (и оставшийся единственным) в русской литературе законченный опыт оригинальной описательной поэмы.

Изданная в Николаеве «Таврида» до выхода *РП* в Москве и Петербурге была мало известна. Единственный известный отклик принадлежит А.Н. Радищеву (в его поэме «Бова», 1799), которому Бобров, видимо, переслал книгу в Немцово (см. примеч. к песни II, ст.16–70). И.И. Мартынов еще в 1804 г. с сожалением констатировал, что «и ныне многие из первоклассных наших читателей исключают сие творение из списка покупаемых ими книг и не удостоивают прочтения» (*Мартынов 1804*. С. 33). Первая рецензия на «Тавриду», принадлежащая ученику Мартынова И.Т. Александровскому (*СВ*. 1805. Ч. 5. Март. С. 301–311), появилась, когда из печати уже вышла вторая ее редакция – «Херсонида».

Недолгую славу Боброву принесло именно издание «Херсониды» – второй, значительно переработанной и дополненной редакции поэмы (здесь ок. 9000 стихов, тогда

как в «Тавриде» – ок. 7500) (об отличиях двух редакций см. во второй статье в разделе «Дополнения»). Часть тиража вышла без указания, что поэма составляет четвертую часть *РП*. В продажу поэма поступила в начале нового 1805 г. и была встречена апологетическими рецензиями Н.П. Брусилова (Журнал российской словесности. 1805. Ч. 1. № 2. С. 113–120) и Л.В. Неваховича (*СВ*. 1805. Ч. 8. Август. С. 144–159; здесь содержится небольшая полемика с И.Т. Александровским). «Херсонида» была поднесена Александру I (видимо, при посредничестве М.Н. Муравьева), и 21 марта 1805 г. автор был пожалован перстнем стоимостью 700 рублей (*РГИА*. Ф. 468. Оп.1. Ч. 2. Ед.хр. 3922. Л. 212). М.И. Невзоров в год смерти Боброва перепечатал «Предварительные мысли» (кроме первого и трех заключительных абзацев), отрывки из песен II (ст. 71–270), III (ст. 378–498), VII (ст. 431–752) и весь «Имн Царю царствующих» (*Невзоров 1810*. С. 113–158), а в следующем году – заключительные строки V песни (ст. 1764–1776) и отрывки из VI песни (ст. 1–169, 241–271, 308–327, 482–548, 638–756) («Описание грозы г. Боброва» // *ДЮ*. 1811. № 10. С. 100–124). И в дальнейшем «Херсонида», несмотря на сложившуюся неблагоприятную литературную репутацию автора, пользовалась определенным признанием. Гимн Творцу из II песни поэмы (ст. 16–70) переводился на английский и французский языки (см.: *Bowring J*. Российская антология. Speciment of the Russian Poets. L., 1821. P. 147–150; *Saint-Maure E.-D*. Anthologie russ... P., 1823. P. 126–127). Интерес к поэме выказывали А.С. Грибоедов, В.К. Кюхельбекер и А.С. Пушкин (реминисценции из нее обнаруживаются в «Бахчисарайском фонтане», «Евгении Онегине» и некоторых стихотворениях – см. примеч. в наст. изд.). Пространный разбор «Херсониды», принадлежащий А.А. Крылову, появился в «Благонамеренном» за 1822 г. (*Крылов 1822*). Прежде всего как автор этой поэмы Бобров фигурирует в историко-литературных трудах Н.И. Греча («Опыт краткой истории русской литературы». СПб., 1822), В.Т. Плаксина («Руководство к изучению истории русской литературы».

2-е изд. СПб., 1846) и В.Н. Аскоченского («Краткое начертание истории русской литературы». Киев, 1846). О языке «Херсониды» см.: *Петрова З.М.* Заметки об образно-поэтической системе и языке поэмы С.С. Боброва «Херсонида» // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В.В. Виноградова. Л., 1971. С. 74–81.

В оригинальном издании нумерация песен «Херсониды» есть только в оглавлении. В кратком содержании песен разночтений между оглавлением и основным текстом не находится (за исключением сокращенных написаний слов).

⟨ПОСВЯЩЕНИЕ⟩

Ст. 5–6. *...где чада славились Атрида...* – Орест и Ифигения, отпрыски Агамемнона, сына Атрея. Об их приключениях в Тавриде см. в песни V.

Ст. 7. *...где предок Твой увидел свет...* – Имеется в виду крещение св. князя Владимира в Херсонесе (Корсуни) ок. 988 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Сие творение писано белыми стихами. – «Таврида» была первым на русском языке оригинальным сочинением в эпическом роде, написанным без рифм, чем и была вызвана необходимость нижеследующей апологии белого стиха. Предшественниками Боброва были лишь В.К. Тредиаковский, обосновавший использование безрифменных дактилохореических стихов в «Тилемахиде» (1766) принципиальными соображениями, и Я.Б. Княжнин, ради заработка белыми стихами переложивший «Генриаду» Вольтера (1777). Бобров мыслит себя прежде всего в русле английской и немецкой эпической традиции, о чем свидетельствует приводимый им ниже список авторов, пренебрегших «готический убор стихов», т.е. изобретенную в варварские времена рифму (В. Шекспир, Дж. Милтон, Дж. Аддисон, Дж.Томсон, М.Эйкенсайд, Ф.-Г. Клопшток). Имевшееся в 1-й ред. поэмы упоминание «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо здесь снято, видимо, из-за его малой уместности в рассуждении о достоинствах белого стиха.

Если читать подлиник самого Попия... ~ ...не в одних рифмах... – Все стихотворения А. Попа с рифмами. Тем важнее указать, что «доброгласие и стройность» его стихов состоит не только в них.

Бесспорно, что наш язык столько же иногда щедр в доставлении рифм, как италианской ~ ...рифма почти всегда убивает душу сочинения. – В словаре Н.Ф. Остолопова этот абзац процитирован с попутным замечанием, что Бобров здесь пишет «сам ли по себе или в подражание Тредиаковскому» (*Остолопов Н.Ф.* Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 3. Статья «Рифма»).

Один из таковых парнасских слово-судителей... – В.К. Тредиаковский, выступавший против рифмы в предисловии к «Аргениде» (1751) и в «Предъизъяснении об ироической пииме» (предисловие к «Тилемахиде», 1766). Ср.: «Привыкшие к рифме да благоволят быть уведомлены, что она есть игрушка, выдуманная в готические времена, и всеконечно постороннее украшение стихам» (Аргенида, повесть героическая... СПб., 1751. Ч. 1. Предуведомление); «Согласие рифмическое отроческая есть игрушка, недостойная мужских слухов. Вымысл сей оледенелый есть готический, а не еллинское и латинское, благорастворенным жаром блистающее и согревающее окончательство» (Предъизъяснение об ироической пииме // Критика XVIII века. М., 2002. С. 213).

Так поступал Флориан в некоторых своих образцах прозаических поэм... – Пасторальные романы Ж.-П. де Флориана «Галатея» (1783), «Эстелла и Неморен» (1788) и др., написанные ритмизованной прозой, включают стихотворные фрагменты (песни).

La Rîme est une ésclave, et ne doit qu'obéir. – Цитата из «Поэтического искусства» Н. Буало (I, 30).

Начав употреблять дактило-хореи, ясно доказали, что они едва еще ведают точные законы римской древней меры. – Речь снова идет о Тредиаковском, изобретателе русских дактило-хореев (аналог античного гекзаметра), и написанной этим размером «Тилемахиде». К 1798 г. известен только еще один случай использования дактиклохореев: стихотворение М.Н. Муравьева «Роща» (1777, опубл. 1798). Нижеследующие упреки в отступлении от

«точных законов древней римской меры» относятся, видимо, к каким-то стихам в «Тилемахиде» и напоминают о разборе этой поэмы в последнем разделе «Памятника дактилохореическому витязю...» А.Н. Радищева (1801–1802, опубл. 1806). Давно существует предположение, что под криптонимом Б. здесь выведен не кто иной, как Бобров (см.: *Радищев А.Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 395).

...дактило-хореические слоги с рифмами... – есть у Тредиаковского в «Аргениде» (1751): «Гроб, победитель, зришь и лютых раскаяний виды! / Дважды мрет, кто себе смерть по достоинству мнит. / Ты ж однак удержи в уме заклинаний обиды, / Так же и речь, душам коя спокойство чинит...». В своей статье «О древнем, среднем и новом стихосложении российском» (1755) он привел эти стихи как пример «героэлегиаческих дактилохореических гексаметров» (Критика XVIII века. М., 2002. С. 176).

Сулица – копье.

Vorat aequore vortex – «поглотила морская пучина (водоворот)» (Вергилий. Энеида. I, 117).

Ter pede terra(m) – «трижды ногой о землю» (Гораций. Оды. III, 18: 16).

Только мутился песок, лишь белая пена кипела. – Пример русского «гексаметра» из «Письма о правилах российского стихотворства» М.В. Ломоносова (1739).

Кому не известна Геснерова проза в прекрасных идиллиях или Фенелонова во французском Телемаке? – Почти все идиллии С. Геснера (как и его пасторальный роман «Дафнис», 1756, и поэма «Смерть Авеля», 1758) написаны ритмизованной прозой. В России они пользовались большим успехом и в 1770–1780-х годах неоднократно переводились на русский язык (см.: *Данилевский Р.О.* Россия и Швейцария: Литературные связи XVIII–XIX вв. Л., 1984. С. 54–58, 92–95, 99–101). Знаменитый роман Ф.Фенелона «Приключения Телемака» (1693–1694, изд.1699) считался непревзойденным образцом французской прозы. На русский язык он переводился трижды (переводы А.Ф. Хруще-

ва, 1724, изд. 1747; И.С. Захарова, 1787; Ф.П. Лубяновского, 1797–1800). Тредиаковский создал его стихотворное переложение – «Тилемахиду» (1766).

...суетный ввод многих чужестранных слов без нужды... – Осуждая иностранные заимствования, Бобров выступает сторонником А.С. Шишкова, однако противопоставляет их не «славенским» речениям, а неологизмам – «с патриотическим старанием» изобретенным именам. Примеры типичных галлицизмов, принадлежащих щегольскому наречию (*азард, фрапировать, пикировать* и др.), в 1-й ред. отсутствовали. Бобров из осужденных им самим заимствований довольно широко пользуется словом «натура», в том числе в «Херсониде». Ниже см. типичный образец нового слога: «трогает чувствительную душу». Подробней о взглядах Боброва на проблему иностранных заимствований в языке см.в работе Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского (*ПЦТ*).

Забывать вовсе коренный, матерний славенский язык... и т.д. – Этот фрагмент, отсутствующий в 1-й ред., появился под влиянием книги А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (СПб., 1803).

*...скифской стран*ы... – В древности Крым населяли скифы.

К ЕДИНСТВЕННОМУ ДРУГУ ПРИРОДЫ

Обращено к Н.С. Мордвинову, владевшему имением в Байдарской долине в Крыму. Об этом имении идет речь в III песни поэмы (ст. 763–813), где Мордвинов именуется «помощником» «трудов природы».

Ст. 1–9. *Пускай Гельвеция блаженна...* и сл. – Швейцария, воспетая в поэме А.Галлера «Альпы» («Die Alpen», 1729) и некоторых идиллиях С. Геснера. *Леман* – Женевское озеро в Швейцарии.

Ст. 11–14. *Пускай Сатурнова держава...* и сл. – Италия, красоты которой изображал Дж.Аддисон в поэме «Письмо из Италии лорду Галифаксу» («Letter from Italy to lord

Halifax», 1701). Боброву принадлежит прозаический перевод этой поэмы. См.: Письмо из Италии к лорду Галлифаксу 1701 года // Иппокрена, или Утехи любословия. 1801. Ч. 8. С. 40–51 (без подписи) (ср.: Отд. рукописей *РНБ*. Ф. 247. Т. 38. Л. 149–154).

Ст. 15–21. *Пусть Темзы на брегах туманных...* и сл. – В Лондоне, где М. Эйкенсайд сочинил поэму «Удовольствия воображения» («The pleasures of imagination», 1744; 2-я ред. 1757).

Ст. 73–79. *...ЕКАТЕРИНА с полбогами... светом взоров озарила.* – Екатерина II в 1787 г. совершила путешествие в Крым через Перекоп, посетив Карасубазар, Бахчисарай, Ласпи и Севастополь. Прежде нее из русских властителей Крым посещали княгиня *Ольга* по пути в Константинополь в 957 г. и *внук Ольги*, князь Владимир, принявший крещение в Херсонесе ок. 988 г. *Ольгой возрожденной* Бобров именует Екатерину II в одном из стихотворений на восшествие на престол Александра I (№ 12).

Ст. 76 *...Ольги просвещенной* – т.е. принявшей крещение в Константинополе. Ср. об этом эпизоде в «Повести временных лет»: «И крести ю цесарь с патриархом. Просвещена же бывши, радовашеся душею и телом» (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. С. 110).

Ст. 88–89. *Томсона... дорический напев и строй* – здесь «дорический» употребляется в том же значении, что «Doric» у Томсона, т.е. сельский, простой, безыскусный (см. в его «Временах года»: Autumn. L. 3, 4).

Ст. 91 *...готфской сети...* – т.е. обязательной рифмовки. См. «Предварительные мысли» и примеч.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

В «Тавриде» первая песнь предварялась эпиграфом из оды Горация (II, 6: 13–14; перевод: «Этот уголок мне нравится больше других земель»). В «Херсониде» Бобров снял эпиграф.

Ст. 70–77. *Лишь нежна роскошь токмо спит...* и сл. – Ср. во «Временах года» Томсона:

> Falslely luxurious, will not man awake;
> And, springing from the bed of sloth, enjoy
> The cool, the fragrant, and the silent hour,
> To meditation due and sacred song?
>
> (Summer. L. 67–70)

Ст. 97. *Там зрю в сгущеннейших толпах...* и сл. – Ср. рассказ о возвращении мусульманских паломников из Мекки в Тавриду в прозаическом сочинении Боброва «Полезное странствование Челебея» (*Лицей.* 1806. Ч. 2. Кн. 2. С. 63–66). Обычай паломничества к святым местам здесь трактуется как вредный предрассудок, присущий непросвещенным народам.

Ст. 158–159. *Кто там сидит на белом камне подле младого человека...* – Вопрос предваряет появление главных героев поэмы – шерифа Омара и мурзы Селима. *Шериф* – почетное прозвание потомков пророка Мухаммеда. *Мурза* (исказеннное *эмир-заде*, т.е. потомок эмира) – представитель знатного татарского рода. Шериф Омар, как видно из дальнейшего, происходил из Малой Азии, а в Крыму поселился во второй половине жизни. Омар и Селим возвращаются из паломничества в родное селение последнего в горной части Крыма. В первой их беседе – предчувствие близкой смерти шерифа, которая случится в конце дня в VII песни поэмы.

Ст. 162. *...с главой открытой пред востоком...* – В «Происшествии в царстве теней» Бобров процитировал строку неточно: «*с главой открытой* пред восходом». Далее следует комментарий, вложенный в уста Ломоносова: «...это ошибка историческая. – *Турки, Персиане* и *Арабы* никогда, ни перед кем не снимают с головы чалмы, или турбана, особливо под открытым небом» (*ПЦТ.* С. 481).

Ст. 256–262. *Как быстро ласточка летает...* и сл. – Ласточка, летающая вокруг Омара, предвещает его кончину в конце дня, переход в иной мир, к загробному блаженству.

Ст. 263. *Пойду я к гладкой той равнине...* и сл. – Обозрение Крыма Бобров начинает с его восточной оконечности – Керченского полуострова. «Слано-кристальные озера», описываемые ниже, – это соленые озера по низменному степному побережью Азовского моря.

Ст. 334–335. *Лоскутник тучный, иль курай, приносит лакомство овцам...* – Ср.: «...лоскутник (centaurea) нескольких родов, из которых один, называемый татарами курай, служит главною пищею овцам» (*Паллас 1795*. С. 48).

Ст. 351. *...слезы матери Мемнона* – утренняя роса.

Ст. 445. *Нет здесь сужденной мне Сашены...* – В «Тавриде» возлюбленная автора именовалась Зареной (от «заря»). Здесь переименована в соответствии с именем супруги Боброва – Александра (брак был заключен незадолго до 1804 г.).

Ст. 484–497. *Твои слои, листам подобно* и сл. – Ср.: «И так все сии слои как бы обрезаны направлением берега и явственно видны в приморских утесах, подобно как в книге листы или в библиотеке книги. Они действительно суть такая книга, в которой испытатель естества весьма много найдет того, что может послужить к изъяснению состава нашего земного шара и происхождения внешних слоев» (*Паллас 1795*. С. 5). (Впервые отмечено в брошюре: *Люсый А*. Первый поэт Тавриды. Симферополь, 1991. С. 11.)

Ст. 549–568. *Во мраке древности забвенной...* и сл. – Речь идет о гигантомахии – восстании гигантов («богомерзких исполинов»), огромных чудовищ с длинными волосами и бородами и со змеиными хвостами вместо ног. Они штурмовали небо, бросая огромные скалы и горящие стволы деревьев, но были побеждены олимпийскими богами с помощью Геркала.

Ст. 559. *Угонзали* – укрывались.

Ст. 561. *Пыщил* – вздымал.

Ст. 570. *...бог хромый* – Гефест, бог огня и кузнечного ремесла.

Ст. 572. *...однооки дивы* – циклопы, помощники Гефеста.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Ст. 16–70. «*Неизглаголанный! – велик...* и сл. – В начале XIX в. этот гимн Творцу пользовался большой известностью. Его разбору посвящена большая часть статьи Л.Н. Неваховича «Мнение о разборе 2-й песни Тавриды» (*СВ*. 1805. Ч. 8. Август. С. 144–159). Г.Р. Державин в первой части «Рассуждения о лирической поэзии, или об оде» (опубл. в 1811 г.), привел ст. 42–45 этого гимна как пример «краткости» «в слоге возвышенном» (см.: *Державин Г.Р.* Избр. проза. М., 1984. С. 300). А.А. Крылов цитировал ст. 42–63 как пример стихов Боброва, носящих на себе «печать истинного вдохновения», и комментировал их следующим образом: «Читая сей отрывок, я не обращаю внимания на слог Боброва: замечаю не слова, но мысли; замечаю жар лирический и прекрасные картины» (*Крылов 1822*. С. 427–428). Английский перевод гимна («Adress to the Deity») вошел в антологию Дж. Бауринга (*Bowring J.* Российская антология. Speciment of the Russian Poets. L., 1821. P. 147–150); французский («Le poete au Chatirdach») – в антологию Э.-Д. де Сен-Мора (*Saint-Maure E.-D.* Anthologie russ... P., 1823. P. 126–127). Очевидно, именно с этим гимном Творцу, воспетым на вершине Чатырдага (точнее, с соответствующим ему текстом 1-й ред.), связано одно из упоминаний Боброва в поэме А.Н. Радищева «Бова» (1799) (стихи 143–147):

Чатырдаг, гора высока,
На тебя, во что ни станет,
Я вскарабкаюсь; с собою
Возьму плащ я для тумана,
А Боброва в услажденье.

Ст. 54–55. *Но что я рек? – восхощет Бог, на ломкой оси мир шатнется...* – Эти строки стали предметом небольшой полемики. И.Т. Александровский осудил эпитет «ломкий», показавшийся ему «умаляющим всемогущество Божие» (*СВ*. 1805. Ч. 5. Март. С. 308). Л.Н. Невахович до-

казывал его уместность: «Если бы певец Тавриды сказал просто: *мир шатнется*, а более ничего, то переход от вещей малых, каковы окрестности Чатырдага, был бы весьма не соразмерен пространству, какое представляется воображению нашему под словом *мир*, т.е. вселенной... ⟨...⟩ Возможно ли бы было после того чувствовать и кстати ли сказать: *стопы его древа столетны* и проч.? какое падение! какая невместность! – мы более уже не видим *Чатырдага*, а пустоту или хаос разрушенной вселенной. Но сочинитель Тавриды иначе чувствовал. ⟨...⟩ Под словом *мир* разумеет он только земный шар, что означается чрез имя *оси*, и притом *ломкой*, каковое прилагательное, приводя на память слабую и ничтожную сторону земного шара, умаляет его чрезвычайно в наших мыслях: какое множество идей возбуждается вдруг! Сочинитель также не говорит: *мир разрушится*. Ибо между разрушением земного шара и разрушением горы существует непомерное пространство; а сказав *шатнется*, умаляет он чудесное действие над обитаемою нами планетою и приводит его в некоторую степень соответственности и подобия с картинами, представляющимися ему» (*СВ*. 1805. Ч. 7. Август. С. 156–157).

Ст. 61–64. *Стопы его – древа столетни...* и сл. – Этот фрагмент Бобров позднее обыграл в описании ада в поэме «Древняя ночь вселенной»:

Толь страшна область вечной тьмы,
Колико подражать ни тщится
Творений Божьих царству в славе;
Но все там хульно, все превратно.
Там мрачный свод – железно небо;
Светила – *Этны* огнепальны;
Гармония – проклятья вечны...

(*ДНВ*. Ч. 2. Кн. 1. С. 21).

Ст. 198. *Обонпол* – по ту сторону.

Ст. 216. *...подобно езеру...* – единственный у Боброва случай использования ц.-слав. формы слова «озеро».

Ст. 222. *...сын Троев, Водолей...* – Согласно одному из вариантов мифа, Ганимед был вознесен на небо в виде зодиакального созвездия Водолея.

Ст. 311. *...созвездием благопоспешным* – Льва, под знаком которого происходит действие поэмы.

Ст. 468–469. *...испански овцы на Астурийских высотах.* – Ср.: «...сии прохладные всегда равнины столько же могут быть способны к содержанию хорошего рода животных, носящих руно, сколько Астурийские горы пригодны для испанских овец» (*Паллас 1795*. С. 54).

Ст. 489–490. *Но что за сей стеной утесной, за сей расколотой горой?* – Видимо, имеется в виду зубчатая вершина Ай-Петри, с которой открывается панорама Южного берега Крыма от горы Аюдаг на востоке до горы Кошка у Симеиза.

Ст. 501–514. *Спускался ль ты когда с отвагой...* и сл. – В «Происшествии в царстве теней» Боброва есть комментарий этого отрывка, вложенный в уста Ломоносова: «Тут описывается утесистый хребет, разделяющий *Ялтовскую* долину от *Бейдарской.* – Видно, что сочинитель знаком с прелестями природы; но как сообразить следующее его представление? Он сперва изображает путешественника стоящим на вершине приморского хребта; спрашивает его, взбирался ли он или спускался ли с нее по выбитой горной лестнице в долину? – и потом вдруг говорит: *но коль спустился ты щастливо*, – как будто уже путешественник при глазах автора сошел с горы вниз. – Значит ли это исправность в картине? Если бы сказано было: *но коль ты спускался когда-нибудь с горы*; то бы дело было получше» (*ПЦТ*. С. 481–482).

Ст. 538. *Глазомер* – горизонт (неологизм Боброва).

Ст. 595–597. *...взор ЕКАТЕРИНЫ освятил уединенный Оксен-сырт...* – во время ее путешествия по Крыму в 1787 г.

Ст. 687. *Хрисолитны* – золотисто-зеленые, по цвету соответствующего драгоценного камня.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Ст. 41–45. *...где никогда другой Аконтий роптать не может на природу, что нет румяного плода...* и сл. – Аллюзия на строки из «Скорбных элегий» Овидия (III, 10, 73–74; перевод С.В. Шервинского: «Нет тут сочных плодов, и Аконтию не на чем было б / Клятвы слова написать, чтобы прочла госпожа»). Миф об Аконтии и Кидиппе, изложенный в авторском примечании, известен из двух посланий, присоединявшихся к «Героидам» Овидия как письма XX и XXI.

Ст. 60. *Плежущей* – ползущей.

Ст. 70–74. *Ты, легкий сын росы, – кузнечик!* и сл. – Аллюзия на «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф...» М.В. Ломоносова, являющиеся вольным переложением XLIII оды Анакреонта «К цикаде».

Ст. 212–214. *Я зрел плоды его душисты, каких Шампания надменна не в силах лучше произвесть.* – Ср.: «Часть сей страны, наипаче лежащая по течению Качи и Бельбека, весьма свойственна к произращению винограда и доставляет такое легкое, острое и приятное вино, которое часто бывает подобно Шампанскому и которое бы могло быть еще превосходнее от хорошего приуготовления и от времени» (*Паллас 1795*. С. 49).

Ст. 269–315. *Тогда, возлюбленный Филипс...* и сл. – Имеется в виду Джон Филипс и его поэма «Сидр» («Cyder», 1708), рассказывающая об изготовлении сидра и восхваляющая его достоинства. Написанная в подражание «Георгикам» Вергилия, без рифм, поэма позднее сама послужила образцом для многих английских описательных стихотворений. Упоминание этой поэмы в описании сбора винограда и изготовления вина вполне уместно.

Ст. 282. *...в широкой савроматской кади...* – т.е. в давильне для винограда.

Ст. 304–308. *Тогда пускай лесные силы... возвысят в топоте три-скок...* – аллюзия на оду Горация (III, 18), обра-

щенную к Фавну, богу-покровителю полей и стад. Заключительную ее строку (ter pede terram) Бобров цитировал в «Предварительных мыслях» к «Херсониде» как образец «плясовых стоп».

Ст. 323–336. *Лежит божок румяный праздно...* и сл. – Прицитировано в статье А.А. Крылова для иллюстрации мысли, что Бобров «приносил иногда жертвы Грациям и переменял важный тон своей лиры на игривый и нежный» (*Крылов 1822*. С. 457–458).

Ст. 330–332. *Любовь... не пишет на древе строк заветных сердца...* – Мотив любовных надписаний на дереве восходит к XVIII идиллии Феокрита. Об истории этого мотива в русской литературе см.: *Николаев С.И.* Имя на дереве (из истории идиллического мотива) // XVIII век. Сб. 22. СПб., 2002. С. 46–65.

Ст. 350–352. *...их морщины... сокрыли б надпись: «Помни Смерть!»* – Возможно, к этим стихам восходят известные строки в романе Пушкина «Евгений Онегин», заключенные оборванной цитатой из Данте («...с ужасом читал / Над их бровями надпись ада: / *Оставь надежду навсегда*». – Глава 3, строфа XXII). *Помни смерть* – ставшее крылатым выражением приветствие ордена траппистов (memento mori). (Ср. песнь VII, ст. 562–565.)

Ст. 357–358. *как бы Данаи в медных башнях под стражею скопцов в гаремах.* – Аллюзия на строки из «Науки любви» Овидия (III, 415–416; перевод М.Л. Гаспарова: «Скрой Данаю от глаз, чтобы дряхлою стала старухой / В башне своей, и скажи, где вся ее красота?») Ст. 358 использован Пушкиным в «Бахчисарайском фонтане» («...Под стражей хладного скопца / Стареют жены»). В письме от 1–8 декабря 1823 г. к П.А. Вяземскому, недовольному неприличием выражения, он прямо указал на источник заимствования и связал его с принципиальными рассуждениями о языке литературы: «Меня ввел в искушение Бобров: он говорит в своей “Тавриде”: *Под стражею скопцов гарема*. Мне хотелось что-нибудь у него украсть,

а к тому же я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую пахабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе»). Этот эпизод неоднократно обсуждался исследователями, впервые – в заметке Н.А. Энгельгардта «Пушкин и Бобров»(Новое время. 1900. № 8855, 21 октября. С. 6), однако параллель с Овидием не была замечена.

Ст. 367. *...возобновили б век Аркадский...* – т.е. идиллический век невинной и чистой любви.

Ст. 399–401. *Все звезды в севере блестящи... но ты одна средь них луна.* – Сравнение восходит к фрагменту Сапфо («Звезды близ прекрасной луны тотчас же / Весь теряют свой яркий блеск, едва лишь / Над землей она, серебром сияя, / Полная, встанет» – перевод В.В. Вересаева) (Бобров позднее неоднократно обращался к переложениям из Сапфо: см. № 268, 274–276 и примеч.). Эти стихи часто указываются как возможный источник строк в «Евгении Онегине»: «У ночи много звезд прелестных, / Красавиц много на Москве, / Но ярче всех подруг небесных / Луна в воздушной синеве» (глава 7, строфа LI) (впервые отмечено П.О. Морозовым в комментариях к изд.: *Пушкин А.С.* Соч.: В 5 т. СПб., 1912. Т. 3. С. 284).

Ст. 475. *...шахматное, пего чрево...* – И.Т. Александровский ошибочно прочел эти эпитеты как одно сложное слово «шахматно-пегий», отметив его среди неудачных изобретений Боброва (см.: *СВ*. 1805. Ч. 5. Март. С. 308). Из его статьи оно попало в эпиграмму П.А. Вяземского «Быль в преисподней» (1810). М.И. Невзоров, перепечатывая соответствующий отрывок из «Херсониды», сопроводил строку Боброва примечанием: «Не на сие ли выражение ссылаясь, г. сочинитель *Были в преисподней* написал между прочим: *Се я, певец ночей, шахматно-пегий Гений! и проч.* Но я, представляя отрывок сей суждению читате-

лей, оставляю им самим делать заключение: стихотворец ли здесь подлежит осмеянию или сочинитель эпиграммы?» (*Невзоров 1810*. С. 140).

Ст. 476–485. *Ужель боишься желтошейных...* и сл. – Ср.: «Ехидны там весьма редки и водятся только в равнине, так же как и ужи. Желтопузик, который длиною бывает почти в сажень, более других находится по горам. ⟨...⟩ Из числа самых обыкновенных там насекомых суть большие вредные сороконожки, живущие везде под камнями. Тарантул и ядовитый паук (Phalangium araneoides) здесь гораздо реже, нежели в других местах. Между развалинами скал, лежащих по Южному берегу, находят в великом числе скорпионов малого роду и некоторый род жуков чрезмерной величины, блестящего наподобие полированной стали цвету, которые на несколько футов от себя бросают столь едкую жидкость, что ежели она попадет в глаза, то лишает на несколько дней зрения» (*Паллас 1795*. С. 63–64). А.А. Крылов, не знакомый с источником этого отрывка, поэмы иронизировал: «В одном месте, приглашая свою подругу в Крым, он уговаривает ее не бояться ядовитых животных и между тем представляет ей такой подробный отчет об них, который может испугать не только робкую красавицу, но и всех читателей со вкусом» (*Крылов 1822*. С. 460).

Ст. 501–509. *Се три подобия Темпийски* и сл. – Ср.: «Я приступаю теперь к описанию самых прекрасных долин, составляемых утесами высоких гор и лежащих полукругами наподобие амфитеатров вдоль Южного берега, начиная от Форуса даже до долины Коза и Отуза. Оне наслаждаются таким же климатом, какой в Анатолии и Малой Азии, так что в них зима едва чувствительна» (*Паллас 1795*. С. 54–55).

Ст. 523. *...Меандров мелких...* – здесь: извилистых рек.

Ст. 535–630. *Здесь бела буквица целебна...* и сл. – Ср.: «Белая буквица и весенние шафраны появляются там в феврале, а иногда и в генваре, на дубе же часто листы бывают

всегда зелены. ⟨...⟩ Там, подобно славе бессмертной Обладательницы (Екатерины II. – *В.К.*), всегда зеленеющий лавр, столь счастливо растущий вместе с мироносною маслиною, смоковное и гранатное дерева, каркас, курма, остатки, может быть, древнего садоводства греков, манноносная ясень, скипидарное и кожевенное (сумах) дерева, ладонник, имеющий шалфейные листы, пузырное, слабительное и клубнишное Малой Азии дерева растут везде на открытых местах. Наипаче последнее, которое находится на самых утесистых приморских скалах, как своими прекрасными всегда зеленеющими листами, так и красною корою толстого своего пня служит в зимнее время лучшим для них украшением. Грецкой орешник и другие плодоносные дерева весьма обыкновенны в находящихся по сим долинам лесах, или, лучше сказать, их леса бывают ничто иное, как природный плодовитый сад. Там во многих местах морских берегов изобильно растут каперсовые кусты, которые никогда не были сеяны. Дикой и насажденной винограды наперерыв вьются вверх по весьма высоким деревам, потом опускаются вниз и опять поднимаются, и вместе с расцветающею буковиною составляют цветочные соплетения и беседки без всякого употребления к тому искусства. С одной стороны прекрасный и вместе приводящий в ужас вид, какой представляют возвышающиеся даже до облаков горы и разрушившиеся чрезвычайно скалы; а с другой – сады с весьма изобильною зеленью, естественные водометы и водопады, текущие со всех сторон, наконец необозримая отдаленность, представляемая морем, делают сии долины такими живейшими и пленительнейшими картинами, которых самое высокое стихотворческое воображение не может ни представить себе, ни описать. Простая жизнь добродушных нагорных татар, которые обитают в сих райских долинах; покрытые землею их хижины, которых половина высечена в камне, лежащем по скату гор, и которые почти не видны за чащею листов

окружающих их дерев; стада козлов и небольших овец, рассеянные по бокам стоящих посреди безмолвия скал, и раздающийся только между оными звук пастушьей свирели; словом, все изображает здесь златый век природы, все вливает любовь к простой, сельской и уединенной жизни. Сии места возрождают привязанность к свету, который ужасы войны, отвратительное свойство лукавого обхождения и роскошь, распространившаяся в больших городах, вместе с свойственными великим обществам пороками делают почти несносным оставившему светские суеты просвещенному человеку» (*Паллас 1795*. С. 55–57).

Ст. 694–695. *...на берегах Воспорских, на сих жилищах пеликанов...* – т.е. на берегах Керченского полуострова, где водятся пеликаны.

Ст. 763–813. *Но кто с толиким рвеньем духа...* и сл. – обращение к Н.С. Мордвинову, владевшему имением в Байдарской долине.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ст. 8–23. *Вотще взор в землю поникаю...* и сл. – Ср. во «Временах года» Томсона:

In vain the sight, dejected to the ground,
Stoops for relief; thence hot-ascending steams
And keen reflection pain. Deep to the root
Of vegetation parched, the cleaving fields
And slippery lawn an arid hue disclose,
Blast Fancy's blooms, and wither even the soul.
Echo no more returns the cheerful sound
Of sharpening scythe: the mower, sinking, heaps
O'er him the humid hay, with flowers perfumed;
And scarce a chirping grasshopper is heard
Through the dumb mead.

(Summer. L. 437–447)

Ст. 70–79. *...где... Киры... сын Филиппов... Шах-Аббасы... Кулыханы...* и сл. – т.е. в Иране. Правившие там в разное время Кир, Александр Македонский, Аббас I Великий и Надир-шах прославились как жестокие завоеватели.

Ст. 78. *Бог сил* – многократно встречающееся в псалмах выражение, обычно в качестве обращения (например: «Господи Боже сил, доколе гневаешися на молитву раб твоих?» – Пс 79: 5).

Ст. 85. *...под чертою светоносной* – т.е. в районе экватора.

Ст. 115–126. *...в Сеннаарских долах... на равнинах Абиссинских... Или, где Нил... в... области Гояма... в... Дамбеи... вдоль Нубийских... гор...* – Все эти африканские географические названия заимствованы из «Времен года» Томсона, где они возникают в иной последовательности. Ср.:

...Shoot o'er the vale of Sennar; ardent climb
The Nubian mountains, and the secret bounds
Of jealous Abyssinia boldly pierce.
⟨...⟩
...Rich king of floods! o'erflows the swelling Nile.
From his two springs in Gojam's sunny realm
Pure-welling out, he through the lucid lake
Of fair Dambea rolls his infant stream.

(Summer. L. 750–752, 805–808).

Ст. 130. *Голкондские... алмазы* – т.е. индийские. Государство Голконда в XVI–XVII вв. славилось своими алмазами.

Ст. 136–137. *Там раскаленна медна твердь и степь обширная железна...* – Ср.: «И будет небо над главою твоею медяно и земля под тобою железна» (Втор 28: 23); «...и положу небо вам аки железно и землю вашу аки медяну» (Лев 26: 19).

Ст. 147–149. *И я отсутствия зимы гораздо меньше бы желал, чем возвращения ея.* – Ср. в переведенном Бобровым с английского стихотворении «Зима» (№ 156).

Ст. 232. *Тенар* – мыс на юго-востоке Пелопонесса, где был вход в царство мертвых, через который вошел туда Геракл (12-й подвиг).

Ст. 258–259. *Эмпедокл... Плиний... Курций...* – погибшие в «пропастях»: Эмпедокл, по преданию, бросился в жерло Этны; Плиний Старший погиб при извержении Везувия; Марк Курций, когда в Риме разверзлась пропасть и боги требовали того, в чем сила Рима, бросился в нее на коне с оружием, воскликнув: «Что может быть сильнее доблести оружия!», после чего пропасть закрылась.

Ст. 286. *...обители пророков, певцов, гимнософистов, магов, платоников, друидов, бардов*! – здесь: рощи и пещеры. *Гимнософисты* – индийские мудрецы, жившие нагими в лесах. *Маги* – зороастрийские жрецы и астрологи в древней Персии. *Платоники* – последователи Платона, собиравшиеся в Академии в пригороде Афин (вероятно, здесь смешана с окруженным садом аристотелевским Лицеем). *Друиды* и *барды* – жрецы и песнопевцы у древних кельтов. Упоминание последних – дань увлечению Боброва «Песнями Оссиана» Дж. Макферсона (см. ниже примеч. к ст. 495–514).

Ст. 315–316. *...остраციты... грифиты...* – «Остраციты, или окаменелые устрицы, редки, но чрезмерной величины и тяжести, и притом различных родов. Совершенно окаменелая особливого рода устрица... и грифит суть самые именитые из числа сих окаменелостей» (*Паллас 1795*. С. 30).

Ст. 373–393. *О страшный вид*! *– о мрачны гробы*!.. и сл. – Весь отрывок (особенно со ст. 378) является близким подражанием «Элегии, написанной на сельском кладбище» Т. Грея. Мотивы этой элегии прослеживаются и в других стихотворениях Боброва (см. № 95 и 297).

Ст. 380–381. *Ах*! *– может быть, лежит тут сердце, пылавшее огнем небесным*! – Ср. в «Элегии...» Грея: «Perhaps in this neglected spot is laid / Some heart once pregnant with celestial fier...» (L. 49–50).

Ст. 384–385. *...Ибрагим, Анахарсис или Гирей...* – В «Элегии...» Грея этим трем именам соответствуют также три имени: Гампден, Милтон и Кромвель (L. 61–64).

Ст. 495–514. *Сей нежный образ краткой жизни...* и сл. – Ср. в переведенных Е.И. Костровым «Песнях Оссиана» Дж. Макферсона: «Цветок склоняет свою головку при дыхании зефира и, кажется, говорит ему: “Неблаговременный зефир! Оставь меня в покое, позволь мне прохлаждать главу мою в росе небесной, которою ночь меня окропила. Минута, в которую я должен увянуть, близка, и ветр рассеет по земли иссохшие мои листы. Заутра звероловец, видевший меня в полной моей красоте, возвратится сюда: взоры его будут искать меня на поле, которое украшал я собою; и взоры его не найдут уже меня...”» (Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века... М., 1792. Ч. 1. С. 343 [«Берратон»]). Подражание отметил Н.П. Брусилов и прокомментировал его так: «Хотя г. Бобров подражал в сем случае Оссияну; но какой хвалы достойно такое подражание!» (Журнал российской словесности. 1805. Ч. 1. № 2. С. 116117).

Ст. 526. *Где Флоры дщерь? – где сын Минервы?* – Эту строку иронически комментировал А.А. Крылов: «Кажется, что Минерва не имела супруга, а Зефир был только любовником Флоры. Невежды-пастухи шутят над девственными богинями самым обидным образом» (*Крылов 1822.* С. 422). У Боброва, однако, это лишь перифрастические именования пастушки Миртисы и философа Стильпона (см. ст. 528).

Ст. 535–536. *...где брат его смиренно спит до утра – утра вечной славы.* – Вероятно, реминисценция из известной эпитафии Н.М. Карамзина (1792): «Покойся, милый прах, до радостного утра!». Ср. также № 281, ст. 23–24.

Ст. 605–840. *Вы вопрошаете о мне...* и сл. – Весь этот пространный отрывок, заключающий, как кажется, важные автобиографические подробности (см. ниже), в «Тавриде» отсутствует.

Ст. 649–673. *Я все презрел начала Аты...он бог среди своих дервишей...* и сл. – Речь идет об одном из суфийских братств, возникших в XII–XIV вв. (перс. «дервиш», т.е.

нищий, бродяга, – синоним араб. «суфий»). Ученик (мюрид) в этих братствах беспрекословно подчинялся учителю (шейху). Шериф Омар, как видно из дальнейшего, состоял в таком братстве, но оставил его, после чего по велению константинопольского великого муфтия был направлен в Крым. Поскольку Омар в поэме часто лирически отождествляется с автором, здесь можно усмотреть туманный намек на отношения Боброва с московскими масонами и обстоятельства его перевода на юг России.

Ст. 656. *...перед лицем Темир-Аксака.* – Анатолию (Малую Азию) Тимур покорил 1400–1403 гг., когда и мог иметь место описанный в авторском примечании эпизод.

Ст. 674. *Великий муфтий* – глава мусульман в Османской империи (шейх-уль-ислам).

Ст. 738–739. *Но я третичный путь приму и там близ Праотца умру...* – Намерение Омара совершить третье паломничество к гробу Мухаммеда в Медину останется неосуществленным (он скончается в конце дня в Тавриде, см. песнь VII).

Ст. 746–747. *...оградит тебя от стрел, летящих в тьме и сени смертной.* – Ср.: «Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия...» (Пс 90: 5–6); «Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси...» (Пс 22: 4); «...во тме и сени смертней...» (Пс 106: 10; и др.).

Ст. 768–776. *...Донские берега, где некогда Орфей печальный...* и сл. – В «Георгиках» Вергилия (IV, 508–512, 517) рассказывается, что Орфей, вторично утративший Эвридику, блуждал в гиперборейских льдах, по снежным степям Танаиса, т.е. Дона, и плач его был подобен стенанию Филомелы, утратившей птенцов.

Ст. 780–788. *...по пламенным стезям Алкида...* и сл. – Речь идет об освобождении Гераклом Прометея, прикованного к Кавказским горам. *Стенанья глас*, т.е. стоны Прометея, терзаемого клевавшим его печень орлом, слышали проплывающие аргонавты.

Ст. 807. *Сибарит* – избалованный роскошью человек (от названия др.-греч. колонии Сибарис в Южной Италии).

Ст. 813–825. *Известно, что в Колхиде дикой...* и сл. – Речь идет о колхидской царевне Медее, «распаленной» страстью к «милому пришельцу» Язону. С ее помощью он запряг в плуг огнедышащих медноногих волов царя Ээта и засеял поле зубами дракона, а затем похитил Золотое руно. О ворожбе Медеи и ее мольбах к Гекате рассказывается в «Метаморфозах» Овидия (VII, 74–99, 180–294).

Ст. 960–961. *...от крови громодержца неборожденны полубоги...* – герои, рожденные от связей Зевса со смертными женщинами (Геракл, Персей и др.).

Ст. 964. *Ихорь* – в греч. мифологии прозрачная кровь богов.

Ст. 965. *Волоты* – так здесь названы гиганты, восставшие на олимпийских богов и побежденные ими с помощью Геракла.

Ст. 1114–1115. *...где базальты слоеваты с рассеянным по них шерлом...* – Ср.: «Лежащий слоями *базальт*, с рассеянным по нем шерлом, находится весьма в немногих местах, как то в Балаклаве, между Форусом и Мухоляткою, поблизости Кикенеиса и Гурзуфа» (*Паллас 1795*. С. 19).

Ст. 1159–1180. *Какой громоподобный треск...* и сл. – Речь идет о грязевом извержении на Таманском полуострове в феврале 1794 г., подробно описанном П.-С. Палласом (см.: *Паллас 1795*. С. 39–46).

Ст. 1221–1250. *Подмытая земля глубоко...* и сл. – Ср.: «...от подмытия, которое текущие источники делают в стланцовых поясах, оседает вниз на знатное расстояние земля, как при подошве приморских утесов, так и на берегах самого моря. Во многих местах видны весьма давние сего оседания признаки, особливо между Мухоляткою и Кучук-Койем. Но самый новейший сей пример, случившийся уже по приобретении Крыма, виден в той же самой деревне Кучук-Койе, где великое пространство лощины, подмытой текущею водою, содвинувшиеся со своего места с садами и бывшими на нем домами, подалося в самое

море. На сем месте видны теперь два возвышенные утеса, от которых осевшая вниз часть сей лощины отделилася ⟨...⟩. Во время сего явления природы, случившегося 10 февраля 1786 года, когда во многих местах Европы, особливо в Венгрии, чувствуемо было землетрясение, подобное оному происшествие было примечено на другом конце хребта Таврической области между Куру-Озеном и Алуштою, где и теперь простирающиеся вдоль берега скаты гор весьма мало отверделы и наполнены опасными трещинами, через которые лошади со всадниками переходят с некоторым родом ужаса» (*Паллас 1795*. С. 24–25).

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Ст. 73–80. *Ей храмы были соруженны... ~ Он кровью был омыт всегда.* – Вольное переложение отрывка из «Писем с Понта» Овидия (III, 2, 49–54; перевод З. Морозкиной: «Там и по нынешний день есть храм, и четырежды десять / К мощным колоннам его в гору ступеней ведут. / Здесь, повествует молва, небесный кумир находился; / Цело подножье его, хоть и пустое стоит. / Камень алтарный, что был по природе своей белоснежным, / Красным от крови людей сделался, цвет изменив»).

Ст. 85–88. *Безбрачна и младая жрица ~ Мечем девичьим закалаем.* – Ср. в «Письмах с Понта» Овидия (III, 2, 55–58; перевод З. Морозкиной: «Женщина правит обряд, не знавшая факелов брачных / ⟨...⟩ / Должен был каждый пришлец пасть под девичьим ножом»).

Ст. 98–559. *Во дни ужасного Фоанта ~ К брегам отеческим пелопским.* – Изложение мифа об Ифигении в Тавриде. В примечании к ст. 106 Бобров назвал некоторые его классические источники: трагедия Еврипида «Ифигения в Тавриде», трактат Цицерона «О дружбе» (24) и «Скорбные элегии» Овидия (IV, 4: 63–82).

Ст. 101. *Гераклейский Херсонис* – т.е. Херсонес Таврический, основанный выходцами из Гераклеи Понтийской ок. 422–421 гг. до н.э.

Ст. 101–102. *На Гераклейском Херсонисе стоял на возвышенном мысе...* – Бобров располагает храм Дианы на мысе Фиолент у Георгиевского монастыря, основанного в IX в. Мнение, что именно сохранившиеся здесь развалины над почти отвесной скалой связаны с мифом об Ифигении, в конце XVIII в. было, видимо, общепринятым. Ср.: «По сходству расстояния, объявленного Страбоном, по соображению местоположения и по свидетельству господина Сестренцевича, признаем здесь мыс Партенион. Страбон... утверждает, что на нем стояло капище (Fanum), посвященное деве-предсказательнице, Ифигении (Virgo Demon.), с ее в нем изображением. Перед сим-то ужасным жертвенником тавры мнили утушать гнев неодушевленных своих кумиров кровию несчастных пленников. В семто святилище Орест с примерным наперсником Пиладом осуждены были на заклание, и здесь-то оная служительница богини, убежавшая из Аулиды от зверского снисхождения родителева и изощренного на нее резца немилосердого Калхаса, признав во страннике своего брата, в нежных объятиях отменила ему казнь» (*Сумароков П.И.* Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. Ч. 1. СПб., 1803. С. 202–203). И.М. Муравьев-Апостол в своем «Путешествии по Тавриде в 1820 году» (СПб., 1823) оспорил эту легенду, на что в свою очередь возражал Пушкин в письме к А.А. Дельвигу в конце 1824 г. (отрывок из него был опубликован в 1826 г., а в 1830 г. включен в третье издание «Бахчисарайского фонтана»): «Георгиевский монастырь и его крутая лестница оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы, я думал стихами». Далее Пушкин привел первые строки

своего стихотворения «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья?..»), в котором обнаруживаются текстуальные переклички с поэмой Боброва (см.: *Фомичев С.А.* Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 82–83).

Ст. 122. *Пелопская* – пелопонесская.

Ст. 231–232. *Священница кропит водой плененных греков...* – Ср. в «Письмах с Понта» Овидия (III, 2, 73; перевод З. Морозкиной: «Жрица гречанка водой очистительной их окропила...»).

Ст. 382–383. *И сам Фоант в то время понял, что сердце каменно в нем тает.* – Ср. в «Скорбных элегиях» Овидия (V, 9, 27–28; перевод С. Ошерова: «Видя, как свято Пилад арголидцу Оресту привержен, / Дружбой такой, говорят, сам восхитился Фоант»).

Ст. 414–415. *Отец мой умер – не под Троей, в Мицене...* – Агамемнон был убит своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом в Микенах, после возвращения из-под Трои.

Ст. 435. *...при дворе Фокейском* – т.е. в Дельфах.

Ст. 451–455. *Я вторгся в брачный храм...* и сл. – Ср. с рассказом Ореста об убийстве Пирра в трагедии Ж. Расина «Андромаха» (действ. V, явл. 3), в свою очередь восходящим к фрагменту из одноименной трагедии Еврипида (ст. 957–1008).

Ст. 496–551. *Да, – здешний царь бесчеловечный...* и сл. – Объявление Фоанта тираном и виновником кровожадных обычаев тавров и последующее его убийство Орестом и Пиладом не имеют аналогов ни в одном из известных изложений мифа, согласно которому они просто бегут из Тавриды, похитив идол Артемиды (см.: *Еврипид.* Ифигения в Тавриде; *Овидий.* Скорбные элегии, IV, 4, 63–82; Письма с Понта, III, 2, 43–96; и др.). Этот эпизод (отсутствующий 1-й ред.) полностью вымышлен Бобровым, чтобы напомнить об убийстве Павла I, выразив при этом свою лояльность оказавшимся у власти заговорщикам. Ср. его стихотворение «Ночь» (№ 18) и примеч.

Ст. 572. *Наследно царство Гермионы* – Спарта, где царствовал ее отец Менелай.

Ст. 587–612. *Краса ионических градов...* и сл. – Речь идет о первых греческих поселениях в Крыму, основанных выходцами из Милета в VII–VI вв. до н.э. (Феодосия, Пантикапей, Керкенитида, Алупка и др.). Уроженцами Милета были философы Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и гетера Аспазия.

Ст. 596 (примеч.). *Huc quoque Mileto missi venere Coloni* – Овидий, «Скорбные элегии» (III, 9: 3).

Ст. 600. *Латма* – гора в Малой Азии. В грот на ее вершине сходила Артемида целовать спящего Эндимиона.

Ст. 613–620. *А выходцы из Ириклии...* и сл. – Выходцы из Гераклеи, города в Вифинии, основали Херсонес в конце V в. до н.э.

Ст. 621–627. *Сей самый град... Ольги внук... поразил; но дружба и любовь его там примирили с Византией; а Вера... усыновила к Божеству.* – В ходе войны с Византией в 980-х годах князь Владимир Святославич захватил Херсонес, после чего был заключен мир. Ок. 988 г. Владимир получил в жену византийскую царевну Анну и принял крещение.

Ст. 639. *Муссия* – мозаика.

Ст. 656–657. *Диомиды, Бузирисы, Антеи...* – Фракийский царь Диомед, египетский царь Бузирис и ливийский великан Антей убивали чужеземцев, и за это сами были убиты Гераклом.

Ст. 666–692. *Восточной Таврии страной Воспорски греки обладали* и сл. – Боспорское царство на востоке Крымского полуострова со столицей в Пантикапее (совр. Керчь) было основано ок. 480 г. до н.э. В конце II в. до н.э., при Митридате VI Эвпаторе, вошло в состав Понтийского царства, в I в. н.э. стало вассалом Рима. В конце III – начале IV в. на Боспоре утвердились готы, и царство приобрело фактическую независимость. В результате войн в 1-й половине IV в. с «*переселенцами милезийскими*»

(ст. 691–692), т.е. с подчиненным Риму Херсонесом, Боспорское царство потеряло все свои земли до Феодосии, а в 375 г. окончательно пало под натиском гуннов.

Ст. 668 (примеч.). *Bosporos et Tanais superant Scythicaeque paludes, vixique satis noti nomina pauca loci.* – Овидий. Скорбные элегии. III, 4: 49–50 (перевод Н. Вольпина: «...Босфор, Танаис, Киммерийской Скифии топи, / Еле знакомые нам хоть по названью места»).

Ст. 693–695. *Сарматы, готы и аланы... местами сими обладали.* – Сарматы и аланы проникли в Крым в III–II вв. до н.э. и смешались со скифским населением. В середине III в. степную часть Крыма заняли готы, которые в IV–V вв. были оттеснены гуннами к южному берегу. Крымские готы известны до XVI в.

Ст. 696–699. *...владетели Фракийски, самодержавцы Византийски... присвоили себе всю область...* – Объектом византийской экспансии Крым стал с IV–V вв. В VI в. по велению императора Юстиниана были воздвигнуты военные укрепления по всему побережью от Херсонеса до Босфора. В 832 г. в Херсонесе был создан особый военно-административный округ под управлением стратига, назначаемого из Константинополя. С XI в. влияние Византии на полуострове стало ослабевать, а в XIII в. прекратилось.

Ст. 700–701. *Гунны, венгры и козары, и половцы... срывали часто те плоды...* – Племена, в разное время совершавшие набеги на Крым. Хазары в 660–667 гг. захватили почти весь полуостров (кроме Херсонеса) и владели им до начала IX в. В X в. хазары покинули полуостров.

Ст. 704–734. *Уже четвертый век проходит, как Генуя цветуща...* и сл. – Генуэзские колонии в Крыму существовали в XIII–XV вв.

Ст. 743. *...в пустынях Меотийских* – в приазовских степях.

Ст. 752. *Останки мшистых тамо ставок, что росские орлы нашли во дни великого Петра, еще напоминают ясно о страшном том биче востока...* – Речь идет об археологи-

ческой находке в городе Костенске (ныне село Костёнки) близ Воронежа в 1696 г. Тогда были найдены кости огромного размера, принадлежавшие, как выяснилось позднее, мамонтам. Петр I полагал, что это останки слонов из войска Александра Македонского, и направил для розыска особую экспедицию под руководством солдата Преображенского полка Филимона Катасонова. Позднейшие раскопки в Костёнках стали важнейшим источником сведений о жизни людей эпохи верхнего палеолита.

Ст. 763. *...внук... Сатурна* – Александр Македонский.

Ст. 765–766. *...прияв в объятия свои Фалестру, дышущую страстью...* – «У них (племени амазонок. – *В.К.*) была царица Талестрис, правившая всеми живущими между Кавказом и рекой Фасис. Желая видеть царя (Александра. – *В.К.*), она выступила за пределы своего царства... ⟨...⟩ На вопрос, не желает ли она просить о чем-нибудь царя, она, не колеблясь, призналась, что хочет иметь от него детей... ⟨...⟩ Страсть женщины, более желавшей любви, чем царь, заставила его задержаться на несколько дней. В угоду ей было затрачено 13 дней» (*Квинт Курций Руф*. История Александра Македонского. М., 1993. С. 122–124 (VI. 5, 24–32)).

Ст. 770–774. *А зря, что славы тих полет...* и сл. – Имеется в виду совет скифских послов Александру не слишком полагаться на свое счастье, не переходить Танаис (Дон) и не вторгаться в их земли. Александр ответил, что воспользуется и своим счастьем, и их советом, и все-таки перешел Танаис (*Квинт Курций Руф*. Ук. соч. С. 159–161 (VII. 8, 12–30; 9, 1)). Александр был учеником Аристотеля (Стагирита).

Ст. 775–797. *Настал сей год – ужасный год...* и сл. – Первый опустошительный набег монголов на Крым был в 1223 г., следующий – в 1239 г. В 1242–1438 гг. Крым являлся улусом Золотой орды.

Ст. 798–830. *...генуезцы... свои селенья... забралом твердым оградили...* и сл. – Кафа (Феодосия), центр генуэзской

торговли в Крыму, была обнесена 12-метровыми стенами с 26 башнями. Мощные крепости в конце XIII в. были возведены в Воспоро (Керчь) и Чембало (Балаклава). Генуэзские колонии в XIV в. неоднократно разрушались татаро-монголами (в 1307, 1395 и 1397 гг.), но неизменно восстанавливались. С генуэзским присутствием в Крыму покончили турки («*чада Агари*»), захватив в 1475 г. Кафу и разгромив все города южного побережья Крыма.

Ст. 836–837. *Так славный полуостров лег под звучною стопой Магмета.* – Т.е. Мехмеда II Завоевателя, при котором крымские ханы стали вассалами султана (в 1475 г.).

Ст. 849–857. *...древле страшная Медея ~ в разных заклинаньях выла.* – Имеется в виду рассказ о ворожбе Медеи и ее мольбах к Гекате в «Метаморфозах» Овидия (VII, 180–287).

Ст. 905. *Скифы* – здесь: татары.

Ст. 914–1365. *Се! зрите кости на помосте! ~ Страдалец воздохнул – и лег.* – В этом вставном эпизоде об отчаянном пустыннике, по замечанию Ю.Д. Левина, «легко обнаруживаются идеи, почерпнутые из "Ночных размышлений" Юнга» (*Левин 1990.* С. 200). Аналогичный эпизод находится в поэме Боброва «Древняя ночь вселенной» (см.: *ДНВ*. Ч. 2. Кн. 4. С. 115–164).

Ст. 967–968. *Подобно лебедю при смерти на тихих берегах Меандра.* – Ср. в оде М.М. Хераскова на восшествие на престол Александра I (1801): «Как лебедь на водах Меандра / Поет прощальну песнь свою...». См. также в особом посвященном Хераскову стихотворении Боброва «Успокоение российского Марона» (№ 264).

Ст. 1040. *Пусть буду сим: ничем! – Саддок!* – Саддукеи не веровали в воскресение мертвых и будущую жизнь.

Ст. 1098–1107. *Но ты, – ты, мыслящий теперь... ~ Которые там, – там сияют?* – Возможно, к этим стихам восходит начало незавершенной поэмы Пушкина «Таврида» (1822) (см.: *Фомичев С.А.* Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 83–84).

Ст. 1149–1150. *Отец духов не есть Бог мертвых; Он Бог, – Он Бог есть вечной жизни...* – Ср. слова Господа, сказанные в увещание саддукеям: «...несть Бог Бог мертвых, но живых» (Мф 22: 32); см. также: Мк 12: 27; Лк 20: 38.

Ст. 1406–1425. *Почтенный старец, Долгоруков...* и сл. – Речь идет о крымском походе русских войск под командованием князя В.М. Долгорукова 1771–1772 г., в результате которого Крым стал независимым ханством под покровительством России.

Ст. 1426–1437. *Любимец счастья несравненный...* и сл. – О принятии Крыма в состав Российской империи было объявлено манифестом от 8 апреля 1783 г. В феврале 1784 г. была учреждена Таврическая область под управлением князя Г.А. Потемкина, «любимца счастья».

Ст. 1444. *Так, – ты предел сей освятила.* – Имеется в виду крымское путешествие Екатерины II в 1787 г.

Ст. 1448. *Блестящих пятьдесят столпов...* – пятьдесят губерний, насчитывавшихся в Российской империи к концу царствования Екатерины II.

Ст. 1524. *Чесма те раны вспоминает...* – Имеется в виду разгром турецкого флота в Чесменском сражении 1770 г.

Ст. 1530–1545. *Могли ль срацины устоять близ Меотийского пролива? Могли ль они под Гаджибеем соблюсть пернатых исполинов...* и сл. – Имеются в виду победы, одержанные Черноморским флотом под командованием Ф.Ф. Ушакова на турками в Керченском и Тендровском сражениях в 1790 г. См. посвященную этим победам малую поэму Боброва «Черноморские трофеи...» (№ 47) и примеч.

Ст. 1546–1549. *Лишь Дакия, как поле Марса...* и сл. – Имеются в виду победы русских войск в войне с Турцией в 1787–1791 г. в Молдавии, Валахии и Бессарабии. См. посвященные этим победам особые оды Боброва (№ 37-44) и примеч.

Ст. 1603–1623. *Тогда исполнился бы тот период славный просвещенья, о коем... ПЕТР... провозвещал...* и сл. –

Имеются в виду известные слова Петра I, сказанные 28 сентября 1714 г. при спуске на воду корабля «Шлиссельбург» в Риге: «Историки полагают древнее седалище наук в Греции; оттуда перешли они в Италию и распространились по всем землям Европы. ⟨...⟩ Это движение наук на земле сравниваю я с обращением крови в человеке: и мне сдается, что они опять когда-нибудь покинут свое местопребывание в Англии, Франции и Германии и перейдут к нам на несколько столетий, чтобы потом снова возвратиться на родину свою, в Грецию» (*Голиков И.И.* Деяния Петра Великого, великого преобразителя России. Т. 4. М., 1788. С. 373–374; ср.: Записки о Петре Великом и его царствовании Брауншвейгского резидента Вебера // Русский архив. 1872. № 6. С. 1074–1075). Бобров описывает «эллиптический путь» муз из *Египта* в *Элладу*, затем через Рим (*Тибр*), Англию (*Тамиза*, т.е. Темза), Испанию (*Таг*, т.е. Тахо), Францию (*Секвана*, т.е. Сена), Австрию (*Дунай*), Германию (*Рен*, т.е. Рейн) и Россию (*Нева*) обращение их к Тавриде, где должна возродится Древняя Греция. Последнее, по мнению А.Л. Зорина, в России конца XVIII в. имело актуальный политический смысл: «Бобров вносит в... прорицания (Петра I. – *В.К.*) в высшей степени существенные коррективы. Музам, собственно говоря, незачем покидать Россию и возвращаться к себе в Грецию, ибо русские в некотором, прежде всего религиозном, смысле и есть греки, а свою Грецию они уже обрели в Тавриде. В этой перспективе уже нет смысла и воевать за Константинополь, ибо идеальным воплощением Константинополя становится возрожденный Таврический Херсонес» (*Зорин А.* «Кормя двуглавого орла...». Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 120). Намеки на это странствие муз см. также в стихотворении № 99 (ст. 120–122, 192–193).

Ст. 1641–1642 и сл. *...мир. – ЭХО – мир...* и сл. – Этот разговор с эхом приводится в словаре Н.Ф. Остолопова в статье

«Ехо» с ироническим комментарием: «Из сего отрывка можно видеть, что Ехо г-на Боброва умело даже прибирать рифмы – хотя сие и несообразно с принятыми правилами. Оно обязано только, как то бывает и в самой природе, повторять одни окончательные слоги. Ежели допустить подобную вольность, то услышишь наконец и такое Ехо, которое на вопрос “здоров ли?” будет отвечать: “К вашим услугам” (*Остолопов Н.Ф.* Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1. С. 529–530). Ср. стихотворение «Беседа между певцом и эхом» (№ 67).

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Ст. 17–29. *Зри! – как там дикий пар сизеет...* и сл. – Ср. во «Временах года» Томсона:

Behold, slow-settling o’er the lurid grove
Unusual darkness broods; and, growing, gains
The full possession of the sky, surcharged
With wrathful vapour, from the secret beds
Where sleep the mineral generations, drawn.
(Summer. L. 1103–1107).

Ст. 77–88. *Вдруг с страшным шумом пыль воздвигшись...* и сл. – Процитировано в статье А.А. Крылова со следующим комментарием: «В сих стихах, конечно, недостает исправности слога и приятной гармонии, но они живописны» (*Крылов 1822*. С. 454).

Ст. 170. *Караибы* – крымские татары, исповедующие иудаизм.

Ст. 220–231. *Сей глас, ревущий в черной туче...* и сл. – Отрывок процитирован в статье А.А. Крылова для «доказательства... мнения, что Бобров имел решительное дарование к лирической поэзии» (*Крылов 1822*. С. 428–429).

Ст. 324–327. *Но ах! – всегда ль удар ее прицелен на чело злодея? Коликократ неосторожна невинность гибла от*

нее? – Во «Временах года» Томсона сходным образом вводится рассказ о Селадоне и Амелии, убитых молнией. Ср.:

> Guilt hears appalled, with deeply troubled thought;
> And yet not always on the guilty head
> Descends the fated flash.
>
> (Summer. L. 1169–1171).

В «Тавриде» заимствование очевидней (см. «Варианты ранней редакции»).

Ст. 360–390. «*Скор быстрый шаг бегущих ветров*... и сл. – Ломоносов излагает здесь собственную теорию атмосферного электричества (см. его «Слово о явлениях воздушных, от електрической силы происходящих», 1753). Ср. стихотворение Боброва «Обузданный Юпитер, или Громовый отвод» (№ 109) и примеч.

Ст. 376–377. *Смотри! – как сребрян вихрь крутится змиеобразною чертой*! – Ср. в «Слове о явлениях воздушных...» Ломоносова: «Рассуждая кривизны и выгибы, которыми молния блещет, весьма за вероятное почитаю, что она спиральною линиею извивается; оттуду, по разному положению зрителей, выгибы, углы и кольца показываются».

Ст. 379. *...из сжатой в жидку часть стремится*! – Ломоносов объяснял движение воздуха разницей давления, а атмосферное электричество считал результатом трения движущихся воздушных частиц.

Ст. 394–395. *А ты, достойный плача Рихман, печальной опыта стал жертвой*. – Г.-В. Рихман, друг Ломоносова, погиб во время опытов с «громовой машиной» 26 июля 1753 г. Гибель его описана в пространном письме Ломоносова к И.И. Шувалову от 26 июля 1753 г., содержащем просьбу позаботиться о семье покойного (это письмо упомянуто в авторском примечании к ст. 397).

Ст. 429–434. *Вотще безумец вопиет*... и сл. – См. № 109 и примеч.

Ст. 486–489. *Вдруг дождь шумящий с сильным градом...* и сл. – Ср. во «Временах года» Томсона:

Down comes a deluge of sonorous hail,
Or prone-descending rain. Wide-rent, the clouds
Pour a whole flood...
(Summer. L. 1144–1146)

В статье А.А. Крылова процитированы ст. 486–509 со следующим комментарием: «В сем описании много естественности и живости; в некоторых местах приметно удачное звукоподражание природе» (*Крылов 1822*. С. 455–456).

Ст. 539–548. *Стада, быв встречены грозою...* и сл. – Ср. во «Временах года» Томсона:

Black from the stroke, above, the smouldering pine
Stands a sad shattered trunk; and, stretched below,
A lifeless group the blasted cattle lie:
Here the soft flocks, with that same harmless look
They wore alive, and ruminating still
In fancy's eye; and there the frowning bull,
And ox half-raised.
(Summer. L. 1150–1156).

Ст. 621–624. *Не знаем ли, небесный Отче, что Ты насущный хлеб даешь, что Ты те долги нам прощаешь, какие должны мы прощать другим?* – Парафраза слов молитвы «Отче наш» (Мф 6: 9–13)

Ст. 680–691. *Но там, на лоне волн носясь... ~ Надеждой усыпленны в бурях.* – Эти стихи, по наблюдению Д.П. Ивинского, входят в «литературный фон» XI строфы пушкинской «Осени» (1833) (наряду со стихотворениями В.Г. Теплякова и А. Мицкевича) (см.: *Ивинский Д.П.* Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений. М., 2003. С. 142).

Ст. 748–750. *Се! – радости прекрасный пояс... в завет погибели минувшей...* – Радуга стала знамением завета между

Богом и живою тварью, что всемирный потоп более не повторится (Быт 9: 12–17).

Ст. 757–765. *Здесь, – остроумный Ломоносов...* и сл. – Ср. во «Временах года» Томсона:

> Here, awful Newton, the dissolving clouds
> Form, fronting on the sun, thy showery prism;
> And to the sage-instructed eye unfold
> The various twine of light, by thee disclosed
> From the white mingling maze.
>
> (Spring. L. 207–211).

Ломоносов, как и Ньютон, занимался теорией света и «тщился развязать» семь цветов радуги. В его «Слове о происхождении света, новую теорию о цветах представляющем» (1756) доказывалось, что существует не семь основных цветов, а три.

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

Ст. 179–180. *...славный камень, что при праге дверей святого храма...* – камень Каабы, находящийся в святилище в Мекке.

Ст. 282–399. «*Открыто небо, – он ревет ~ Яви свет истины в востоке!*» – Об этой проповеди аравийского лжеучителя см. в первой статье в разделе «Дополнения».

Ст. 289. *...сын Абдаллов* – пророк Мухаммед.

Ст. 564–565. *Сгиб морщин рисует печать печальну: помни смерть!* – Ср. песнь III, ст. 360–362, и примеч.

Ст. 631. *Поди! – спеши обнять ее!* – А.А. Крылов отметил анахронизм этнографического характера в этих словах матери Селима: «Мурза лишь только возвратился в дом свой, лишь только увиделся с матерью – и она тотчас посылает сына к его любезной Цульме. ⟨...⟩ Не думаю, чтобы такая французская живость была терпима мусульманами» (*Крылов 1822*. С. 425–436).

Ст. 714. *Укруг* – укрух, мера зерна.

Ст. 721–722. *...да уподобится супруге святого мужа, Ибрагима* – т.е. Сарре, супруге Авраама.

Ст. 835–836. *Се – смертный – мрак! – о вечна ночь! Алла! – при-ми мой – дух! и – о-о.* – Это натуралистическое изображение смертного стона шерифа в статье А.А. Крылова отмечено как недостаток, «...который у критиков называется *ложною естественностью.* ⟨...⟩ Весьма естественно и вероятно, что старец в минуту кончины не мог договорить последних слов, но очень странно смертные вздохи его перелагать в стихи. Это истина, но истина грубая и отвратительная. Она неприятным образом говорит нам о нашей слабости и ничтожестве...» (*Крылов 1822*. С. 460–461).

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ

Ст. 21–59. *Ея ужасну мановенью покорствуют различны тени...* и сл. – Ср. в IV песни поэмы М.М. Хераскова «Россияда» (1779), где рассказывается о явлении теней татарских ханов.

Ст. 332. *...чрез тридцать лет она скатиться* – речь идет о комете Галлея, новое появление которой ожидалось 1835 г.

Ст. 549–552. *...кому, – как страстная блудница... роскошно разверзает лоно...* – Это рискованное сравнение, как и одно другое (см. выше ст. 400–404), вызвало замечание А.А. Крылова об общих особенностях стиля поэмы: «Замечу еще неблагородство некоторых мыслей и выражений, простирающееся иногда до отвратительного цинизма. Известно древнее сравнение Фортуны с женщиною знатного рода, которая иногда и рабов удостоивает свой благосклонности; Бобров повторил ту же мысль, но словами, почти неблагопристойными. Другое сравнение, в котором честь изобретения принадлежит ему самому,

сравнение Природы с любезною его сердца – еще грубее» (*Крылов 1822*. С. 463–464). При этом Крылов даже не стал цитировать стихи, а лишь дал сноску: «Не выписываю собственных стихов Поэта из уважения к моим читателям» (Там же. С. 464).

Ст. 595–599. *Возносим на трофей блестящий одну очарованну ногу, чтобы... другую водрузить во гроб.* – Эти стихи перекликаются со строками из стихотворения памяти В.А. Зубова, потерявшего ногу при переправе через р. Западный Буг (см. № 262, ст. 108–109).

С. 621–622. *...невидима десница пишет на мраморной твоей стене...* – Вероятно, имеется в виду слова, таинственно начертанные на стене перед пирующим царем Валтасаром и предвещавшие ему скорую гибель (см.: Дан 5: 1–31).

ИМН ЦАРЮ ЦАРСТВУЮЩИХ

Ст. 148–155. *...ухищренный ков исчадий Галлии злобожных* и сл. – Имеются в виду происки революционной Франции. При первом издании поэмы в 1798 г., в обстановке готовящейся войны России с Францией, намек имел актуальный политический смысл.

Ст. 138. *... дщерь ада, – Ктезифона яра...* – Бобров имеет в виду Тизифону, одну из трех эринний, ошибочно смешивая ее имя с названием древнеперсидского города.

Ст. 167. *Любовь толь сильную, – как смерть...* – Ср.: «...крепка яко смерть любы...» (Песн 8: 6).

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В «РАССВЕТ ПОЛНОЧИ»

259

Автограф: *РГИА*. Ф. 994. Оп. 2. Ед.хр. 7. Впервые опубл.: *Поэты 1790–1810*. С. 109. Адресовано Н.С. Мордвинову.

260

СВ. 1805. Ч. 5. Март. С. 332–335; подпись: *С–ъ Б–въ*. Посвящено дню ангела великого князя Михаила Павловича – 8 ноября (в этот день празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных). Судя по тому, что в *РП* стихотворение не вошло, написано оно не ранее ноября 1804 г.

Эпиграф – из «Энеиды» Вергилия (VIII, 301; перевод: «О истинная отрасль Юпитера!»); тот же эпиграф см. № 31.

Ст. 58. *...мечем суда молниеносным.* – Ср. в оде Г.Р. Державина «На рождение великого князя Михаила Павловича» (1798): «И препоясал молний меч». Автор так комментировал эту строку: «В самый день рождения Михаила Павловича пожаловали его в фельдцейхмейстеры, то есть в начальники молнии российской, или артиллерии» (*Державин Г.Р.* Сочинения. СПб., 2002. С. 605).

Ст. 69. *Дщери солнцевы* – музы.

261

СВ. 1805. Ч. 5. Март. С. 337–338; без подписи. Надпись, вероятно, была сочинена для надгробного памятника известного кораблестроителя А.С. Катасанова на Смоленском кладбище Петербурга (не сохранился). Бобров познакомился с Катасановым в начале 1790-х годов на юге, где тот служил на верфи в Херсоне до своего назначения директором петербургского Училища корабельной архитектуры в 1798 г. По возвращении Боброва в столицу знакомство их продолжилось. Трем кораблям постройки Катасанова – «Святой Петр» (1794), «Благодать» (1800), «Гавриил» (1802) – посвящены особые стихотворения в *РП* (см. соответственно № 80, 15, 16, 29). См. также стихотворения № 13–14, посвященные высочайшим указам, имеющим прямое отношение к служебной деятельности Катасанова.

262

СВ. 1805. Ч. 6. Апрель. С. 67–71; подпись: *С–ъ Б–въ*. В.А. Зубов скончался 21 июня 1804 г. При его жизни Бобров однажды обращался к нему с особым стихотворением (см. примеч. к № 289).

Ст. 65–66. *Он был крылатым Трисмегистом... Афины россов* – т.е. посланником Екатерины II.

Ст. 72–90. *Стремился ль он в врата железны...* и сл. – речь идет Персидском походе Зубова в 1796 г., прерванном после смерти Екатерины II воцарившимся Павлом I. Этот поход в стихотворениях Боброва упоминается неоднократно (см. № 1, 9, 20).

Ст. 79–80. *Севера творец возникнул... на Кавказ...* – имеется в виду Персидский поход Петра I в 1722–1723 гг.

Ст. 82. *Царство Кирово* – Персия.

Ст. 89–90. *И те́ж ключи, что Петр им отдал, в руке Ироя возблистал.* – Имеется в виду взятие Зубовым осенью 1796 г. Дербента, который в 1722 г. был занят самим Петром I.

Ст. 97–108. *Стремился ль... к полям сарматским, к шумной Праге* и сл. – речь идет об участии Зубова в подавлении польского восстания и штурме Варшавы в 1794 г. *Прага* – предместье Варшавы.

Ст. 108–109. *...одной стопой в могиле, другой остался в мире к благам.* – При переправе через р. Западный Буг в 1794 г. Зубов потерял ногу.

263

СВ. 1805. Ч. 6. Апрель. С. 72–74; подпись: *Се–нъ Б–въ*. Посвящено состоявшемуся в 1804 г. бракосочетанию великой княжны Марии Павловны и принца саксен-веймар-эйзенахского Карла Фридриха. На тот же случай ср. оду П.И. Голенищева-Кутузова «Ода на бракосочетание ея императорского высочества государыни великой княгиги Марии Павловны с его светлостью наследным принцем

Саксен-Веймар-Эйзенахским Карлом Фридрихом» (СПб., 1804).

Эпиграф – из баллады О. Голдсмита «Эдвин и Ангелина» («Edwin and Angelina», 1765), вошедшей в его роман «Векфильдский священник».

Ст. 6. *Троев сын* – Ганимед, сын троянского царя Троса (Троя) и нимфы Каллирои.

Ст. 47. *Диевы две юны птицы* – чета голубков, посвященных Зевсу.

264

СВ. 1805. Ч. 7. Июль. С. 109–113; подпись: *С–ъ Б–въ*. Адресовано М.М. Хераскову, вероятно, по случаю выхода его дидактической поэмы «Поэт» (М., 1805), в начале которой содержатся аллюзии на «первое произведение музы» Боброва, посвященное творению мира (см. № 100 и примеч.). См. также с. 483 наст. изд.

Ст. 5. *Алански музы...* – здесь: российские.

Ст19. *...в Амфитритиных лесах...* – т.е., видимо, на кораблях или верфях в порту (Бобров служил тогда в Адмиралтейств-коллегии).

Ст. 37. *...петь мир нравственный желая* – Возможно, намек на «Оды нравоучительные» Хераскова (1769).

Ст. 42–43. *...петь небо благодати нам, склонившесь древле к Борисфену, или российской славы храм, воззванный из развалин слезных...* – имеются в виду поэмы Хераскова «Владимир Возрожденный» (1786) – о крещении Руси князем Владимиром и «Россияда» (1779) – о покорении Иоанном IV Казани, которое для автора символизировало окончательное освобождение России от татаро-монгольского ига. *Борисфен* – р. Днепр.

Ст. 55–56. *...его Помпилий с Эгерией...* – римский царь Нума Помпилий и его советница нимфа Эгерия, герои романа Хераскова «Нума Помпилий, или Процветающий Рим» (1768).

Ст. 60. *Гораздо ране Флориана.* – Роман Хераскова вышел в свет почти за двадцать лет до одноименного романа Ж.П.К. Флориана («Numa Pompilius...», 1786).

Ст. 60 (примеч.) *...французский «Меркурий»* – выходившая в Париже газета «Mercure de France».

Ст. 60. примеч. *...судя о нем только по немецкому переводу* – «Numa Pompilius oder Das blühende Rom. Aus dem Russland des Herrn von Cheraskoff» (St.-Petrsbourg, 1782).

Ст. 66. *Я долго в юности безвестной* и сл. – Именно Херасков как-то содействовал первому выступлению Боброва в печати (см. примеч. к № 100).

Ст. 96–100. *Так лебедь бела воспевает* и сл. – реминисценция из оды Хераскова на восшествие на престол Александра I (1801): «Как лебедь на полях Меандра, / Поет прощальну песнь свою, / Так я монарха Александра / При старости моей пою». Мотив восходит к диалогу Платона «Федон». Ср. в «Метаморфозах» Овидия (XIV, 430; перевод С.В. Шервинского: «Так, умирая, поет свою песню предсмертную лебедь»). Ср. также в «Херсониде» (песнь V, ст. 967–968).

265

СВ. 1805. Ч. 7. Сентябрь. С. 346; подпись: *Боб.* Адресат эпитафии не установлен. Вероятно, предназначалась для надгробного памятника.

266

СВ. 1805. Ч. 7. Сентябрь. С. 347; подпись: *Боб.* Эпитафия на смерть Мавры Борисовны Яковлевой (1783–1805), написанная от лица оставшегося вдовцом с семью дочерьми Сергея Саввича Яковлева (1763–1818), крупного промышленника, владельца заводов на Урале. Высечена на надгробном памятнике Яковлевой на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. На барельефе саркофага из белого мрамора изображены гнездо с семью

птенцами, ворон на дереве и мертвая птица. Текст надписи на памятнике (опубл.: Петербургский некрополь. СПб., 1914. Т. 4 (неточно); Русская стихотворная эпитафия. СПб., 1998. С. 393–394 (автор не указан)) содержит разночтения в шести строках из восьми:

Вот, дети, гроб ея – гроб Матери почтенной!
Крушитеся по ней, – а я уж изнемог;
Источник слез моих среди тоски иссох;
Подруги нет души, нет сей главы бесценной.
О чада сирые! Кто вас к груди прижмет?
Кто в слезном сиротстве у сердца вас согреет?
Но тот, кто врановых птенцов хранить умеет,
Воззвав ее к себе, ток ваших слез отрет!

Ст. 7. *Но Тот, что врановых птенцов жалеть умеет...* – Ср.: «Кто же врану уготова пищу? Птичищи бо его ко Господу воззваша, облетающе брашна ищуще» (Иов 38: 41); «...дающему скотом пищу их, и птенцем врановым призывающим Его» (Пс 146: 9).

267

СВ. 1805. Ч. 7. Сентябрь. С. 347; подпись: *Боб.* Адресат эпитафии не установлен. Вероятно, предназначалась для надгробного памятника.

268

СВ. 1805. Ч. 8. Октябрь. С. 72–74; подпись: *С.Б.* Вольное переложение знаменитого «Гимна Афродите» Сапфо, на русский язык в XVIII в. перелагавшегося неоднократно, в том числе А.П. Сумароковым (1758) и Г.Р. Державиным (1800, опубл.1804). Переложение Боброва вызвало к поэтическому со́стязанию Н.А. Радищева, который в следующей книжке журнала за подписью «-евъ» поместил свой перевод того же гимна: «Гимн Сафы» («О дщерь властителя вселенной...») (*СВ*. 1805. Ч. 8. Ноябрь. С. 171–172;

ср.: Поэты-радищевцы. Л., 1979. С. 372–373); эта публикация сопровождалась примечанием издателя И.И. Мартынова: «Помещаю для сличения с переводом сего же гимна, напечатанным в прошлом октябре месяце сего издания» (т.е. с переводом Боброва).

269

СВ. 1805. Ч. 8. Октябрь. С. 74–75; подпись: *С. Б*. Перевод стихотворения А. Попа «Roman catholic version of the first psalm for the use of a young lady» (1716).

270

СВ. 1805. Ч. 8. Октябрь. С. 75–76; подпись: *С. Б*....

271

СВ. 1805. Ч. 8. Октябрь. С. 76–77; подпись: *С. Б-въ*. Эпитафия известному скульптору Ф.И. Шубину, уроженцу Холмогор. Высечена на его надгробном памятнике на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Текст на памятнике (опубл: Русская стихотворная эпитафия. СПб., 1998. С. 394 (автор не указан)) содержит разночтения в 12 строках из 16:

Сын мразныя страны, где гении восстали,
Где Ломоносовы из мрака воссияли,
Из россов первый здесь в плоть камень претворял,
И видом дышащих скал чувства восхищал.
Земные боги в них мир новый обретали,
Рим и Болония в нем гения венчали.
Екатерины дух, что нам открыл закон,
Воззрел, и под его рукою мрамор дышет.
Богиня, кажется, еще в нем правду пишет,
Но сей наш Прометей, сей наш Пигмалион,
Бездушных, диких скал резцом животворитель,
Природы сын и друг, искусством же зиждитель,

В ком победителя она страшилась зреть,
А с смертию его страшилась умереть,
Сам спит под камнем сим и к вечной славе зреет,
Доколь наставница-природа не истлеет.

Ст. 9 (примеч.) *...он был посылан из Академии художеств во Францию* и т.д. – В Париже Шубин находился после окончания Академии художеств в 1767–1769 гг., в Риме – в 1769–1772 гг. Герцог Глочестерский Вильям-Генрих, брат английского короля Георга III, в 1771 г. по рекомендации И.И. Шувалова заказал Шубину бюсты Алексея и Федора Орловых во время их путешествия по Италии. *...Сию государыню представил из мрамора* – имеется в виду скульптура «Екатерина II – законодательница», изготовленная по заказу Г.А. Потемкина для Таврического дворца в 1789–1790 гг. Императрица одной рукой держит скипетр, другой указывает на раскрытую книгу. Ныне находится в Русском музее в Петербурге.

272

СВ. 1805. Ч. 8. Октябрь. С. 77–78; подпись: *С. Б-въ.*

273

Лицей. 1806. Ч. 1. Кн. 1. С. 3–10; подпись: – –. Ода посвящена событиям антинаполеоновской кампании 1805 г., главным образом – битве под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря по н.ст.).

Эпиграф – из «Фаст» Овидия (I, 65–67; «⟨Янус двуглавый,⟩ ты год начинаешь, безмолвно скользящий ⟨...⟩ будь благосклонен к вождям» – перевод Ф. Петровского); тот же эпиграф (но без пропуска ст. 66) см. № 110.

Ст. 9. *...дщерь Фемиды* – одна их трех Гор, дочерей Фемиды и Зевса, покровительниц времен года.

Ст. 39–41. *...вышни силы, окрыленны огней троякой быстротой, сошли на запад...* – Имеются в виду армии трех

держав, сошедшиеся «в буре бранной» под Аустерлицем, – Франции, России и Австрии.

Ст. 44. *Сам Бог ста в сонмище богов...* – Ср.: «Бог ста в сонме богов, посреде же боги рассудит» (Пс 81: 1).

Ст. 48–49. *Счастья сын... Магога...* – Наполеон.

Ст. 51. *...дщерь паннонска* – Австрия.

Ст. 64–79. *Я вел коней звезды дневной к полнощи от пределов южных...* и сл. – В мае 1805 г. Наполеон совершал торжественное путешествие по Италии, а уже в сентябре был с войсками на Рейне.

Ст. 77–78. *...росс... один против пяти летит...* – Речь идет о Шенграбенском сражении 4 (16 н.ст.) ноября, в котором у французов было пятикратное превосходство в численности (30 тыс. против 6 тыс.).

Ст. 92. *Молниеносных... стен* – т.е. снабженных артиллерией.

Ст. 93–95. *Но росс шагнул, – поверг...* и сл. – Речь идет, видимо, о вытеснении группы французов из Вишау передовым отрядом П.И. Багратиона 16 (28 н.ст.) ноября 1805 г.

Ст. 97. *Тристаты* – военачальники.

Ст. 104–106. *...один, как Леонид... другой, как Фабий...* – Имеются в виду П.И. Багратион и М.И. Кутузов.

Ст. 109–111. *Иной ⟨...⟩ из рук врагов ⟨...⟩ исторгнув знамя, с ним парит...* – Вероятно, речь идет о зяте Кутузова флигель-адъютанте Федоре Ивановиче Тизенгаузене, который со знаменем в руках повел расстроенный батальон и получил смертельное ранение.

Ст. 114. *...четырех волков набег...* – Силы французов под Аустерлицем были разделены на четыре части: корпуса Л.-Н. Даву (правый фланг), Н. Сульта (центр) и Ж. Ланна и И. Мюрата (левый фланг).

Ст. 116. *Разит троих, – четвертый в бег...* – Речь, видимо, идет о временном отступлении корпуса Даву под натиском русских войск под командованием Ф.Ф. Буксгевдена.

Ст. 122–134. *Вдруг витязь некий крылатеет* и сл. – Вероятно, имеется в виду Дмитрий Сергеевич Дохтуров (1761–1816), командовавший 1-й колонной левого фланга

союзников. Ему пришлось отступать, пробиваясь через позиции неприятеля, когда все его считали уже погибшим. За решительные и умелые действия Дохтуров был награжден орденом Св. Владимира большого креста.

Ст. 140–153. *Но кто в сумраке...* и сл. – Александр I, находившийся во время битвы под Аустерлицем при войсках.

Ст. 165. *Союза томного строптивость...* – Имеется в виду союз России с Австрией, распавшийся после поражения под Аустерлицем.

Ст. 177. *Любовь толь крепкая, как смерть...* – Ср.: «...крепка яко смерть любы...» (Песн 8: 6).

Ст. 179–180. *И через косу в звездну твердь уносит их на крыльях славы.* – Т.е. через «косу смерти». Ср.: «Чрез косу смерти скачут вои» (№ 38, ст. 51).

274–276

Лицей. 1806. Ч. 1. Кн. 2. С. 12–13; подпись: *Б.* Вольное переложение фрагментов Сапфо: 1) фр. 2; 2) фр. 114; 3) фр. 94 (нумерация фрагментов по изд.: Anthologia lyrica Graeca. 2 vol. / Ed. E. Deihl. Lipsae, 1922–1925). Первый из трех переведенных Бобровым «отрывков» до него перелагался на русский язык многократно, в том числе А.П. Сумароковым (1755), В.К. Тредиаковским (1766), Н.А. Львовым (1778), М.Н. Муравьевым (1778), Г.Р. Державиным (дважды – 1794 и 1802), И.И. Мартыновым (1803) и Д.И. Хвостовым (1804); второй и третий – только выпустившими особые сборники своих переводов из Сапфо И.И. Виноградовым («Стихотворения Сафы». СПб., 1792) и П.И. Голенищевым-Кутузовым (То же. М., 1805) (ср. с более современными переводами последних фрагментов: 2) «О матушка! не в силах за станком сидеть я ткацким: / Мне сердце стройный мальчик покорил чрез Афродиту» – перевод В.В. Вересаева; 3) «Уж месяц зашел; Плеяды / Зашли... И настала полночь. / И час миновал урочный... / Одной мне уснуть на ложе!» – перевод

Вяч.И. Иванова). Сразу за переложениями Боброва в журнале следовал перевод А. Тейльса под названием «Сафо» («Счастлив, кто близ тебя вздыхает...») и с примечанием издателя И.И. Мартынова: «Помещаю для сличения с напечатанным выше переводом» (Лицей. 1806. Ч. 1. Кн. 2. С. 14). Е.В. Свиясов, ошибочно атрибутировав «Отрывки из Сафы» Н.И. Бутырскому (подпись «Б.» во всех следующих номерах «Лицея» принадлежит только Боброву, к тому же в одном из фрагментов есть очевидное соответствие со строками из его стихотворения «Полнощь» – см. ниже), верно заметил, что автор первого «отрывка» («Блажен, как жители небесны...») «стремился если не перевести оду, основываясь на первоисточнике, то, по крайней мере, вырваться из шаблона наиболее известных французских вариантов перевода. Не решаясь восстановить в точности “геометрию” оды, он тем не менее сохраняет основные физиологизмы» (*Свиясов Е.В.* Сафо и русская любовная поэзия XVIII – начала XIX веков. СПб., 2003. С. 154).

3, ст. 1–2. *Блистающих Плиад уводит с собой сребристая луна...* – Ср. в оригинальном стихотворении Боброва «Полнощь»: «Се полнощь! – тихо все; луна с среды нисходит / И к западным водам Плиад с собой уводит» (№ 102, ст. 22–23).

277

Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 2. С. 7–10; подпись: *Б*. Адресовано Михаилу Никитичу Муравьеву (1757–1807). Отношения с ним у Боброва завязались по возвращении последнего в Петербург через его давних знакомых по Московскому университету (Муравьев занимал должность попечителя университета с 1803 г.) или через литераторов Вольного ощества любителей словесности, наук и художеств, вхожих к Муравьеву. Видимо, именно он, будучи статс-секретарем у принятия прошений, представил Александру I

«Херсониду» Боброва, за что тот 21 марта 1805 г. был пожалован перстнем стоимостью 700 руб. В ноябре 1805 г. Бобров посвятил Муравьеву литературно-полемическое сочинение «Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка», оставшееся неопубликованным при жизни автора (см. *ПЦТ*). «Весенняя песнь», по всей видимости, сознательно построена по образцу оды Муравьева «Весна. К Василию Ивановичу Майкову» (1775), где картина весеннего оживления природы заключается обращением к адресату как наставнику в поэзии «во знак чувствительной души».

Ст. 6–16. *Начав с пылинки светлокрылой...* и сл. – Ср. с 7-й и 8-й строфами оды Муравьева «Весна».

Ст. 50. *Монтегю* – Чарльз Монтегю, граф Галифакс. Бобров имеет в виду его стихи на сражение при р. Бойн в 1690 г. («Epistle occasioned by his Majesty's victory in Irland», 1691).

Ст. 52–53. *Ты пел времен полет, Полтавский бой и меч счастливый...* – Вероятно, речь идет о «поэме» Муравьева «Военная песнь» (СПб., 1774), впоследствии переработанной в три отдельные произведения («Военная песнь», «Храм Марсов», «Ода на победы, одержанные российским оружием в продолжение первой турецкой войны»). Известно также, что в 1779 г. он начинал писать поэму «Полтавский бой», оставшуюся незавершенной.

Ст. 54–55. *Я зрю еще, как кисть дает германским гениям оттенки...* – Вероятно, речь идет о переводах Муравьева с немецкого, в частности – о раннем сборнике «Переводные стихотворения» (СПб., 1773), куда вошли переводы из П. Флеминга и Б.-К. Брокеса.

Ст. 58–60. *Аланска муза тем гордится, что шед с тобою перед трон, умела сблизить лиру с скиптром...* – В 1785–1796 гг. Муравьев преподавал российскую словесность великим князьям Александру Павловичу и Константину Павловичу. В то же время, видимо, подразумевается посредничество Муравьева в представлении императору «Херсониды» в 1805 г.

Ст. 62–65. *Летит туда... где долго был бы гроб талантам...* – Речь идет о деятельности Муравьева в должности товарища министра народного просвещения (с 1803 г.). В 1804 г. были открыты университеты в Казани и Харькове.

Ст. 72–73. *...нет весенней жизни той, которой ты в других дивишься* – Вероятно, отсылка к строкам из тогда еще не опубликованного, но известного в списках стихотворения Муравьева «К Музе» (1790-е; опубл. 1819): «Любимцам, Муза, ты Елизий сотворяешь / И щедро сыплешь вкруг сокровища весны!».

278

Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 2. С. 10–12; подпись: *Б*. Сочинено в Николаеве в 1794 г. С этим стихотворением перекликается вошедшая в *РП* «Песнь несчастного на новый год к благодетелю», написанная к новому 1795 г. (см. № 111 и примеч.).

Ст. 33–44. *Воззову ль к отцу веселий...* и сл. – Обращение к Вакху (он же *лидийский бог, тигров всадник*), свидетельствующее о том, что пристрастие к горячительным напиткам имело в место в жизни Боброва и тяготило его. *Лидийским богом* Вакх назван, поскольку, согласно одному из вариантов мифа, после своих странствий вернулся в Грецию из Лидии (в журнальном тексте опечатка: «линийский»).

279

Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 2. С. 12–13; подпись: *Б*.

280

Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 2. С. 13–14; подпись: *Б*. Адресовано М.Ю. Геринг по случаю ее переезда с мужем в Петербург (не позднее 1802 г.). Ср. № 162.

281

Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 2. С. 15–16; подпись: *Б*. Написано не позднее 1802 г. по случаю переезда четы П.Ф. и М.Ю. Герингов в Петербург. Рождению сына, о смерти которого в трехлетнем возрасте здесь говорится, Бобров в свое время посвятил особое стихотворение (см. № 159 и примеч.).

Ст. 23–24. *Гроб... где до утра сын твой спит*. – Строки перекликаются с известной эпитафией Н.М. Карамзина 1792 г.: «Покойся, милый прах, до радостного утра!» (впервые отмечено в статье: *Альтшуллер 1964*. С. 232–233). Ср. также в «Херсониде» (песнь IV, ст. 535–536).

282

Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 2. С. 16; подпись: *Б*.

283

Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 3. С. 3–6; подпись: *С... Б...* Вольное переложение баллады Д. Маллета «Edwin and Emma» (1760). (В подзаголовке ошибочно указано название поэмы М. Прайора «Henry and Emma».) Действие баллады из средневековой Европы перенесено в среду крымских мусульман, герою присвоено имя одного из двух главных персонажей «Тавриды» (мурза Селим), стих упрощен (в оригинале сочетание четырехстопного ямба с трехстопным). Эту же балладу позднее переложил В.А. Жуковский, добавив мотив дочерней любви («Эльвина и Эдвин», 1814; опубл. 1815). Боброву принадлежит прозаический перевод другой баллады Маллета – «William and Margaret» (1724): «Вильгельм и Маргарита. Баллада. С англ.» (*СВ*. 1805. Ч. 7. № 7. С. 94–97).

284

Лицей. 1806. Ч. 4. Кн. 2. С. 21; подпись: *Б-ъ*. Иван Янжул-Михайловский (ум. 1806) – врач, переводил с немецкого книги по фармацевтике (последняя переведенная им книга вышла в 1803 г.). Надпись, вероятно, предназначалась для надгробного памятника.

285

Лицей. 1806. Ч. 4. Кн. 3. С. 3–9; подпись: *Б...овъ*. Ода посвящена выступлению русской армии в Пруссию в ноябре 1806 г.

Ст. 3. *Пред вами три вождя всемочны* – монархи, входившие в 4-ю антинаполеоновскую коалицию: российский император Александр I, прусский король Фридрих Вильгельм III (1797–1840) и шведский король Густав IV Адольф (1792–1809).

Ст. 35. *Ваш клеврет безратный* – Австрия.

Ст. 41. *Титан сей* – Наполеон.

Ст. 69. *Ваш вождь не чуждый – соплеменный...* – фельдмаршал Михаил Федотович Каменский (1738–1809), назначенный командующим русской армией в Пруссии 16 ноября 1806 г. и уже 14 декабря перед сражением под Пултуском сдавший командование Л.Л. Беннигсену. Ср. тот же мотив в оде Г.Р. Державина «На отправление в армию фельдмаршала графа Каменского» (1806): «О россы! вы не посрамитесь, / Природный вас днесь вождь ведет».

Ст. 76. *Зевесов ⟨сын⟩* – в журнальном тексте опечатка: «Зевесов Бог»; исправлено по контексту (см. авторское примечание).

Ст. 96. *Самодвиги* – автоматы, бездушные механизмы. Этот неологизм собственного изобретения Бобров многократно использовал в «Древней ночи вселенной» (см.: *ДНВ*. Ч. 2. Кн. 3. С. 46, 71; Кн. 4. С. 176, 184, 189); здесь употреблен впервые.

Ст. 155. *Сын Диев* – Геракл, одолевший Лернейскую гидру.

286

Лицей. 1806. Ч. 4. Кн. 3. С. 9–11; подпись: *Б...овъ*. Написано по случаю издания 16 ноября 1806 г. манифеста «О начатии войны с французами» (см.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 29. С. 865–866). (Дата в заглавии стихотворения неточна.) В стихотворении обыгрывается текст манифеста: «Россиянам, обыкшим любить славу Отечества и всем ему жертвовать, нет нужды изъяснять, сколь происшествия сии делают настоящую войну необходимою. ⟨...⟩ Наконец, Мы удостоверены, что все сыны Отечества, полагаясь на помощь Божию, на храбрость Наших войск, на известную опытность их предводителя, не пощадят ни жертв, ни усилий, каких любовь к Отечеству и безопасность потребовать могут». Заглавие стихотворения отсылало читателей к статье Боброва «Патриоты и герои везде, всегда и во всяком» (Лицей. 1806. Ч. 2. Кн. 3. С. 22–51), в которой утверждалось равенство сословий, по крайней мере – в любви к отечеству (об этой статье см.: *Коровин 2004*. С. 84–86).

Ст. 9-12. *Алкей... Тиртей...* – С их именами связывалось представление о гражданской поэзии. Тиртей, по преданию, однажды стихами воодушевил спартанских воинов на битву.

287

Отд. изд. СПб.: при имп. Академии наук. 1807. 15 с. Цензурное разрешение подписано И.И. Тимковским 10 мая 1807 г. (*РГИА*. Ф. 777. Оп. 1. Д. 23. Л. 83). В поэме рассказывается об одном эпизоде кругосветного плавания на шлюпах «Надежда» и «Нева» под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского 1803–1806 гг., а именно – о том, как в 1 октября (н.ст.) 1804 г. «Надежда», направляющаяся из Петропавловска-Камчатского в Нагасаки, была застигнута тайфуном у берегов Японии в районе мыса Чирикова. В записках Крузенштерна этот эпизод описывается следующим образом: «Бесстрашие

наших матросов, презиравших все опасности, действовало в сие время столько, что буря не могла унести ни одного паруса. В 3 часа пополудни рассвирепела наконец оная до того, что изорвала все наши штормовые стаксели, под коими одни мы оставались. Ничто не могло противостоять жестокости шторма. Сколько я ни слыхивал о тифонах, случавшихся у берегов китайских и японских, но подобного сему не мог себе представить. Надобно иметь дар стихотворца, чтобы живо описать ярость оного» (*Крузенштерн И.Ф.* Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве»... М., 1950. С. 278–279). Бобров с 1805 г. состоял на службе в Адмиралтейском департаменте при морском министерстве, ведавшем научными изысканиями и, в частности, делами экспедиции Крузенштерна–Лисянского, и, таким образом, являлся сослуживцем участников путешествия. После их возвращения ему наверняка довелось выслушивать рассказы моряков, а возможно, и пожелания прославить поход в стихах (см. выше замечание Крузенштерна). В примечаниях Бобров ссылается на рассказ участника экспедиции Макара Ивановича Ратманова (его дневник с описанием плавания «Надежды» хранится в Отделе рукописей *РНБ*).

Эпиграф – из оды Горация (I, 3, 9–14; половина строки 10-й и строки 11-я и 13-я пропущены; ср. в переводе Н.С. Гинцбурга: «Знать, из дуба иль меди грудь / Тот имел, кто дерзнул первым свой хрупкий челн / Вверить грозным волнам: ему / Страх внушить не могли Африка злой порыв // В дни борьбы с Аквилоном, всход / Льющих ливни Гиад, ярости полный Нот»).

К Российским мореходцам

Вам, соревнователи Колумбов, Гам, Дреков, Куков, Ансонов и Перузов... – перечисляются известные мореплаватели: Христофор Колумб, Васко да Гама, Фрэнсис Дрейк, Джеймс Кук, Джордж Ансон, Жан Франсуа Лаперуз.

Камчатские воды – Охотское и Берингово моря, в которых «Надежда» побывала в 1804 г.

Мантуанская муза... – имеется в виду Вергилий и его «Энеида», в первой книге которой описывается кораблекрушение. Нижеследующая речь «вестника богов», обращенная к «страшилищам воздушным» (ст. 173–233), написана в подражание речи Нептуна к ветрам в «Энеиде» (I, 132–141).

Ст. 2. *Японские воды* – Японское море.

Ст. 17. *Вестник крылоногий* – Гермес (Меркурий).

Ст. 21 (примеч.). *Диеменсов пролив* – пролив Ван-Димена.

Ст. 51. *Ксимские горы* – вулканические горы на острове Цусима.

Ст. 55. *Страшилище воздушно* – тайфун.

Ст. 58. *Нангасакски воды* – залив у г. Нагасаки.

Ст. 59–61. *И там, схватив кормы...* и сл. – см. примеч. к ст. 201–202.

Ст. 66. *Нипон* – Ниппон (Нихон), крупнейший остров Японии, а также название Японии на японском языке.

Ст. 78. *Фетидины пещеры смерти* – т.е. прибрежные скалы и морское дно.

Ст. 85. *Маин сын* – Гермес (Меркурий), почитавшийся сыном Зевса и Майи, одной из дочерей Атланта.

Ст. 102. *Ивернь* – щепка, осколок.

Ст. 117. *Щогла* – мачта.

Ст. 143. *Владыка мощной полунощи* – российский император Александр I.

Ст. 163. *Вечерний равносильный дух* – западный ветер.

Ст. 201–202. *Корабли Батавски, отторгнувши насильно с котв* и сл. – речь идет о голландских кораблях, разбитых той же бурей в пристани Нагасаки. *Котвы* – якоря.

Ст. 214–216. *...братья россов на западных полях карают тебе подобна...* – анахронизм: в сентябре 1804 г., когда «Надежда» претерпевала описываемую «бурю», Россия еще не вступила в войну. Бобров имеет в виду военные

действия русской армии против Наполеона в Пруссии в 1806–1807 гг.

Ст. 250. *Новыя могилы лепот* – т.е. вид, картина новой могилы.

288

Талия. С. 46–47; подпись: *С. Бобров*. В 1806 г. было издано несколько указов, имеющих целью увеличить оборот капиталов в Таврической губернии, в том числе два именных – «О пожаловании льгот городу Феодосии» (6 апреля) и «О дозволениии инженерным командам крепостей в Тавриде, по южным границам и по линиям находящимся, заключать с подрядчиками контракты на выдачи сумм свыше 10 000 рублей» (19 мая) (см.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 29. С. 159 и 317). В стихотворении кратко перечислены основные моменты Крымской истории (подробней см. в V песни «Херсониды» и примеч.).

Ст. 1. *Чатырдаг* – восхождение на Чатырдаг описывается во II песни «Херсониды».

Ст. 7–8. *Меж тавров, кимвров* и сл. – перечисляются народы, в разное время заселявшие Крым. *Тавры, кимвры* (киммерийцы) – племена, согласно греческим историкам, обитавшие в Крыму в первой половине I тыс. до н.э. *Генуи детей* – генуэзские колонии существовали в Крыму в XIII–XV вв.

Ст. 8. *...потомков Чингисхана* (ст. 8) – т.е. монголов. Крым являлся улусом Золотой орды в 1242–1438 гг.

Ст. 9. *...чада Явана* – Иаван (Яван), сын Иафета и внук Ноя, считается прародителем ионян (в примечании Бобров ошибочно именует его «сыном Ноевым). *Ионией* греки называли западное побережье Малой Азии.

Ст. 10. *Констанциев сын* – Константин I Великий, римский император в 306–337 гг., сын императора Констанция I Хлора. При Константине прекратило свое существование

Боспорское царство и влияние римлян в Крыму усилилось.

Ст. 10. *Магмет* – Мехмед, имя нескольких турецких султанов. Бобров имеет в виду Мехмеда II Завоевателя, при котором крымские ханы стали вассалами султана (в 1475 г.).

Ст. 10. *Гирей* – татарская династия Гиреев правила Крымом с 1443 г. до его присоединения к России в 1783 г.

Ст. 17. *Белый Царь* – прозвание русского царя среди татар, неоднократно встречающееся в «Херсониде».

289

Талия. С. 48–52; подпись: *200*. Предположительно, написано на юге не ранее осени 1793 г. В стихотворении речь идет о клевете, бросившей тень на друзей (или друга) покойного «Язона», родственника и друга «благородного Алкида», который сумел рассеять наветы. Очевидно, подразумеваются какие-то реальные обстоятельства. Скорее всего, это смерть Г.А. Потемкина («Язона») в октябре 1791 г. и служебные конфликты между Н.С. Мордвиновым, командующим Черноморским флотом с февраля 1792 г., и фаворитом императрицы П.А. Зубовым, который в июле 1792 г. был назначен таврическим губернатором (см. ст. 93 с характерным курсивным выделением: «Серпы *зубов* его разбиты»). Последний пытался представить Мордвинова и его окружение противниками покойного Потемкина и его замыслов, чему, как следует из стихотворения, воспрепятствовал «благородный Алкид», который «к родству и злу не пристрастился» (ст. 87), т.е. В.А. Зубов, уже тогда прославившийся своими воинскими подвигами. Известно, что во второй половине 1793 г. братья крупно поссорились, и Валериан получил приказ покинуть Москву, где в это время для торжества мира с Турцией находился двор (этим торжествам посвящена большая ода Боброва, вышедшая отдельным

изданием в том же 1793 г. – см. примеч. к № 37). Таким образом, это стихотворение, обращенное к «Алкиду» – В.А. Зубову, можно датировать второй половиной 1793 г. Публикацией стихотворения в «Талии» Бобров уже во второй раз – после «Воспоминания гр⟨афа⟩ Вал⟨ериана⟩ Ал⟨ександровича⟩ Зубова при его могиле» (№ 262) – отдавал дань памяти военачальнику.

Ст. 1. ...*Паллада* – здесь: Екатерина II.

Ст. 8–10. *Я как Сократ Алкивиада, не так как Тимон, муж лихой, люблю тебя...* – Ср. в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха: «...Любовь Сократа была надежным свидетельством его (Алкивиада. – *В.К.*) добрых природных качеств, которые философ усматривал и различал под покровом внешней прелести; опасаясь богатства и высокого положения, а также бесчисленной толпы сограждан, чужеземцев и союзников, осыпавших подростка лестью и знаками внимания, он старался, насколько мог, оградить его от опасностей, как берегут растение в цвету, дабы оно не потеряло свой плод и не зачахло» (Алкивиад, 4; перевод С.П. Маркиша); «...Однажды Тимон, человеконенавистник, встретив Алкивиада, который после громкого успеха возвращался из народного собрания в торжественном сопровождении целой толпы почитателей, не прошел, по своему обыкновению, мимо и не бросился в сторону, но направился прямо к нему, поздоровался и сказал: “Молодец, сынок, расти всех выше и выше – громадным злом вырастешь ты для них всех!”» (Алкивиад, 16; перевод С.П. Маркиша). Г.Р. Державин в оде на смерть Потемкина «Водопад» (1791–1794, опубл. 1798) уподоблял его «Алцибиаду», пояснив позднее, что сделал это «по роскошной жизни» его (*Державин Г.Р.* Сочинения. СПб., 2002. С. 590). Бобров же сравнивает с Алкивиадом Валериана Зубова, тогда еще достаточно молодого человека.

Ст. 12. *Язон* – здесь: Г.А. Потемкин. Так же он назван у Г.Р. Державина в оде «На умеренность» (1792, опубл.

1798); строки «Пускай Язон с Колхиды древней / Златое сбрил себе руно...» позднее он пояснил так: «Под Колхидой разумеется Крым, а под Язоном князь Потемкин, приобретший его своей министерской расторопностью» (*Державин Г.Р.* Сочинения. СПб., 2002. С. 579).

Ст. 25–27. *...не так как Дионисий был, но так как друг и брат усердный...* – Ср. в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха: «Он (Дионисий Старший. – *В.К.*) не раз объяснял, отчего опасается друзей: они, дескать, люди разумные, а потому предпочитают сами быть тираннами, нежели подчиняться власти тиранна» (Дион, 9; перевод С.П. Маркиша).

Ст. 73–76. *...змеино племя... в пестро-чешуйчатой личине...* – Ср. строки из описания аспида в «Херсониде» («И выставляет пестру спину / И шахматное, пего чрево» – песнь III, ст. 473–475), получившие известность благодаря эпиграмме П.А. Вяземского «Быль в преисподней» (1810).

290

Талия. С. 113–114; подпись: *200*. Адресовано П.Ф. Герингу.

291

Талия. С. 114–115; подпись: *200*.

Ст. 14. *Дамоны* – от греч. daimones, демоны; здесь – страсти, страстные порывы.

292

Талия. С. 196–200; подпись: *С. Б-въ*. Отд. изд. («Парение венценосного Гения России с полуночных пределов к западным марта 15 дня 1807». СПб.: Тип. Ивана Глазунова, 1807. 8 с.) вышло чуть раньше: цензурное разрешение подписано И.И. Тимковским 24 марта 1807 г. (*РГИА*. Ф. 777. Оп. 1. Д. 23. Л. 55). Печатается по тексту «Талии». Написано по случаю отбытия Александра I в расположе-

ние русской армии в Пруссии. В действительности он направлялся в Мемель (ныне г. Клайпеда) для переговоров с прусским королем Фридрихом Вильгельмом III об условиях заключения мира с Наполеоном. Ср. написанное на тот же случай стихотворение Г.Р. Державина «Молитва по высочайшем отсутствии в армию его императорского величества 1807 года 16 дня» (1807).

Эпиграф – из «Фаст» Овидия (I, 529; перевод Ф. Петровского: «Время придет, и одна будет власть над вами и миром»).

Ст. 124. *Геены сын* – Наполеон.

293

Стихи на случай выросшей ветки на монументе Румянцова-Задунайского июня 24 дня 1807 года. СПб.: тип. И. Глазунова, 1807. С. 3–4. (Под одной обложкой со стихотворением Е.И. Станевича «Стихи на случай выросшей ветви на венке, что на монументе Румянцова-Задунайского», с. 4–5.) Цензурное разрешение подписано И.И. Тимковским 5 августа 1807 г. (*РГИА*. Ф. 777. Оп. 1. Д. 23. Л. 118). К стихам приложено прозаическое пояснение: «Я не могу пройти без особенного удовольствия мимо обелиска, воздвигнутого *Румянцова победам*, взирая на ветвь, выросшую в венке, сделанном из меди сверх надписи: конечно, зернышко нанесено в него ветром или птицею; но сия случайная игра природы тем любопытнее и приятнее для сердца, что оно упало как нарочно в венок, дабы возрастающею из него ветвию приосенить сии слова: *Румянцова победам*, во знак того, что победы сии украшаемы всегда были человеколюбием: ибо зернышко сие могло бы скорее упасть в другие изгибы, извивающейся около пирамиды гирланды, расположенной во многих извитиях несравненно ниже венка того, который один только и есть на всем обелиске. Кажется, что в наше время, когда ужасы войны умножились, когда человеколю-

бие казалось быть чуждым полководцам, природа хочет напомнить нам об оном, и для сего избрала памятник такого полководца, который ей и народам любезен. *Евстафий Станевич*» (с. 5–6). Евстафий Иванович Станевич (1775–1834) – поэт, автор полемических сочинений в защиту «архаистов», впоследствии заметный член «Беседы любителей русского слова». На смерть П.А. Румянцева Бобров ранее написал стихотворение «Последняя дань сердца графу Румянцову-Задунайскому» (№ 49). Обелиск, о котором идет речь, был воздигнут еще при жизни Румянцева архитектором В.Ф. Бренной в 1795 г. по повелению Екатерины II перед тогда же пожалованным фельдмаршалу домом на Царицыном лугу (Марсовом поле). В 1818 г. перенесен на Румянцевскую площадь (пл. Т. Шевченко), где и находится по сей день. Поэтический отклик на выход брошюры со стихами Боброва и Станевича принадлежит А.А. Палицыну, служившему одно время адьютантом при Румянцеве: «Чувствование, излившееся вдруг при чтении прекрасных стихов на ветвь, выросшую на памятнике графа Румянцова Задунайского» (Русский вестник. 1808. № 2. С. 195–196).

Ст. 5. *...два царства...* – растительное и неживой природы.

294

Цветник. 1809. Ч. 1. № 3. С. 356–359; подпись: *С. Б-въ*.

295

Цветник. 1809. Ч. 2. № 4. С. 3–5; подпись: *Б.-ъ*. Подражание оде Горация (I, 10). Незадолго до Боброва, в 1806 г., пытаясь имитировать размер подлинника, эту оду перевел А.Х. Востоков: «О краснобай Меркурий, внук Атлантов! / Ты диких был людей образователь; / Устам их подал речь, телодвиженьям / Приятну ловкость. // Ты будешь мной воспет, богов посланник, / Чрепаховую изобретший лиру; / Ты всё, что взглянется тебе меж шуток / Искусно

крадешь! // Тебе, дитяте, грозно рек Аполлон: / “Не скрылась же татьба волов”... Но видя, / Что и колчан пропал с рамен – от гнева / Прешел ко смеху. // Не чрез тебя ли мог Атридов гордых / Богатый обмануть Приам под Троей, / Сквозь вражий стан, сквозь все огни и стражи / Идущ к Ахиллу. // Благочестивых ты ведешь усопших / В поля блаженны – легким сонмам теней / Претишь златым жезлом; любезен в Горних / И в Преисподних» (*Востоков А.Х.* Стихотворения. Л., 1935. С. 287).

Ст. 1. *Атланта внук...* – Меркурий (Гермес) считался сыном Зевса и Майи, одной из дочерей Атланта.

Ст. 16–20. *Погиб бы ране царь фригийский* и сл. – Гермес помог троянскому (фригийскому) царю Приаму невредимым проникнуть в стан ахейцев, вождями которых были Атриды – Агамемнон и Менелай.

296

Цветник. 1809. Ч. 2. № 5. С. 198–200; подпись: *С. Б-въ*. Адресовано П.Ф. Герингу на смерть его жены Марии Юрьевны, случившуюся 26 июня 1807 г., за три дня до именин ее супруга (29 июня – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла).

297

Цветник. 1809. Ч. 2. № 6. С. 301–303; подпись: *С. Б-въ*.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

---

[1] Аннотации даются только к встречающимся в текстах Боброва именам. *Курсивом* выделены номера страниц в примечаниях и статьях.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Научное издание

Семен Бобров

РАССВЕТ ПОЛНОЧИ
*
ХЕРСОНИДА

В двух томах

Том второй

Утверждено к печати
редколлегией серии
«Литературные памятники»

Заведующая редакцией *Е.Ю. Жолудь*
Редактор *Е.В. Белова*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Т.В. Болотина*
Технический редактор *М.К. Зарайская*
Корректоры *Г.В. Дубовицкая,*
Е.А. Желнова, Т.А. Печко

Подписано к печати 03.12.2007
Формат 70 × 90 $^{1}/_{32}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 22.8 + 0.3 вкл. Усл.кр.-отт. 25,3. Уч.-изд.л. 24,9

Тип. зак. 2254

Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

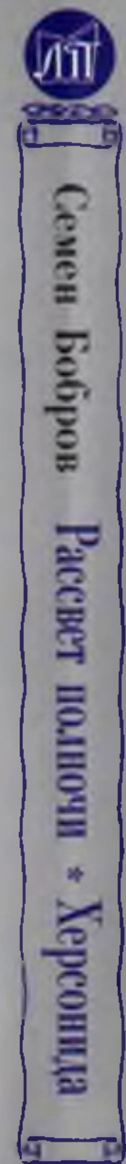
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 978-5-02-035667-2

Шлюпы
«Надежда» и «Нева»
в кругосветном плавании
1803 – 1806 гг.
Картина Е.В. Войшвилло
(фрагмент)

ISBN 978-5-02-035667-2
9 785020 356672



Керчь.
Картина К. Боссоли.
1840-е годы
(фрагмент)

НАУКА